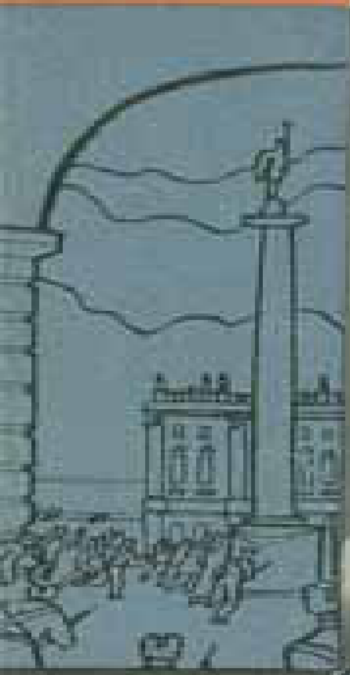
ДЖОН РИД



Теодор Гладков

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

В 1967 году ему исполнилось бы восемьдесят лет, если бы он не умер от тифа в тридцать три. Его хоронила вся рабочая Москва — под красными знаменами, на Красной площади. Уже тогда его имя стало легендарным.

Джон Рид родился в Соединенных Штатах Америки в богатой семье, окончил аристократический Гарвардский университет. Ему прочили блестящую карьеру и платили больше, чем какому-либо другому журналисту в стране. Он отказался от этой карьеры. Джон Рид отдал свой талант рабочим и крестьянам. Он описывал забастовки американских горняков, восставших мексиканских пеонов из армии Панчо Вильи, матросов и красногвардейцев, штурмующих Зимний дворец. Он стал одним из основателей Коммунистической партии США. Знаменитая книга «Десять дней, которые потрясли мир» — настольная у рабочих всех стран.

Автор книги о Д. Риде Теодор Кириллович Гладков родился в Москве в 1932 году. После окончания философского факультета МГУ работает в печати. В 1960 году вышла его первая книга — «Жизнь Большого Вилла», о замечательном деятеле американского рабочего движения Вильяме Хейвуде.

Первое издание книги Т. Гладкова «Джон Рид» вышло в серии «Жизнь замечательных людей» в 1962 году.

Издание второе, исправленное и дополненное.

На фронтисписе — портрет Джона Рида работы художника И. Бродского.

Заставки П. Бунина.

Рисунок на переплете Э. Озол.

- Теодор Гладков
  -
  - МАЛЬЧИК ИЗ ОРЕГОНА
  - В ПОИСКАХ САМОГО СЕБЯ…
  - ВОЙНА В ПАТЕРСОНЕ
  - ВИВА ВИЛЬЯ!
  - В ЛАДЛОУ И БЕЛОМ ДОМЕ
  - «ЭТО НЕ НАША ВОЙНА!»
  - ПО ДОРОГАМ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ
  - ПОЧТИ ТРИДЦАТЬ
  - МИССИЯ В РОССИЮ
  - ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ЭПОХИ
  - «ТОРЖЕСТВЕННО КЛЯНУСЬ!..»
  - АМЕРИКА РАЗЛЮБЛЕННАЯ И ЛЮБИМАЯ

- БОРЬБА ДО ПОСЛЕДНЕГО ДЫХАНИЯ
- ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЖОНА РИДА
- КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
- Иллюстрации

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22
  - 23
  - 24
  - 25
  - 26
  - 27
  - 28

Теодор Гладков
ДЖОН РИД

МАЛЬЧИК ИЗ ОРЕГОНА

Во времена, теперь уже ставшие историей, больше ста лет назад длиннорукий и долговязый янки по имени Генри Д. Грин обогнул вместе со своим братом мыс Горн на парусном судне, высадился на западном побережье Америки и обосновался в сбитом из сосновых бревен поселке Портленд.

Это был дед Джона Рида со стороны матери.

Здесь, среди диких просторов штата Орегон, вместе с братом он основал Портлендскую газовую компанию. Построенные ими газовые заводы были первыми в Орегоне и третьими на всем тихоокеанском побережье США. Братья были энергичные и предприимчивые люди — в те годы перед такими раскрывались на Западе неограниченные возможности.

Генри Грин вскоре разбогател, вошел в избранное общество Портленда и зажил на широкую ногу: копить деньги он не любил и не умел, как и его потомки.

У старого Грина было четверо детей. Старший сын — Рэй — всю жизнь бродяжничал по свету в поисках приключений. Изредка как снег на голову он сваливался в Портленд и поражал воображение племянников невероятными, экзотическими историями. Второй сын ничем примечателен не был. Одна из дочерей вышла замуж за армейского офицера, вторая, Маргарет, — за небогатого, но предприимчивого дельца Чарльза

Джерома Рида. Брак Маргарет в какой-то степени считался мезальянсом. Ее избранник не принадлежал к лучшим семьям города, к тому же был приезжий — из штата Нью-Йорк. Занимался он продажей сельскохозяйственных машин. Дела Чарльза Рида шли хорошо. Его приняли в лучших домах Портленда, а вскоре он стал душой общества и даже был избран президентом Арлингтон-клуба.

Старый Грин владел в окрестностях Портленда большим поместьем Седар-Хилл, где возвел настоящий замок во французском стиле. Вокруг главного здания простирался огромный парк с живописными аллеями, зелеными лужайками, весело журчащими ручьями, таинственными беседками. В городе о поместье ходили легенды, но чести быть приглашенным туда на пикник удостаивались лишь немногие.

В Седар-Хилле 22 октября 1887 года Маргарет Рид родила своего первого ребенка — здорового, горластого мальчишку. Генри Грин внука не дождался: он умер за два года до этого радостного события. При крещении младенец получил имя Джон Сайлас. Дома его называли Джек[1].

Жизнь в Седар-Хилле способствовала развитию в мальчике романтических склонностей. Во всяком случае, миссис Рид подчас беспокоило слишком пылкое воображение ее старшего сына.

Почти все слуги в доме были китайцы — их много жило тогда на тихоокеанском побережье Америки. С одним из них — мудрым старым поваром по имени Ли Синг — мистер Рид любил вечерами беседовать о делах и политике.

Джеку Риду тоже нравилось сидеть в увешанной пестрыми китайскими фонариками комнатушке повара, но совсем по другой причине. Он часами самозабвенно слушал диковинные сказки, которые мастерски рассказывал ему Ли Синг, прихлебывая виски из тоненькой фарфоровой чашечки. В конце концов Джек сам выдумал страшное чудовище по имени Хормуз, которое якобы жило в лесу за городом и воровало детей. Невероятные рассказы Джека о его встречах с чудовищем приводили в трепетный страх соседских ребятишек.

Откуда-то из Южной Америки неожиданно пожаловал зычноголосый дядя Рэй с целым коробом невероятных историй о революциях, кровавых битвах и морских разбойниках. Разумеется, племянник оказался самым благодарным слушателем. Дядя Рэй, по его словам, со времени своего последнего приезда в Штаты успел осуществить революцию в Гватемале и стать там министром. Впрочем, его правление ограничилось лишь двумя государственными актами: организацией грандиозного бала и…

объявлением войны Германии — из-за того, что учитель немецкого языка в колледже всегда ставил дяде Рэю плохие отметки.

Джон Рид никогда не мог вспомнить, сколько ему было лет, когда мать научила его читать. Во всяком случае, очень рано. Читал он с равным интересом и то, что полагалось в его возрасте, и то, что не полагалось. К восьми годам в его библиотечном формуляре (если бы кто-нибудь такой вел) числились бы: Марк Твен, «Тысяча и одна ночь», Вальтер Скотт, «Свет Азии» Эдвина Арнольда, Билл Най и прочее и прочее. Даже полный энциклопедический словарь Вэбстера. Особенно захватили его воображение средневековые легенды о рыцарях Круглого стола. Под их прямым влиянием на чердаке своего дома Джек устроил маленький театр, в котором сам разыгрывал роль короля Артура, а его младший брат Гарри — королевы Джинервы. В девять лет Джек Рид твердо решил стать писателем и в общем остался верен этому решению навсегда. В подтверждение его серьезности он принялся немедленно сочинять… «Комическую историю Соединенных Штатов». Выбор темы для первого литературного труда не случаен. «История, — писал Рид много лет спустя, — была моей страстью: гордо выступающие короли, шеренги воинов, сомкнутым строем пробивающиеся вперед под градом осыпающих их длинных стрел».

Родители (из-за этого они поселились в небольшом домике в самом городе) отдали Джека и Гарри в лучшую частную школу штата — Портлендскую академию. Вначале Джек воспылал страстью к учению, но потом остыл, и накрепко. Мертвая, сухая зубрежка считалась в ту пору гораздо более почетным педагогическим методом, чем ныне, более того — была единственным.

Став взрослым, Джон Рид с полным основанием без всякого почтения называл эту систему идиотской, а своих учителей — идиотами. Поскольку школа вызывала в нем только отвращение, мальчик расходовал свою энергию за ее стенами. Он сооружал во дворе дома железную дорогу, строил в лесу романтичные хижины, совершал путешествия на плотах по реке Вилламет. Потом он начал рыть тоннель от дома к школе (ровно две мили…) — Достойный преемник старого Грина решил осуществить великолепное предприятие, сулившее в будущем кучу денег: украсть двух овец, спрятать их в тоннель и развести стадо, которое потом можно будет продать.

Это был первый и последний случай, когда Джон Рид попытался выступить на коммерческом поприще.

Несмотря на свою неуемную энергию, Джек был физически

слабым и застенчивым ребенком. От рождения у него было что-то неладное с почками, и он часто проводил дни в постели. Все эти обстоятельства сильно мешали общению с другими мальчишками — в Портлендской академии Джек не нашел своего места.

Шумные, буйные игры сверстников, их бесконечные драки, жестокость, столь обычная у малоразвитых детей, отталкивали Джека. Свое невольное одиночество он в глубине души остро переживал.

Другие школьники не прощали Джеку эту отчужденность, считая ее признаком высокомерия.

Даже через много лет воспоминания о Портлендской академии вызывали у Рида неприятные чувства.

«…Я не был вполне счастлив. Я часто болел. Кроме нескольких друзей, мне не везло в отношениях с мальчиками. У меня не хватало силы и задора, чтобы преуспевать в спорте (исключение составляло плавание, которое я всегда любил). И я действительно был порядочным трусом в том, что касалось физической боли. Я готов был прокрасться через заднюю ограду, чтобы уйти от мальчишек, которые собирались меня поколотить или которых я лишь подозревал в этом. И как это ни странно, но когда меня действительно загоняли в угол и заставляли драться, то даже побои не казались мне и в сотой доле такими ужасными, каким был страх перед ними».

Внешняя робость Джека вызывала некоторое беспокойство его отца, опасавшегося, что сын вырастет слабым для мира, в котором рассчитывать на успех могут только сильные. Но миссис Рид, как это ни парадоксально, совсем не считала сына ни робким, ни тем более трусливым.

Побуждаемая, быть может, чем-то открывавшимся только ей, она однажды безапелляционно заявила:

— Гарри — агнец. Но Джек — львенок. Я предпочитаю львов.

Когда Джону было десять лет, он совершил вместе с родителями поездку по стране, побывал и в Вашингтоне. Тогда же он перенес первый по-настоящему сильный приступ болезни почек. Приступы эти повторялись регулярно до шестнадцати лет, чтобы потом оставить его на некоторое время в покое.

В июне 1903 года Джек послал на конкурс в местную газету корреспонденцию о том, как он в компании нескольких мальчиков самым развеселым образом провел каникулярную неделю на Вилламете, притоке Колумбии, в нескольких километрах от города. К его удивлению, сочинение увидело свет и даже удостоилось премии. Это было первое выступление Рида в периодической печати[2].

Весной 1904 года Джек окончил Портлендскую академию.

Для подготовки к университету родители решили отдать его в фешенебельную закрытую школу в Мористауне (штат Нью-Джерси). По слухам, школа была хорошей, но отчаянно дорогой. А денег у семьи было маловато. Чарльз Рид был достаточно энергичен, чтобы добиться известного материального благосостояния. Но чтобы разбогатеть по-настоящему, от него требовались уже другие качества, которыми он не обладал. Однако в вопросе об образовании детей и отец и мать проявили непоколебимое упорство. Сыновья будут учиться в лучших школах, чего бы это ни стоило. И Чарльз Рид все больше и больше горбился за столом своей конторы, пока Джек и Гарри переходили из класса в класс.

Осенью Джек простился с родным городом. К этой поре в нем уже ничего не осталось от того хилого, робкого мальчугана, который некогда со страхом пересекал большой заброшенный пустырь перед школой. В Мористаун приехал из Орегона рослый, широкоплечий юноша с пышной шевелюрой, высоким лбом, тяжелым подбородком и пристальным, прямым взглядом глубоко посаженных глаз. У них был странный переменчивый цвет — между карим и зеленым…

Если в Портленде Джек был отшельником, не пользующимся слишком большой популярностью среди однокашников, то Мористаун он покорил за несколько дней.

Пророчество матери начало сбываться. С Джека словно спали оковы — физические и душевные. Все его способности расцвели и проявились настолько ярко, насколько это возможно вообще в стенах учебного заведения, тем более закрытого. К нему пришла уверенность в своих силах, даже в некотором избытке, как это бывает у молодых людей после полосы неудач.

Очень важно: в шестнадцать лет Рид наконец-то почувствовал себя физически здоровым. В результате школа очень скоро узнала, что в лице новичка из Орегона она обрела не только сильного ученика, но и превосходного защитника в футбольной команде. Тому есть документальные свидетельства — отчеты о матчах в местной газете. Кроме того, Джек отлично плавал, играл в водное поло и бегал дистанцию в сто ярдов за секунды, которые могли бы произвести впечатление и в наши дни. И он абсолютно не боялся никаких драк. В любом американском колледже хороший спортсмен всегда кумир товарищей. Поскольку Рид обладал как-никак и другими очевидными достоинствами, ему не стоило особых трудов стать для товарищей непререкаемым авторитетом решительно во всем.

В школе выходила своя газета — «Мористаунец», и Джек стал одним из главных ее корреспондентов и редакторов.

Летом следующего года, когда Джек, возмужавший и жизнерадостный, приехал на каникулы в Портленд, он неожиданно заново открыл для себя своего отца. В частности, он понял, почему тот никогда не смог стать и не станет богачом.

В язвительном и остроумном Чарльзе Джероме Риде жил мятежный и неподкупный дух его предков, восставших под знаменами Вашингтона против английского владычества и покоривших безбрежные просторы Американского континента. Под респектабельным обликом торговца сельскохозяйственными машинами и страхового агента в нем скрывалась натура бойца за честность и справедливость.

В Орегоне уже много лет безраздельно хозяйничала банда спекулянтов, разворовывавшая государственные земли. Теодор Рузвельт, став президентом, попытался как-то обуздать свору чересчур обнаглевших хищников. Со стороны президента это был всего лишь маневр, чтобы завоевать симпатии населения, но Чарльз Джером Рид, назначенный федеральным судебным исполнителем, отнесся к своему долгу так, как ему велела совесть.

Он дал бой орегонским спекулянтам и, хотя не смог одержать победу, крепко прищемил хвосты многим матерым волкам. Ему это стоило дорого. Семья подверглась очевидному бойкоту. Многие почтенные отцы города перестали здороваться с Ридом-старшим. На очередных перевыборах в Арлингтон-клубе его кандидатуру провалили. Он стал получать анонимные письма с угрозами. Финансовое положение его пошатнулось.

Мужественная борьба отца произвела на Джека впечатление чрезвычайное. Он восхищался и гордился им. Он сам стал чувствовать себя намного сильнее и понял, как это не просто — ходить по земле с гордо поднятой головой. После этой поездки домой Джек стал видеть в отце не только близкого по крови человека, но и сильного друга. А это большое счастье.

Минуло еще двенадцать месяцев. В сентябре 1906 года Джон Рид стал студентом Гарварда, старейшего и самого привилегированного университета Америки. Университет с его десятками зданий занимал огромную территорию Бостона и его пригорода — Кембриджа (штат Массачусетс).

Первый год Джек чувствовал себя чрезвычайно тоскливо, он был одинок, словно колесо времени повернулось вспять, к Портлендской академии. Одиночество он переносил тем тяжелее, что уже привык к успеху и популярности.

На сей раз полоса отчуждения, в которую он попал, объяснялась не его характером, как то было в детстве, а его социальным положением. По портлендским понятиям он

принадлежал к лучшим кругам общества. Но для гарвардских аристократов и богачей он был чуть ли не плебеем. Молодые высокомерные снобы считали его недостаточно цивилизованным для своей изысканной компании. Да и в самом облике Рида было слишком много от фермера и дровосека.

Несколько пав духом от холодного приема, Рид приступил к занятиям без особого энтузиазма. В качестве основных предметов на первый год он выбрал латынь, английскую литературу, французский и немецкий языки, историю и философию.

С гораздо большим интересом отнесся он к наличию в университете двух журналов: «Лампун» («Насмешник») и «Монтли» («Ежемесячник»). Во-первых, они привлекали его сами по себе, во-вторых, он считал, что, проявив свои литературные способности, сможет с их помощью добиться признания.

Джек стал регулярно писать в оба журнала и в прозе и в стихах. Сочинения его мало чем выделялись среди творений других студентов. В стихах Джека, правда, опытный взгляд мог обнаружить природное дарование, но они слишком явно походили на стихи знаменитых поэтов былых времен. Проза Джека была представлена в «Лампуне» и «Монтли» главным образом сатирой, резко высмеивающей слабости, пороки и высокомерный снобизм гарвардских аристократов.

К концу первого года позиции Джека в журналах были уже достаточно прочны, его даже избрали в состав обеих редколлегий. Подтвердил он и свою репутацию хорошего спортсмена, став капитаном университетской ватерпольной команды. Неожиданно у него обнаружились музыкальные способности, в результате чего Джек стал бессменным дирижером огромного двухтысячного хора, выступавшего на зеленом поле стадиона в дни футбольных матчей. К этой своей обязанности он относился чрезвычайно серьезно.

На втором году студенческой жизни у Рида появились даже друзья. Самыми близкими из них стали Джо Адамс и Эдвард Хант. Джо был маленьким, тихим пареньком с консервативными вкусами и взглядами. Он был превосходным музыкантом и сам писал песни, к которым Джек сочинял стихи.

Эд Хант принадлежал к диковинной для Гарварда категории людей, которые «сами себя сделали». Он приехал в Кембридж без цента в кармане, но с большой семьей: матерью и двумя сестрами. Чтобы прокормить их и себя, Эд вынужден был браться за любой заработок. Он сумел добиться уважения студентов и профессоров, его избрали главным редактором «Монтли».

С Джо Адамсом Джек, не предупредив университетское начальство, совершил увеселительную поездку в Нью-Йорк и на

Бермудские острова На Бермудах они оказались почти без гроша. Чтобы собрать деньги на обратную дорогу, Джек отнес в местную газету свои стихи, а Джо подрядился играть несколько вечеров на пианино в каком-то ресторанчике с сомнительной репутацией.

Меньше всего внимания Рид уделял учению, лишь один предмет действительно захватил его — английская литература. Виноват в этом был не он, а профессор Чарльз Копленд, один из немногих преподавателей, оставивших в жизни Рида светлый след.

Вокруг Копленда сформировался небольшой кружок молодежи, который собирался в скромной профессорской квартире каждую субботу. «Копи», как называли его студенты, одинаково любил юность и литературу. Совмещение этих двух привязанностей приводило к ежедневным бурным дебатам под его председательством на литературные и нелитературные темы. Вначале Копи чуждался Рида, казавшегося ему слишком беспокойным и даже буйным. Но искренняя любовь юноши к его предмету растопила ледок недоверия. Копи стал приглашать Джека к себе домой, а вскоре они стали друзьями, невзирая на разницу в годах и положении.

С благодарностью вспоминая своего профессора, Рид писал впоследствии, что «он научил целые поколения студентов находить краски, силу и красоту в книгах и в мире и выражать их». Копи открыл Риду О'Генри с его любовью к маленькому, обыкновенному человеку улицы.

На старших курсах Джек обнаружил, что в Гарварде существует и мятежный дух. Появились студенты, поднявшие бунт против аристократов, против культа спорта, окостенелых традиций, консервативных преподавателей.

Эти бунтари читали экономическую литературу, рассуждали о политике и считали себя социалистами. Скорее всего это были просто молодые люди, чувствующие, что времена изменились и нужны какие-то реформы. Группа студентов образовала даже — неслыханное дело! — Социалистический клуб, деятельность которого привлекла внимание Рида, хотя он никогда не был членом клуба.

Социалистический клуб критиковал университетские власти за то, что они не обеспечивают прожиточного минимума своим работникам, требовал введения курса лекций по социализму, поддерживал движение за женское равноправие и приглашал в Гарвард известных радикалов для дискуссий.

Президентом клуба был красивый, самоуверенный и очень одаренный молодой человек по имени Уолтер Липпманн. Рид дружил с ним, хотя в их отношениях было больше ревнивого

соперничества, чем взаимного тепла. Джек считал, что для социалиста Липпманн слишком высокомерен и честолюбив. Однажды он даже назвал президента Социалистического клуба будущим президентом Соединенных Штатов[3].

На старших курсах Джек уже пользовался всеобщим признанием, хотя порой это признание выливалось в неприязнь задетых им снобов и консерваторов. Вершиной его общественной деятельности стало избрание президентом Космополитического клуба, объединявшего студентов двадцати национальностей. Кроме того, он был видной персоной в Драматическом клубе и Западном клубе; последний представлял собой своеобразное землячество.

Неслыханная ранее активность студенчества, его протест против вся и всего казались в те времена чуть ли не революционным событием Но потом Рид понял, что «все это не вносило существенных изменений в мировоззрение людей гарвардского общества, и вполне возможно, что члены наших университетских клубов и спортсмены, представлявшие нас перед лицом внешнего мира, никогда и не слышали об этой политической деятельности. Но меня и многих других она заставила осознать, что в мрачной атмосфере внешнего мира происходит нечто более захватывающее и интересное, чем университетская жизнь. Это возбуждало в нас интерес к сочинениям таких людей, как Герберт Дж. Уэллс, Грэхем Уоллес и им подобные. Одновременно это отвлекало от дилетантизма Оскара Уайльда, который был властителем дум целых поколений студентов…»

В Гарварде Рид впервые встретил человека, повлиявшего на его мышление больше чем кто-либо другой. Линкольну Стеффенсу было уже за сорок, и он находился в зените своей журналистской славы. Его называли «разгребателем грязи» за беспощадные разоблачения коррупции в правительственном аппарате и темных дел крупных монополий. Появление его знаменитой книги «Позор городов» было подобно взрыву бомбы.

В представлении Рида Стеффенс был неустрашимым, буйным ниспровергателем с зычным голосом и дюжими кулаками. Только такой журналист, казалось, был способен внушать страх той преступной своре, которую он вытащил на солнечный свет для всеобщего обозрения. Но Стеффенс оказался невзрачным, узкоплечим человеком, выглядевшим старше своих лет. У него было доброе, усталое лицо сельского учителя с бородкой клинышком. За стеклами очков в простой железной оправе лучились светлые глаза. У него был негромкий, чуть надтреснутый голос.

В Гарвард Стеффенс приехал по приглашению Липпманна, знакомого ему с детства. Липпманн же представил страшно смущенного Джека знаменитому журналисту. Оказалось, что Стеффенс хорошо знает и уважает отца Рида.

Вначале Джек чувствовал себя скованно и напряженно. Деликатный Стеффенс помог ему преодолеть робость, и они разговорились. Было в старом журналисте что-то удивительно располагавшее. С ним хотелось быть честным и откровенным до конца. Никто еще так внимательно не слушал Джека и не понимал его так хорошо. Одна фраза Стеффенса особенно запомнилась Риду, потому что в какой-то степени разрешила некоторые его сомнения:

— Не думайте, что существует пропасть между поэзией и журналистикой. Все дело в способах выражения. В одних случаях писатель стремится создать произведение искусства, в других — просто рассказать свою историю вам, мне, человеку на улице.

Прощаясь, Стеффенс пригласил Джека, если тому доведется бывать в Нью-Йорке, запросто заходить к нему.

Летом 1910 года Джон Рид закончил курс Гарварда. Прежде чем решать, что делать дальше, он хотел осуществить давнюю мечту — провести несколько месяцев в Европе, повидать собственными глазами бесконечно привлекательные дальние страны и чужие города.

Ранним утром 9 июля 1910 года невзрачный пароход «Бостонец», имея на борту семьсот молодых бычков, отплыл в Европу. В этой мычащей компании Джек Рид с одним из гарвардских друзей впервые в жизни собирался пересечь океан. Уолдо Пирс, добродушный, медлительный здоровяк, намеревался изучать живопись в Париже. Узнав, что Джек собирается объехать всю Европу, а при возможности и весь остальной мир, Уолдо вызвался быть его попутчиком хотя бы до Франции.

Но с самого начала между компаньонами возникло разногласие. Рид, как романтик, хотел ехать только на грузовом судне в качестве палубного матроса. Пирс, склонный к комфорту, предпочитал каюты «Мавритании». Вплоть до третьего удара колокола Пирс не прекращал сетовать на нелепую, с его точки зрения, затею Рида ехать со скотом, вместо того чтобы путешествовать в приличном обществе.

Когда «Бостонец» отошел от берега на пять миль, Уолдо совсем затосковал. Убедившись, что команда занята своим делом и на него никто не обращает внимания, он спустился в каюту и положил на постель Джека свой бумажник и часы. Потом он снова вышел на палубу и… перемахнул через борт!

По прошествии двух часов Пирс уже был дома.

На борту «Бостонца» исчезновение пассажира осталось незамеченным. Рид попросту решил, что его попутчик завалился спать куда-нибудь на сеновал. Но утром Пирса хватились. Джек нашел на своей койке его вещи и отнес их капитану. Когда он высказал мнение, что Пирс встретит их в Ливерпуле, капитан только хмыкнул.

— Дай бог, — пробурчал он, — иначе вам не отвертеться от обвинения в его убийстве.

Перспектива была не из веселых Рид искал приключений, но не в такой мере. Пока же в тягостном ожидании решения своей судьбы он наравне со всей командой драил палубу, кормил быков и отстаивал положенные вахты.

Увы, Пирс не встретил его в Ливерпуле, хотя «Мавритания» прибыла в порт на два дня раньше «Бостонца». Павшего духом Рида заковали в ножные кандалы и заперли в каюте. Затем на борт поднялись два громадных английских бобби в высоких шлемах и препроводили Рида в суд. Трудно сказать, чем бы все это кончилось, если бы в зале заседаний неожиданно не появился сам виновник суматохи. Оказывается, Пирс действительно прибыл на «Мавритании» и был в порту. Он побоялся подойти к капитану, так как сообразил, что, сбежав с «Бостонца», он нарушил условия контракта и, по морским законам, является злостным преступником. Только узнав о горькой участи, ожидающей Джека, злополучный любитель комфорта решился предстать пред очи британского судьи.

После формальной процедуры идентификации личности Пирса Рида освободили. Матросы с «Бостонца» сердечно поздравляли Джека и выражали свою радость тем, что звучно шлепали по его спине тяжелыми, заскорузлыми руками. Потом они посоветовали ему как можно быстрее расстаться со своим попутчиком.

Рид именно так и поступил, тем более что Пирсу никак не улыбалось пешее путешествие через всю Англию, которое входило в планы Рида.

Отсутствие спутника никак не отразилось на отличном настроении Джека после его освобождения. Весело напевая ковбойские песенки, он отправился в свое первое путешествие. Дорога до Лондона заняла несколько дней. По пути Джек осмотрел дюжину старинных замков и бесчисленное множество менее значительных достопримечательностей Британии. Ночевал на сеновалах.

В Лондоне Джек снова встретил Уолдо и в великодушии молодости простил горько каявшемуся приятелю все его грехи.

Помирившись, они вместе отправились в Париж, где их с нетерпением уже поджидали гарвардские друзья: Карл Чедвик и Джо Адамс. Эти двое уже считали себя парижанами и, не дав вновь прибывшим однокашникам передохнуть, потащили их осматривать город. Вряд ли кто осудит четырех юношей, только что вырвавшихся из университетских стен, за то, что в этот парижский вечер их интересы были несколько односторонни. Они начали его в кафе де ла Пэ и закончили в четыре часа утра у «Максима».

Свобода опьянила Рида. Никогда в жизни он еще не был хозяином своего времени. Вместе с другими он спорил до хрипоты в кафе, где собирались художники и поэты, часами бродил по холмам Монмартра и узким улочкам Латинского квартала, вечера просиживал в казино.

Потом все вместе они отправились на побережье Нормандии купаться, а оттуда в Сен-Севастьян, чтобы посмотреть бой быков. Когда компания решила, наконец, вернуться в Париж, Рид заявил, что Испания ему так понравилась, что он решил остаться в ней до тех пор, пока не осмотрит всю от начала до конца. Без попутчиков, не зная ни слова по-испански, с громоздким фотоаппаратом за плечами он отправился через зеленые поля в Страну Басков.

В Бургосе участвовал в шествии экзальтированной толпы к кафедральному собору. В Толедо осматривал изумительные полотна Эль Греко. В Медина дель Кампо его арестовали, заподозрив, что он анархист. Когда Рида освободили, его чуть не растерзала толпа обезумевших от ярости женщин, чьи сыновья погибли во время испано-американской войны.

Двое суток Рид провел в Мадриде: днем осматривал знаменитый музей Прадо, ночью спал на скамейках в городском парке. Денег даже на самую дешевую ночлежку у него уже не было. Тех неприкосновенных, что были спрятаны в самый дальний карман, в обрез могло хватить лишь на билет третьего класса до Парижа.

Вернувшись во Францию, Рид уже твердо знал, что бродяжничество — его подлинное призвание. Он оставался ему верен, как и перу, до конца своих дней.

В Париже Джек поселился в маленьком дешевом отеле. Стены номера он оклеил афишами. Друзья Рида много лет спустя вспоминали эту его страсть к ярким, красочным плакатам.

Во Франции Риду нравилось все — в первую очередь полная свобода поступать так, как заблагорассудится. Посмеиваясь, он вспоминал пуританскую Америку, где сигарету во рту женщины считали в ту пору потрясением общественной морали. Тогда Рид

еще не знал, что пуританская мораль терпеливо переносит любые грехи, требуя лишь одного: чтобы люди вели себя прилично: женщины не курили, а мужчины носили брюки определенного покроя.

Четыре восхитительных месяца в Европе пролетели, как четыре дня. Но в одно прекрасное утро Джеку пришла в голову неожиданная мысль. Сначала она показалась ему забавной, но в следующее мгновение ввергла в уныние. Как заработать на жизнь? Собственно говоря, за четыре года в Гарварде его не научили делать ничего! Он абсолютно ничего не умел!

Рид не сомневался, что Америка только и ждет, когда ее покорит такой поэт, как он. Признание, а вместе с ним слава и деньги требовали только одного: чтобы к ним протянули руку. То, что точно так же полагали тысячи молодых честолюбцев, его нимало не смущало — он верил в свою счастливую судьбу. Но до наступления этого безмятежного времени нужно было как-то существовать. Как? Хотел бы он знать…

Ясно было одно: пора возвращаться в Америку и искать там работу. Любую. Прежде чем покинуть Европу, Джек все-таки позволил себе последнюю радость — обошел всю Южную Францию: Оранж, Авиньон, Тараскон, Марсель. В Тулоне он встретился с Пирсом и вместе с ним съездил в Ниццу и Монте-Карло. Злосчастный Уолдо не замедлил, конечно, в пух и в прах проиграться в казино.

Уже перед самым отбытием домой Джек подвел окончательный итог своему визиту в Европу: молниеносно влюбившись, он обручился с девушкой из кружка своих парижских друзей.

В ПОИСКАХ САМОГО СЕБЯ…

Никогда раньше Джек не задумывался, каково финансовое положение его семьи. Он учился в лучших учебных заведениях, свыкся с мыслью, что его ожидает блистательное будущее, всегда имел достаточное количество карманных денег, хотя по самой своей натуре не тяготел к роскоши и мотовству.

Вернувшись в Портленд, он обнаружил, что его родители считаются зажиточными людьми лишь по недоразумению. Политическая деятельность Чарльза Джерома Рида самым плачевным образом сказалась на его финансовых делах. Отец Джека, увы, не принадлежал к числу людей, для которых государственная должность самое надежное средство к достижению материального благополучия. Правда, имение Ридов и Гринов оценивалось в круглую сумму, но оно настолько было отягощено долгами, что рассчитывать на какие-либо доходы не приходилось. Портлендские друзья не без ехидства спрашивали Джека, на какие средства он собирается содержать молодую жену, к тому же француженку. Рид мог на эти вопросы дать только уклончивый ответ, посылая всех к черту.

Поняв, что в Портленде работы не найти, невзирая на возражения родителей, Джек решил пытать счастья только в Нью-Йорке.

Во всем гигантском городе был лишь один человек, который

мог ему помочь, — Линкольн Стеффенс. Рид немного побаивался старого газетного волка, строгого и резкого, и долго не решался обратиться к нему. К удивлению Джека, Стеффенс встретил его тепло и радушно. Более того, он, оказывается, уже подумывал о Риде!

У Стеффенса был хороший глаз — еще в Гарварде он отметил Джека и Уолтера Липпманна как возможных будущих «звезд» американской журналистики. История показывает, что предвидение Стеффенса сбылось. Действительно, и Рид и Липпманн стали самыми крупными американскими журналистами, правда, их «звезды» засияли на противоположных сторонах небосклона.

Во всяком случае, старый Стеф, как его называли друзья, твердо решил сделать все от него зависящее, чтобы поддержать двух талантливых молодых людей, пока они будут карабкаться по каменистой и неровной журналистской стезе. Вначале он пристроил к делу Липпманна, окончившего Гарвард годом раньше, а затем подыскал первую работу и для Джека — в «Американ мэгэзин», где сотрудничал и сам.

И Джон Рид очутился в журнальной пучине… Впрочем, «очутился» не совсем то слово. Он в ней погряз и утонул. После упоительного четырехмесячного безделья на него свалилась гора больших и малых обязанностей. Он должен был разбирать почту, отвечать на сотни писем — большей частью идиотам и графоманам, вычитывать гранки, помогать редакторам делать номер и прочее, и прочее, и прочее… При этом за жалованье, даже отдаленно не похожее на тот миллион, который ему бы хотелось иметь.

Линкольн Стеффенс, взирая, как Джек отчаянно барахтается в этом потоке, только посмеивался. У него были свои представления о педагогике.

Через полгода Джек с изумлением обнаружил, что он уже не испытывает никакого трепета перед работой, в результате чего справляется с ней гораздо лучше. Кроме того, оказалось, что он преблагополучно забыл о существовании невесты, чему все были только рады.

У Рида появилось даже время, чтобы написать дюжину рассказов, романтичных и возвышенных. К счастью для Рида, большинство из них было отвергнуто всеми журналами. Впрочем, тогда он этому вовсе не радовался.

Наконец фортуна стала относиться к Джеку более милостиво, и некоторые его рассказы и даже стихотворения увидели свет. И Рид ожил.

К этому времени он взял один очень важный

психологический рубеж — перестал чувствовать себя в Нью-Йорке чужеземным пришельцем, стал своим в нью-йоркской богеме — той единственной среде, которая призывно влекла его и манила. У этой богемы были свои кумиры, свои законы, свои традиции, так не похожие на те, что властвовали над огромным городом. У нее была даже своя столица, своеобразный нью-йоркский Монмартр, квартал поэтов, художников, артистов — он назывался Гринвич-Виллидж. В этом-то районе на Вашингтон-сквер, 42 поселился и Рид вместе с тремя приятелями по Гарварду: Робертом Эндрюсом, Аланом Озгудом и Робертом Роджерсом. Компания жила весело. Не было такой выходки, которая была бы сочтена в их кругу чересчур вольной или рискованной. Но в общем молодые повесы были бескорыстно преданы искусству и литературе, это было главным для них, несмотря на всю экстравагантность образа жизни. Порой дело доходило до курьезов.

Однажды в студии знакомого художника на Чарльз-стрит собралось шумное и нетерпимое в своих суждениях общество из непризнанных поэтов. Горячие дебаты затянулись за полночь. Когда в камине догорело последнее полено, стало холодно. Хозяин, недолго думая, швырнул на тлевшие угли стул. К утру в студии не осталось никакой мебели, а спору еще не виделось и конца. Тогда один из самых яростных оппонентов Джека, не желая оставлять поле битвы только потому, что у него уже коченел нос, отстегнул и швырнул в камин свою деревянную ногу! Потрясенный такой преданностью идее, Джек сдался.

Все часы, свободные от работы и литературных споров, Джек отдавал Нью-Йорку. Громадный, раздираемый тысячами противоречий город стал ему самым дорогим местом на земле. Через несколько месяцев Джек знал его, как собственную квартиру, начиная от роскошных особняков Пятой авеню и кончая мрачными каменными колодцами Гарлема, куда никогда не проникал луч солнца.

Через несколько лет он писал, вспоминая об этом периоде своей жизни:

«Я любил шагать по улицам от парящих в вышине величественных башен деловой части города, вдоль доков Ист-Ривер, вдыхая здесь запах пряностей и любуясь парусными судами, напоминавшими о далеком прошлом, через кишащий людьми Ист-Сайд, в границах которого разместилось множество чужеземных городков… С глубочайшим волнением наблюдал я отлив и прилив людского потока, стремящегося на работу и с работы, на запад и восток, юг и север. Я хорошо знал и Китайский квартал, и «Малую Италию», и квартал, населенный сирийцами,

театр марионеток, бары Шарки и Максорли, меблированные квартиры и притоны бродяг на Бауэри; Хэймаркет, немецкий поселок и все ночные ресторанчики Тандерлойна.

Одну летнюю ночь я проспал на быке моста Вильямбург-Бридж; в другой раз я расположился спать в корзине для кальмаров на Фултон-Маркет, где при свете шипящих дуговых ламп сверкают красные, зеленые, золотистые морские рыбки. Я знакомился и с разгуливающими по улицам девицами, и с пьяными матросами с кораблей, только что приплывшими с другого конца света, и с испанскими портовыми грузчиками, живущими на нижнем конце Вест-стрит…

Чудовищно огромный город непрерывно разрастался, как злокачественная опухоль; в нем были и запущенные районы, в которых жизнь замирала, и площади и улицы, где давно уже царит веселый гомон роскошной и праздной жизни, тонущий в шуме и гаме окружающих их трущоб. Я знал и Вашингтон-сквер, где встречался с артистами и писателями, и с людьми, близкими к богеме, и с радикалами. Я посещал балы гангстеров в Таммани-холле… Не выходя за пределы квартала, где стоял мой дом, можно было пережить все приключения мира, а в пределах мили — познакомиться со всеми странами и народами.

В Нью-Йорке я впервые полюбил, впервые написал о том, что видел, испытав буйную радость творчества, — и узнал, наконец, что могу писать. Там я получил первое представление о современной мне жизни. Город и его жители были для меня открытой книгой; все имело свою историю, драматическую, полную трагической иронии и страшного комизма. Там я впервые понял, что действительность может превзойти все самые пылкие поэтические фантазии романистов средневековья».

Одним из результатов острого, чуткого внимания Джека к жизни большого города было открытие им рабочего класса. Правда, тогда он еще не думал о рабочих как о классе, но просто как о людях физического труда, создающих много, а получающих за свою тяжелую работу ничтожные гроши.

У Джека были определенные идеи о равенстве людей, он был добр и справедлив по натуре. Но это были абстрактные идеи. Столкновение с жизнью могло или укрепить их, придав им новую ценность, или развеять вместе с юношескими иллюзиями. Бывают люди, которых вполне удовлетворяет сознание собственной порядочности. Они разделяют высокие чувства, но совсем не стремятся проверить их на шершавом оселке жизни. К счастью, Джек не принадлежал к их числу и не полагался только на благородство своих идеалов.

«В целом одни отвлеченные идеи не имели в моих глазах

большой цены, — писал он позднее. — Я должен был видеть все своими глазами. Во время своих странствий по городу я не мог не наблюдать ужасы нищеты и ее тяготение к пороку, жестокое неравенство между богачами, у которых слишком много автомобилей, и бедняками, которым нечего есть. Я никогда не узнал бы из книг, что рабочие производят все богатства мира, которыми пользуются те, кто их не заслужил».

Джек все еще стремился к славе и богатству, но уже не так упорно. Он видел, что деньги и почет окружают далеко не всех хороших литераторов, но только тех, кто отдал свое дарование в угоду сильным мира сего, кто продал свое перо золотому тельцу. Этот путь не привлекал Рида. При мысли, что такое может произойти и с ним, ему делалось нехорошо.

Рид уже знал не одного талантливого поэта и писателя, чей дар выдерживал все испытания, кроме одного — литературного успеха.

Был только один человек, который понимал душевную сумятицу Рида, сочувствовал ему и в деликатной, правда, форме подталкивал к нужному пути. Линкольн Стеффенс жил в том же доме на Вашингтон сквер и уже не удивлялся, когда в самое неподходящее время дня, а вернее, ночи, к нему врывался Джон Рид, чтобы немедленно поделиться впечатлениями или сомнениями.

Стеффенс внимательно выслушивал молодого друга, не перебивая, лишь изредка вставляя свои замечания. Когда Рид, выговорившись, умолкал, Стеффенс тихим, чуть надтреснутым голосом высказывал свое мнение по тому или иному предмету, и все становилось на свои места. По крайней мере — на день или два.

Иногда он как бы вскользь бросал:

— Об этом стоит написать.

И Рид немедленно писал рассказ или очерк. Впрочем, писал он непрерывно и без советов. И о том, что рождалось в его пылком воображении, и о том, что видел в действительности. А видел он с каждым днем пребывания в Нью-Йорке все больше и больше.

В июне 1912 года из дома пришла плохая весть: отец тяжело болен, безнадежно. Бросив все дела, Джек курьерским поездом выехал в Портленд. Он застал отца еще живым.

Чарльз Джером Рид умирал. Он оставлял этот мир с чистой совестью и сознанием выполненного долга. Эта гордость умирающего потрясла Джека. Только теперь он почувствовал, как дорог ему отец, как много он ему дал. Чарльз Рид не оставил жене и детям большого состояния. Но его сыновья получили

хорошее образование, были честными людьми и могли претендовать на успех. Горькие чувства, обуревавшие Джека, усугублялись тем, что он видел затаенную радость на лицах некоторых видных горожан, которым в свое время его отец прищемил хвосты. Потом он понял, что эта скрытая ненависть — лучшее свидетельство гражданского мужества его отца.

Чарльз Джером Рид умер 1 июля 1912 года. Это была первая смерть, которую увидел его сын собственными глазами. На свежей могиле Джек написал стихи. Они начинались так:

> Спокойно он лежит здесь
> В доспехах из храбрости, которые мог носить
> только он один…

Лишь теперь, когда отца не стало, Джек осознал в полной мере, что отец «всю свою жизнь положил на то, чтобы мы могли жить как дети богатых родителей. Он и мать всегда давали нам больше, чем мы просили, как в предоставлении нам свободы и самостоятельности, так и в отношении материальных благ. И в тот день, когда мой брат окончил колледж, отец заболел, не выдержав страшного напряжения, и умер несколько недель спустя. Мне всегда казалось злой иронией судьбы, что он не дожил до того, чтобы лицезреть мои скромные успехи».

После похорон Джек хотел было сразу вернуться в Нью-Йорк. Только в работе он видел убежище от тоски. Но семейные дела требовали его присутствия в Портленде, и он задержался здесь на три месяца. Плодом его творчества за это время явилась сатирическая поэма «День в Богемии». — В ней Джек описал в ироническом плане жизнь и нравы того литературно-артистического мира, центром которого был Гринвич-Виллидж. Поэма не отличалась особенной глубиной и серьезными обобщениями, но в ней было много метких и язвительных наблюдений, особенно в сжатых, лаконичных портретах знакомых журналистов, поэтов, художников.

В конце сентября Рид вернулся в Нью-Йорк и с удвоенной энергией стал бомбардировать журналы и газеты рассказами, очерками, стихами.

Линкольн Стеффенс время от времени просматривал творения Рида и каждый раз сожалеюще цокал языком:

— Не то. Ты еще не нашел свою линию, Джек.

Рид бесился, рвал в клочья очередной рассказ. Потом садился к столу и переписывал его заново. В эту-то пору он, как ему казалось, обнаружил своего главного врага — сытость, и его литературную жвачку — низкосортное чтиво. И он принялся

высмеивать богачей, вонзая в их заплывшие жиром мозги свои булавки. В ту пору они казались ему острыми укусами, но были, в сущности, лишь насмешкой над обывательской глупостью со сравнительно безобидной примесью социального разоблачения. Некоторые из этих куплетов стоит привести, так как в них — весь Рид 1912 года, с его достоинствами и слабостями.

О журнале «Космополитен», например, он писал:

В каждом моем номере уйма пикантного,
Но все здесь приятно, все элегантно.
Женские губки, сорочки, чулок —
Все дано в меру, только намек.
Любовник услышит в страниц моих шелесте
Намек на красоток скрытые прелести
И многое прочее… Не удивительно,
Что стал бизнесменам я влагой живительной.

Претендующему на либерализм журналу «Аутлук» («Взгляд») Джек посвятил такие строки:

Реформатор я (но в меру),
И реформа, так сказать,
Мой практичный символ веры.
За нее есть смысл стоять.
Возвышайся всяк, как можешь.
Сплоховал — в тюрьму изволь.
Курс неясен мой. Так что же.
Он доходен — вот в чем соль.

Все эти стишки Джека, так же как и его лирика, восторженно встречались в кругу, увы, довольно малочисленном, его почитателей. Но сам он в душе понимал, что все это, выражаясь словами Сеффенса, «не то». В конце концов прекрасным зимним вечером Джек в приступе своеобразного отчаяния одним махом написал совсем малюсенький рассказ и назвал его «Куда влечет сердце». Это был его первый вклад в журнал «Мэссиз» («Массы»).

На Девятнадцатой Восточной улице Нью-Йорка был маленький, захудалый ресторанчик, где собиралась местная богема. Однажды осенью 1910 года там появился молодой длинноногий голландец по имени Пит Влаг. Он носился с мыслью создать журнальчик (для него уже было придумано название — «Мэссиз»), который был бы органом кооперативного движения, а заодно кусал аристократов и проповедовал социалистическую

философию. В конце концов такой журнал был создан и с грехом пополам просуществовал целый год. Наивысшим его достижением была публикация нескольких рассказов Толстого. Но потом в журнале все разочаровались, и он стал быстро хиреть.

Осенью 1912 года группа патриотов журнала решила предпринять героические усилия, чтобы спасти «Мэссиз» и привлечь к участию в нем энтузиастов борьбы за свободу печати. Более того, по их замыслу журнал должен был быть даже марксистским! Одним из самых рьяных сторонников нового «Мэссиз» стал Артур Юнг, художник, прозванный «американским Домье». Это был низенький, коренастый человек лет под сорок, с большой лысиной и острыми, насмешливыми глазами. Он был одновременно до предела флегматичен и феноменально энергичен. В его рисунках, смешных и наивных, скрывалась огромная взрывчатая сила. До мозга костей Юнг был «богемцем», и посему никому в голову не приходило называть его полным именем. До конца своих дней он остался для всех просто Артом, что его вполне устраивало.

Именно Арту первому пришла в голову мысль пригласить в качестве редактора профессора эстетики Колумбийского университета Макса Истмена, человека энергичного, обладающего недюжинным организаторским талантом. Истмен, красивый молодой человек, охотно принял это предложение, хотя и был предупрежден, что должность не оплачивается[4].

Ведущее ядро составили: Макс Истмен, Юджин Вуд, Эллис Джонс, Горацио Винслоу, Джозеф О'Брийен, Лерой Скотт, Шервуд Андерсон, Флойд Делл, Карл Сэндберг, Артуро Джиованитти и другие радикальные писатели и поэты того времени. Были и художники: Арт Юнг, Джон и Алиса Слоан, Морис Беккер. Среди художников после Арта Юнга выделялся, пожалуй, Бордмен Робинсон, худощавый канадец с профилем Мефистофеля и сардонической улыбкой. Робинсон жил в Штатах уже лет пятнадцать и до «Мэссиз» снискал известность своими превосходными рисунками в нью-йоркской «Трибюн».

Как только Рид узнал о возрождении «Мэссиз», он немедленно отправился к Истмену с толстой папкой рукописей. Из них тот и отобрал «Куда влечет сердце». Тема этого раннего рассказа почерпнута Джеком из жизни нью-йоркского «дна». Сюжет предельно незамысловат. Девушка из дешевого дансинга, оказывается, имеет какие-то идеалы, какие-то стремления, у нее могут быть светлые чувства и привязанности. Сколотив немного деньжонок, она едет в Европу, чтобы собственными глазами увидеть дом Шекспира в Стратфорде и побродить по Лувру.

Рассказ написан мастерски, в нем впервые в полный голос

дал себя знать литературный талант Рида. Но он свидетельствует и о другом: что молодой журналист уже резко критически относился к капиталистической действительности, увидел черную несправедливость мира, в котором жил, и не собирался ему прощать попрания самого дорогого — человеческой личности.

Опубликование рассказа имело для Рида огромное значение. Наконец-то он получил трибуну, с которой мог свободно излагать свои взгляды! В «Мэссиз» Джек быстро стал полноправным членом дружного сообщества. Именно здесь его талант получил признание людей, которые разбирались в этом лучше кого бы то ни было в Америке.

Именно Джеку было оказано величайшее доверие — ему поручили составить лозунги «Мэссиз», которые, после того как получили общее одобрение, набирались под титулом во всех номерах.

Естественно, что эти лозунги выражали журналистское кредо и самого Рида. Через четыре года, уже социалист и революционер, Джек вырос из детских штанишек этих четырех принципов, но в свое время они послужили ему надежной отправной позицией.

Вот эти лозунги:

«Искать подлинные причины»;

«Против косности и догм»;

«Печатать все то, что слишком правдиво для «денежной» прессы»;

«Не угождать никому, даже своим читателям».

Невозможно сравнить коммунистическое мировоззрение Рида 1918 года с розовым радикализмом первых лет его журналистской деятельности. Многое из написанного для «Мэссиз» казалось потом ему самому смешным и незначительным. Но этим четырем принципам, как присяге, он не изменял никогда.

Тринадцатый год столетия стал для Джека Рида поистине счастливым. Он обрел свою линию (ту самую, о которой так много говорил ему Стеффенс), обрел друзей, обрел трибуну. Незаметно для него самого пришел и успех, и не только в среде восторженной богемы, готовой каждодневно открывать гениев. Наконец в этом году к нему пришла первая настоящая любовь.

Мэбел Додж была намного старше Джека — у нее был почти взрослый сын. Она была красива, умна, обаятельна, образованна. Кроме того, она принадлежала к числу женщин, для которых умение добиваться своего заменяет счастье.

Влюбившись в Джека, она без особого труда влюбила его в себя. Для него Мэбел была олицетворением того мира

прекрасного, к которому всегда стремилась его душа романтика и эстета.

Мэбел ненавидела Америку и предпочитала жить на своей вилле во Флоренции. Штаты были для нее страной уродливых машин и низменного делания денег. Миссис Додж предпочитала не задумываться над тем, что только деньги, которые она так презирала, и дают ей возможность брать от мира все прекрасное. А миссис Додж была богата, по-настоящему богата. Именно из-за этих денег Джек не решался претендовать на руку самой прелестной женщины Нью-Йорка, довольствуясь тем, что ему принадлежало ее сердце.

Дом Мэбел Додж на Пятой авеню слыл самым блестящим литературно-артистическим салоном в городе. В нем бывали люди самых различных общественных слоев, подчас глубоко враждебные друг другу: миллионеры и искатели приключений, музыканты и светские львицы, поэты и анархисты.

Разумеется, став возлюбленным миссис Додж, Джек стал и завсегдатаем ее салона. Его левые взгляды пока еще отлично уживались с шелковыми обоями на стенах фешенебельного особняка.

ВОЙНА В ПАТЕРСОНЕ

Весной 1913 года в жизни Джека Рида произошло событие, разом оборвавшее ее прежнее безмятежное течение: в салоне Мэбел Додж он встретился с человеком необыкновенным.

Как обычно, в тот вечер гостиная была заполнена самой разношерстной публикой. Во всех уголках то вспыхивали, то затихали страсти. Кто-то нараспев читал белые стихи, кто-то импровизировал на фортепьяно. Переходя от одной группы к другой, хозяйка умело и деликатно дирижировала собранием. Уютно примостившись в мягком кресле, Рид думал о чем-то своем, машинально перелистывая взятую наугад с полки книгу.

И вдруг по залу пронеслось: «Приехал Билл Хейвуд». И сразу все заговорили — с подчеркнутой независимостью, неестественно оживленно. Так бывает всегда, когда люди толпы, великосветской или уличной, хотят скрыть острый интерес к чему-то будоражащему, но, в сущности, далекому и непонятному. Риду случалось видеть нечто подобное в вагонах поездов дальнего следования, когда среди пассажиров вдруг узнавали чемпиона по боксу или знаменитую актрису.

Но человек, своим появлением внесший сумятицу в салон Мэбел Додж, не был ни чемпионом по боксу, ни популярной актрисой, ни модным баптистским проповедником, ни поэтом со скандальной славой. И все-таки его действительно знала вся Америка.

Он был рабочим лидером.

Уже своей внешностью Хейвуд поразил воображение Рида.

Это был мужчина огромного роста и богатырского сложения. Дешевый пиджак, явно купленный в магазине готового платья, едва сходился на могучем торсе. Грубое, словно вырубленное неуклюжим топором деревенского плотника, лицо Хейвуда было испещрено шрамами. На месте правого глаза — черная повязка. Одно ухо будто кто-то оторвал, а потом не очень умело пришил на место. (Так оно и было на самом деле. Хейвуду его оторвали, когда он один ввязался на улице в драку с шестью полисменами. Потом ухо пришил в участке полицейский врач. По лаконичным словам самого Билла, на это потребовалось всего семь стежков…)

Хейвуд стоял в дверях, весело буравя присутствующих своим единственным глазом. В кругу этих, в сущности, совершенно чуждых ему людей он и не думал теряться.

Мэбел поспешила к нему навстречу, подхватила под руку, оживленно затараторила:

— Леди и джентльмены, позвольте представить вам мистера Вильяма Хейвуда, впрочем, более известного под именем Большого Билла…

Джек не заметил, как встал со своего кресла, как сунул куда-то забытую вмиг книгу, как очутился возле Хейвуда.

Не только он, все присутствовавшие прекрасно знали необычайную жизнь этого человека, чье имя, сопровождаемое тысячью проклятий, не раз попадало на страницы газет. Президент Рузвельт однажды назвал его «нежелательным гражданином».

Долгие годы Билл Хейвуд, сам горняк с девяти лет, был руководителем Западной федерации горняков, одной из самых боевых организаций рабочих. Он провел десятки стачек, во время которых нередко в ход пускалось оружие.

Потом Хейвуд создал знаменитый союз «Индустриальные рабочие мира», и предприниматели совершенно потеряли всякий покой. «Уоббли»[5], как называли членов ИРМ, буквально наводили ужас на промышленников, ибо излишком христианского смирения они не отличались.

В 1906 году Хейвуда упрятали в тюрьму, и очень основательно, по обвинению в организации убийства бывшего губернатора штата Айдахо Стюненберга. На самом деле Стюненберга взорвал самодельной бомбой профессиональный провокатор Гарри Орчард, который на следствии показал, что якобы сделал это по заданию Хейвуда за двести пятьдесят долларов. Многие видели, что «дело Хейвуда» — сплошная полицейская «липа», но понимали и то, что пеньковая петля уже достаточно плотно охватывала шею Большого Билла.

Процесс Хейвуда стал сенсацией. Страна бурлила. Ежедневно

Билл получал в тюрьме несколько мешков писем. Волна митингов протеста прокатилась по всему миру. На демонстрации вышли сотни тысяч рабочих. В Бостоне на митинге двести тысяч человек поклялись оторвать головы палачам Хейвуда, если его приговорят к смерти. Жюри не решилось вынести обвинительный вердикт, и Билла выпустили на свободу. Повсюду его приветствовали, как героя.

Вот с этим-то человеком и познакомился Джек Рид в фешенебельном салоне Мэбел Додж.

В тот вечер Хейвуд рассказывал о грандиозной стачке, разразившейся в Патерсоне, штат Нью-Джерси, прямо под боком у Нью-Йорка. Патерсон, центр шелковой промышленности Америки, по словам Билла, был выстроен на зараженных москитами болотистых низинах и представлял собой мрачное скопление фабрик и красилен, на которых работало двадцать пять тысяч рабочих, преимущественно итальянцев. В городе не было ни одной травинки: все выжигали ядовитые испарения, круглые сутки витавшие над Патерсоном. Условия труда текстильщиков не поддавались описанию, условия жизни — тоже.

Хейвуд говорил очень спокойно, сдержанно, даже в драматических местах не повышая свой глуховатый голос. Но перед глазами Рида встала картина из Дантова ада: изможденные, оборванные люди, занятые изнурительным трудом в клубах ядовитого зеленого дыма…

— Но все же стачка — это ужасно, — нерешительно сказал он, — ведь у них есть семьи. Вы говорите, что двадцать пять тысяч рабочих бастуют уже несколько месяцев, и все это время им никто не платит. Неужели нельзя найти каких-нибудь путей к соглашению с предпринимателями?

Хейвуд только зло хмыкнул, резко бросил витую серебряную ложечку в тонкую фарфоровую чашку.

— Эти собаки пойдут на соглашение с рабочими, разве лишь разразится второй всемирный потоп. И то постараются оттягать себе лучшие места в ковчеге старикашки Ноя. Мы объявили мирную стачку, а они в нас сразу — пули. Полиция в первый же день открыла пальбу по митингу. Одного рабочего убили. Его звали Валентино Модестино, и он был еще совсем мальчишкой. Войну начали они, а не мы.

Но Рид не сдавался. Он ринулся в спор.

— А как же Американская федерация труда? Я слышал, что она умеет находить пути к соглашению. Рабочие от этого только выгадывают.

Поначалу Хейвуд ничего не ответил. Он просто смотрел на собеседника. От этого пристального, словно сожалеющего,

взгляда Риду стало неловко. Наконец Хейвуд ответил, в полной мере воспользовавшись тем обстоятельством, что к их беседе не прислушивалась ни одна женщина:

— Эти шелудивые псы из АФТ затыкают рабочим рты объедками с хозяйского стола, а сами с потрохами продают их предпринимателям. Кого-кого, а их босса Гомперса я знаю как свои пять пальцев. Видели бы вы этого ожиревшего карлика с головой в плешинах, словно у больного глистами. Это человек с лживой речью и сердцем, полным лицемерия… Хотел бы я посмотреть, как бы он стал защищать человека, попавшего в руки палача…

В разговоре с Хейвудом Рид чувствовал себя в роли школьника. Ревниво вспомнил, что, судя по сообщениям газет, Хейвуд никогда не ходил даже в начальную школу. Впоследствии он узнал, что это правда, которая, однако, ничуть не мешала Хейвуду знать на память всего Шекспира.

Рид, странствуя в портовых районах, часто сталкивался с рабочими — вернее, с теми несчастными бездомными, которых по наивности принимал за настоящих пролетариев. Он глубоко сочувствовал этим людям, барахтающимся на самом дне жизни и не имевшим сил оттуда подняться. Он видел, что общество несправедливо к ним, но не мог и представить, что они способны к какой-либо борьбе.

По-видимому, Хейвуд, утверждая, что пролетарии сами завоюют свою свободу, имел в виду каких-то других рабочих, не тех, которых знал он, Рид.

Джеку не раз приходилось встречаться с представителями физического труда. Но он никогда не был ни на одном заводе. Во время своих скитаний по городу Джек часто разговаривал с шоферами, матросами, мойщиками окон, носильщиками о жизни. Если собеседник зарабатывал прилично, то он, как правило, делился планами перебраться на новую квартиру, купить хороший костюм, если повезет и дальше — открыть собственное дельце. Если зарабатывал плохо — клял на чем стоит весь божий свет и мечтал перебраться куда-нибудь в другое место.

И никто никогда не говорил ему ни о какой борьбе.

Рид, конечно, много читал о социализме, еще с гарвардских времен. Много говорил и спорил о нем, но только с людьми своего круга. Выглядел этот социализм довольно заманчиво, но так же зыбко и неубедительно, как рай в устах бродячих проповедников. К тому же Рид вообще не склонен был воспринимать чужие идеи, раньше чем жизнь не пропускала его через одну из своих медных труб.

Когда Хейвуд рассказывал о стачке текстильщиков, Джек

сразу возгорелся к ним симпатией. Но в первую очередь он почувствовал жалость при мысли о тех лишениях, которые им предстоит перенести во время забастовки. Теперь он боялся, что Хейвуд его неудачные слова примет за осуждение стачечников.

Сбиваясь и горячась, он выложил все это Большому Виллу. Тот довольно ухмыльнулся, дружески пожал Риду руку своей ручищей и торжественно заявил: он ни минуты не сомневался, что имеет дело со стоящим человеком, у которого лишь много путаницы в голове. По его, Хейвуда, мнению, самый лучший способ для Джека избавиться от буржуазных бредней — это приехать самому в Патерсон и посмотреть все собственными глазами.

Хейвуд мог этого не прибавлять. Рид уже и сам для себя твердо решил непременно приехать в этот, судя по услышанному, богом проклятый городишко.

Большой Билл был тертым калачом и насквозь видел Джека. Прямой и задиристый Рид ему понравился, к тому же он прекрасно знал, что в кармане у этого парня — одно из самых острых перьев в Америке. Хейвуд читал кое-что из написанного Ридом и чувствовал, что того надо лишь чуть-чуть повернуть лицом к событиям классовой борьбы. Остальное сделает сама жизнь.

Хитрый и лукавый боец, Билл умело раззадорил Джека, вызвал его на откровенность и добился того, чего хотел, — обещания приехать в Патерсон. Буржуазная печать распускала о забастовщиках чудовищную клевету. Правдивая статья об истинном положении вещей, написанная таким блестящим журналистом, как Джон Рид, принесла бы стачке неоценимую пользу. А из парня толк выйдет — уж кто-кто, а Большой Билл редко ошибался в людях. Он был доволен результатами вечера: Джон Рид стал, быть может сам еще того не сознавая, его союзником.

Шесть часов утра 28 апреля. Моросит мелкий холодный дождь. По унылой и мрачной улице Патерсона медленно бредет красивый молодой человек. Он хорошо одет, слишком хорошо для этого убогого района. Но он не похож на светского франта, совершающего утренний моцион после бессонной ночи. Да и что делать здесь молодому человеку из общества? Юные наследники лучших семей города предпочитают проводить свободное время в Нью-Йорке.

Молодой человек следует своим путем. Его широко раскрытые глаза, светлые и внимательные, запоминают все: длинные низкие здания шелкоткацких фабрик и красилен, ряды многоквартирных деревянных домов, угрюмых рабочих в пальто с

поднятыми воротниками, полисменов с дубинками под мышками (они ходят парами).

Молодой человек отмечает про себя: «Полисмены злые, небритые, с мутными глазами. Девять недель стачки, очевидно, довели их до полного изнеможения».

Он идет дальше. Да, Билл Хейвуд был прав, когда предупреждал его, что в Патерсоне идет война. Теперь он и сам убедился в этом. Хейвуд прав и в другом: к насилию прибегает только одна сторона — фабриканты и их слуги, полисмены и наемные бандиты. Они избивают беззащитных людей, топчут их лошадьми, расстреливают.

Городской судья всецело на стороне предпринимателей и послушно выполняет их волю. Уже свыше двух тысяч стачечников упрятано им за решетку.

Рид покраснел при воспоминании о своем мальчишеском споре с Хейвудом. Впрочем, нет худа без добра. Не будь того разговора у Мэбел, он бы не попал сюда, не открыл бы целого мира, о существовании которого раньше и не подозревал.

В первый же день по приезде в Патерсон Рид вместе с Хейвудом оказался на митинге. В чахлом, отравленном газом лесочке за окраиной города собралось не меньше двадцати тысяч человек. Никогда раньше Джеку не приходилось видеть такого скопления мужчин и женщин, столь единодушных в своем стремлении добиться общей цели. Они были плохо одеты, на худых, землистых лицах лежала печать недоедания и тяжелой, вредной работы. Рид убедился, что их решимость стоять до конца не была навязана кем-то извне, а порождена самой жизнью.

Почти все собравшиеся держали в руках маленькие национальные флажки с надписью:

Мы украшены флагами,
Мы живем под флагом,
Мы умрем под флагом,
Но мы не желаем подыхать с голоду под флагом!

Билл объяснил Риду, что в первые дни стачки владельцы фабрик увешали американскими флагами весь город и подняли в печати провокационную кампанию, обвиняя стачечников в отсутствии патриотизма. Флажки в руках рабочих были ответом на этот трюк предпринимателей.

Неожиданно для самого себя Рид произнес сбивчивую, но пламенную речь. Он очень волновался и потом никогда не мог вспомнить содержания своего первого политического выступления. Но говорил искренне и, по-видимому, то, что надо,

так как митинг приветствовал его овацией.

Потом, осененный вдохновением, Джек взобрался на ограду шаткой трибуны и запел революционную песню. Сначала к нему присоединилось лишь несколько нестройных голосов, но энергичный взмах рукой — и знакомую песню подхватили тысячи людей.

…Часам к восьми утра Рид очутился около линии пикетчиков. Их число все возрастало. Прибывали и полисмены. Дождь усилился. Джек попросил разрешения у какого-то мужчины постоять под навесом на крыльце его дома. Получив согласие, он поднялся по ступеням. Здесь уже торчал дюжий полисмен.

Подозрительно оглядев Рида с головы до ног, полисмен незамедлительно предложил ему убираться к дьяволу. Так с Джеком блюстители порядка еще не разговаривали: дорогой костюм обычно достаточно надежно охранял от их грубости.

Недоуменно пожав плечами, Джек сказал, что владелец дома разрешил ему стоять здесь.

Полисмен взорвался:

— Делай, что я говорю тебе! Убирайся, да поживее!

— И не подумаю! Если я нарушил закон, то арестуйте меня!

После короткой словесной перепалки полисмен схватил Рида за руку и ловким профессиональным приемом закрутил ее за спину. Джек было рванулся, но жгучая боль, как током, поразила плечо. Раньше чем молодой журналист успел опомниться, его мгновенно втолкнули в кузов полицейского грузовика.

По пути в управление полисмены осыпали Рида грязными ругательствами. Послушав несколько минут своих спутников, Рид язвительно заметил, что они повторяются. К его изумлению, эту фразу позднее на суде ему поставили в вину!

После краткого допроса Рида заключили в крохотную камеру, четыре на семь футов, в которой уже находились девять арестованных пикетчиков. Их держали здесь без воды и пищи уже двадцать два часа!

Среди арестованных был Карло Трéска, один из руководителей стачки. Рид обратился было к нему с расспросами, но осторожный Трéска не стал беседовать с незнакомым ему человеком.

Рид осмотрелся. Скудную обстановку камеры составляла единственная железная койка, подвешенная на цепях к стене, и грязная открытая параша в углу. Койку уступили семнадцатилетней девушке, остальные арестованные сидели прямо на полу, покрытом слоем отвратительной липкой жижи. Сквозь никогда не мытые зарешеченные окна с трудом

пробивался слабый дневной свет. Смрадный, нечистый воздух застревал в горле.

Рид отнесся к аресту стоически. Верный своей беспокойной профессии, он давно приучился извлекать пользу из любой ситуации, в которую ему приходилось попадать. Что ж, по крайней мере он познает на собственном опыте, что такое тюрьма.

Рид с интересом приглядывался к соседям. Больше всего его поразило, что никто из задержанных рабочих не собирался предаваться унынию, даже девушка, почти еще ребенок.

Через некоторое время из коридора послышался оглушительный шум. Заключенные приподнимали железные койки и с грохотом, напоминающим пальбу из пушек, ударяли о гулкие металлические стены.

— Да здравствует ИРМ! — разнесся чей-то возглас, и вся тюрьма откликнулась громким «ура».

— Да здравствует стачка!

— Ура!

— Да здравствует Большой Билл!

— Ура!

Так продолжалось несколько часов.

Наконец Рид предстал перед главным судьей города — Кэрролом. Джек хорошо знал нравы полицейских судей, он достаточно нагляделся на этих неумолимо-жестоких чиновников еще в Нью-Йорке и ничего хорошего для себя не ждал. Так оно и вышло.

Полисмен Маккормак, который арестовал Рида, выступая в качестве свидетеля, преподнес судье такое сплетение лжи, что Джек даже позавидовал его буйной фантазии.

Уперев в Рида жестокий взгляд умных холодных глаз, Кэррол задал лишь один вопрос:

— Профессия?

— Поэт.

Не поведя и бровью, словно ему приходилось отправлять поэтов за решетку ежедневно, Кэррол стукнул судейским молотком по столу и объявил приговор:

— Двадцать суток!

Так Рид оказался в окружной тюрьме. По счастливому совпадению, если только подобное выражение применимо к подобной обстановке, его поместили в камеру, где в числе восьмидесяти стачечников уже сидел арестованный ранее Вильям Хейвуд. Во всяком случае, благодаря этому совпадению Рид оставил нам изумительный по выразительности и силе портрет

Вильяма Хейвуда.

«Посредине камеры, окруженный тесной толпой низкорослых людей со смуглыми лицами, возвышался Большой Билл — Хейвуд. Его огромные руки двигались в такт словам. Широкое с резкими чертами лицо Хейвуда, испещренное рубцами и шрамами, было словно высечено из камня. Оно излучало спокойствие и силу. Арестованные забастовщики — один из многочисленных маленьких отрядов, отчаянно сражавшихся в авангарде трудящихся, — оживали и набирались сил при одном лишь взгляде на Билла Хейвуда, при звуке его голоса. Вялые лица, помертвевшие от разъедающей рутины повседневной работы в лишенных солнца мастерских, озарялись надеждой и пониманием».

Заметив Джека, Хейвуд крепко пожал ему руку и поздравил с первым крещением.

— Ребята, — сказал Билл, указывая на журналиста, — этот человек хочет знать все о событиях.

Рассказы посыпались как из рога изобилия. Все рабочие в камере были арестованы за участие в «незаконных сборищах». Среди присяжных, перед которыми они предстали, не было ни одного рабочего. Зато были четыре владельца фабрик.

То, что увидел Джек в окружной тюрьме, превосходило все, что он мог представить, даже побывав уже в предварительном заключении. Судя по всему, власти не считали заключенных за людей и тем более за граждан демократической страны, обладающих конституционными правами.

У одного несчастного были на ногах язвы, а тюремный врач лечил его таблетками с сахаром «от нервов». Семнадцатилетний мальчик без приговора суда содержался в лишенном солнца коридоре более девяти месяцев. Время от времени здание тюрьмы оглашал леденящий душу звериный вой человека, лишившегося рассудка, но тем не менее остававшегося в заключении.

За относительно короткий срок пребывания в тюрьме Джек несколько раз, что называется, по душам беседовал с Хейвудом. И после каждого такого разговора, он сам это чувствовал: в нем откладывалось что-то важное. Это казалось тем более удивительным, что Билл вовсе и не пытался агитировать молодого человека, наоборот, каждый раз зачинщиком выступал сам Рид.

Как-то Джек начал бурно возмущаться тюремными порядками, особенно тем, что власти попирают всякую законность. Хейвуд согласился с ним, но как-то вяло, словно речь шла о чем-то незначительном.

Рид удивился.

— Неужели вас это не возмущает, Билл?

Ответ был неожиданным.

— А чему тут удивляться? Ведь не для того они построили тюрьмы, чтобы откармливать нас яблочными пирогами.

Хейвуд рассказал Риду, что порядки в патерсоновской тюрьме отнюдь не исключение, есть тюрьмы, где к заключенным относятся еще хуже.

— Это нормальное явление, Джек. Их законы писаны не для нас — такова сущность всей системы. Поэтому я не возмущаюсь уже никакими пакостями, достаточно нагляделся на них. Я ненавижу всю систему.

— Но ведь есть же и среди привилегированных классов честные и мужественные люди! Мой отец, например, десять лет жизни отдал борьбе с хищениями государственных земель в Орегоне, и я горжусь им.

— Ну, а чего он добился? Уверен, что если в этом самом Орегоне и перестали воровать землю, то лишь потому, что уже разворовали всю до последнего акра.

Рид примолк: он уже и сам понял, что пример выбрал неудачно. С горечью вспомнил, как травили отца в последние годы его жизни. Уже без прежнего запала, а чтобы хоть как-то кончить разговор, спросил:

— Вы думаете, Билл, что права граждан нашей страны, дарованные конституцией, сама наша демократия на деле являются фикцией?

— Вот-вот, самое подходящее слово! — обрадовался Хейвуд. — И как это я сам до него не додумался?! Знаете, Джек, за всю мою жизнь меня лишь однажды арестовали действительно законно — я курил на вокзале в неположенном месте. Больше не припомню. А меня, слава богу, сажали, случалось, в месяц по два раза.

Рид больше не пытался спорить, да и нужды в том не было. В эти дни ему вообще пришлось изрядно поломать голову над многими проблемами, и кое-какие из них он решил правильно.

Однажды к нему подошел молодой итальянец с газетой и показал на две статьи. Одна была под заголовком «Американская федерация труда надеется на следующей неделе прекратить забастовку», другая — «Социалисты Нью-Йорка отказываются помогать забастовщикам Патерсона».

Парень был в недоумении.

— Вы образованный человек, — обратился он к Риду, — объясните мне. Я социалист, я состою в профсоюзе. Я бастую вместе с ИРМ. Социалисты говорят: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» АФТ говорит: «Все рабочие, сплотитесь!» Каждая

из обеих организаций говорит: «Я защищаю рабочий класс». Ладно, говорю я, я и есть рабочий класс. Я объединяюсь и бастую. Тогда они мне говорят: «Нет, ты не должен бастовать». Что это? Я не понимаю. Объясните мне.

Рид ничего не мог объяснить. Он ответил молодому рабочему так, как думал сам:

— По-видимому, значительная часть Социалистической партии и АФТ забыла о классовой борьбе и, как видно, увлеклась забавной игрой по всем правилам капиталистического общества под названием «Чур, чур, кто имеет право голоса».

Рида освободили досрочно, но отнюдь не за хорошее поведение и тем более не из гуманных соображений.

Просто-напросто шериф Рэдклифф, узнав, что в тюрьме сидит нью-йоркский газетчик, понял, что ему нужно как можно быстрее от него избавиться. Он лично явился в камеру и без лишних объяснений приказал:

— Где тут этот сукин сын, писака? Выметайтесь!

— Но я осужден на двадцать суток, — возразил Рид.

— А я говорю, выметайтесь! — прорычал шериф. — И поживее, пока я не свернул вам шею!

Как видно, в Патерсоне людей освобождали так же «демократично», как и сажали. Рида провожали как своего: дружески хлопали по плечу, теребили за рукав, горячо пожимали руку.

— Вы выходите на волю, — говорили ему на прощание. — Это хорошо. Мы рады за вас. Скоро и мы будем свободны и обязательно вернемся в пикеты.

Рид приехал в Нью-Йорк со смятенной душой. Какая-то часть его сердца, и весьма значительная, осталась в Патерсоне. Все былые интересы отошли на второй план. Салон, спектакли, музыка, даже собственная поэзия утратили свое очарование. Он уже не мог возвратиться к тому, чему совсем недавно отдавался с таким упоением. Прежние грезы о литературной славе вызвали теперь у него лишь краску стыда. И в то же время мысль о том, что, быть может, следует порвать с привычным миром, сойти со стелющейся перед ним розами стези к успеху, пугала, ввергала в состояние мучительной растерянности.

В конце концов, так и не порешив с терзающими его сомнениями, Рид попросту махнул на них рукой и ринулся с головой в пучину практических дел. Их мерилом был бастующий Патерсон.

Джек оставил свою работу помощника редактора «Американ мэгэзин» и занялся стачкой. Теперь, когда Рид своими глазами увидел угнетателей-фабрикантов, увидел, как они грабят и

притесняют рабочих, как сводят их в могилу каторжным трудом в условиях, которых не вынесла бы и собака, теперь он не мог дезертировать.

Джек развил кипучую деятельность. Не проходило недели, когда бы он не выезжал в Патерсон, невзирая на то, что полиция запретила ему там появляться. Он наносил обычно безрезультатные визиты влиятельным лицам, убеждал редакторов газет и журналов, увлеченно рассказывал о забастовке каждому, кто только соглашался его выслушать. Иногда он даже не спрашивал такого согласия. Самым счастливым для него теперь был тот день, когда ему удавалось любым путем раздобыть сотню долларов в пользу семей бастующих.

В Патерсоне он часто встречался с Хейвудом, которого выпустили из тюрьмы под залог, и с Элизабет Герли Флинн, одной из руководительниц забастовки. Элизабет было всего двадцать три года, но уже тогда она выделялась замечательным талантом организатора и агитатора. За два года до этого Элизабет вместе с Биллом участвовала в знаменитой стачке текстильщиков в Лоренсе.

— Видел бы ты ее, — рассказывал один из рабочих Джеку, — когда она выступала у нас на митинге. Молодая, голубоглазая, с лицом цвета белой магнолии, как это бывает у ирландцев… По присутствующим словно огонь пробегал… Чувствовалось что-то мощное, делавшее освобождение народа возможным.

Примерно в середине мая Рид загорелся идеей поставить грандиозный спектакль о событиях в Патерсоне. Он ринулся к нью-йоркским друзьям.

— Это будет феерическое зрелище, — возбужденно развивал он свой план в салоне Мэбел Додж. — Мы устроим его на огромной арене, профессиональных актеров не будет, выступят только рабочие, они будут играть самих себя. Сбор пойдет в пользу бастующих.

Идея пришлась вполне по вкусу нью-йоркской богеме. Еще бы, это станет событием для Нью-Йорка, революцией в театре! Добрая сотня артистов, художников, декораторов с энтузиазмом изъявила желание немедленно приступить к подготовке представления.

Рид засел писать сценарий будущего спектакля. Никогда еще он не работал с таким напряжением. Случалось, что он не ложился в постель по двое суток подряд, иногда попросту засыпал прямо за письменным столом. Дело двигалось медленно: в сущности, он слишком еще поверхностно знал рабочую жизнь, и Билл Хейвуд один за другим отвергал его проекты.

Наконец Рид написал сценарий, который удовлетворил всех.

Спектакль решено было поставить в самом большом зале Нью-Йорка на Мэдисон-сквер-гарден. Мэбел Додж, Эд Хант, Джесси Эшли, Эрнест Пулл предлагали самые фантастические проекты оформления. Но все они требовали серьезных затрат, а денег-то как раз не было. Когда подсчитали все, что удалось собрать, оказалось, что суммы хватит лишь, чтобы снять помещение на одну ночь.

Решено было просто сделать над зданием гигантскую надпись из красных лампочек: «Индустриальные рабочие мира». Вместе со знаменитым впоследствии театральным художником Бобби Джонсом Джек нарисовал исполинский плакат: героическую фигуру рабочего на фоне фабрики и дымовых труб. Плакат водрузили над сценой.

Среди всех этих хлопот и треволнений Джек каким-то чудом умудрялся выкраивать время, чтобы ездить в Патерсон, где он репетировал с рабочими.

Спектакль назначили на 7 июня. И тут появились новые заботы. Шериф Джулиус Харбургер запретил по ходу спектакля петь «Марсельезу». С большим трудом Джек добился, чтобы судья отменил это распоряжение. Шериф все же предупредил:

— Пусть кто-нибудь хоть пикнет что-либо неуважительное к флагу! Я прикрою спектакль так живо, что никто и дохнуть не успеет…

В день представления, после полудня, тысячи стачечников прибыли из Патерсона в Нью-Йорк. За несколько часов до начала улицы, прилегающие к Мэдисон-сквер, были уже запружены людьми. Повсюду синели полицейские мундиры.

Неожиданно в толпу словно высыпал кто-то горсть мальчишек-газетчиков. Размахивая над головой пачками газет, пронзительно выкликая заголовки, они устремились в людскую гущу. Газеты брали нарасхват. Заголовок одной из статей гласил: «Спектакль представляет борьбу между рабочим классом и капиталистами под руководством ИРМ… Это конфликт между двумя социальными силами».

Зал волновался. Кто только не пришел на спектакль! Одни, чтобы выразить симпатию и поддержку, другие — излить злобу и ненависть. Все же среди зрителей преобладали рабочие. Временами то тут, то там вспыхивала потасовка.

Первая сцена показывала фабрики на полном ходу. Рабочие гуляли по улицам (прямо в центре аудитории), некоторые напевали песенки, другие читали газеты. У каждого в руках была корзинка или сверток с завтраком. Молодой итальянец весело перебирал струны гитары. Раздался гудок, и улицы опустели — все ушли на работу. Загрохотали станки. Вдруг раздались голоса:

«Стачка, стачка!» Рабочие выбегали толпами из фабричных ворот.

Во втором действии фабрики были мертвы, ни огней, ни шума. Появились рабочие пикеты. Они пели песню стачки. Вдруг без всякого предупреждения на них напала полиция. Раздались выстрелы. Один из пикетчиков упал замертво. Его унесли.

Следующая сцена — похороны убитого пикетчика. Через зал пронесли гроб, за ним следовали стачечники и пели похоронный марш. Гроб поставили на середине сцены, и каждый рабочий опустил на него зеленую ветвь и красную гвоздику. К нему подошли Элизабет Флинн, Карло Трéска и Билл Хейвуд, и каждый произнес речь, как если бы все происходило в действительности на похоронах Валентино Модестино в Патерсоне. Они призывали стачечников бороться до тех пор, пока не будет свергнуто проклятое иго эксплуатации и рабочие не вступят во владение тем, что принадлежит им по праву.

В последнем действии изображался митинг в Патерсоне, на котором к рабочим обратился с речью Вильям Хейвуд. Большой Билл говорил так серьезно и так сильно, как только может говорить человек, вложивший в слово душу и вдохновленный тысячами сочувствующих слушателей.

Представление окончилось общим пением «Интернационала». Зал бушевал…

Впечатление от спектакля было ошеломляющим. Радикалы приветствовали его как великое новшество в театральном искусстве. Газеты публиковали панические статьи, словно Нью-Йорку угрожала бубонная чума. Они вопили, что спектакль устроила подрывная организация, оппозиционная по духу и антагонистическая по действиям тем силам, которые создали Америку. Некоторые газеты требовали по доброму американскому обычаю вымазать в смоле и вывалять в перьях людей, призывающих к анархии и разрушению государства.

Рид сиял, как только что отчеканенный серебряный доллар. Он говорил Мэбел Додж:

— Хоть мы и не получили ни цента прибыли, все же я доволен. Мы показали Нью-Йорку, что предприниматели выжимают из рабочих все, что могут, и допускают существование огромных масс несчастных безработных для того, чтобы удерживать заработную плату на самом низком уровне. Мы показали, что все силы и средства государственного аппарата находятся на стороне имущих и используются против неимущих.

Мэбел осторожно спросила Джека, что он намерен делать дальше. Но этого он не знал и сам. Он чувствовал за собой еще один долг: написать о стачке правдиво — и выполнил его. Из-под его пера родился великолепный очерк, лучшее из всего, что он до

сих пор написал. Очерк назывался «Война в Патерсоне».

По совету Стеффенса Рид отнес очерк в толстый либеральный журнал «Метрополитен», достаточно популярный и пользующийся хорошей репутацией. Это было одно из самых любопытных изданий в Америке. Принадлежал журнал мультимиллионеру Гарри Витни, а издавался другом владельца Джеймсом Вигемом.

В тот период своего существования, когда непримиримые противоречия еще не привели «Метрополитен» к неотвратимому краху, он считался чуть ли не социалистическим, печатал Джека Лондона, Теодора Драйзера, Девида Герберта Лоуренса, Джозефа Конрада, Редьярда Киплинга, публиковал ядовитые рисунки Арта Юнга.

Один из редакторов «Метрополитен», Карл Хови, впоследствии так описал первый приход Рида в журнал:

«В маленькой комнатушке клетушке стоял высокий человек без шляпы — он предпочитал стоять, когда говорил или слушал. Сам он говорил мало. У него было бледное, решительное лицо, а во всем его облике светилось нечто такое, что можно было бы назвать лучезарным спокойствием… Вцепившись в рукопись и не переводя дыхания, я стал говорить о его будущей работе. Я знал, что предлагаемая этим парнем статья так же мало похожа на подражание Стивену Крейну, который некогда был мастером репортажа, как и на модные «живописные» очерки. Такая статья напоминала порыв ветра, который налетел, чтобы выбить стекла в законопаченных окнах литературной рутины. В нем я увидел нового человека!»

Несмотря на радушный прием, Рид все же не отдал очерк в «Метрополитен». Журнал мог опубликовать «Войну в Патерсоне» лишь в июле. Это было поздно. Рид отнес очерк в «Мэссиз», где он и был напечатан сразу.

Кроме того, Рид написал сатирическую поэму, сразу завоевавшую популярность, под названием «Отель шерифа Рэдклиффа» — о прелестях патерсоновской тюрьмы.

И снова начались колебания. Конечно, события потрясли его. Но все же он не мог найти в себе силы, чтобы целиком отдаться рабочему движению. Как только Рид выполнил то, что полагал своим прямым долгом, он счел себя свободным.

Мать прислала ему тревожное письмо: уж больно страшные слухи доносились о ее сыне.

Джек с чистой совестью ответил ей, что он такой же рьяный социалист, как и поклонник епископата. «Я знаю, — писал он, — что мое дело — объяснять жизнь и жить этой жизнью, где бы то ни было — внутри рабочего движения или за его пределами».

Рид чувствовал себя слишком усталым, чтобы сделать выбор. Решив, что сейчас самое лучшее для него переменить обстановку, он уехал во Флоренцию, на виллу Мэбел Додж.

Ни до этой поездки, ни когда-либо после Рид не жил в такой роскоши. Потолок его просторной светлой комнаты был расписан в стиле XVI века. Бордюры шелковых обоев густо облепляла тяжелая позолота. В высокие окна буйно врывалось радостное итальянское солнце, и ветер доносил ласковые всплески прибоя. Вилла утопала в экзотической зелени. Олеандры, кипарисы, оливковые деревья надежно прятали ее от взоров случайных прохожих.

Здесь, как и всегда, Мэбел Додж окружала блестящая свита: артисты, художники, поэты. Дом был полон гостей.

Эгоистическая и расчетливая в своем стремлении брать от жизни только прекрасное, Мэбел умело и умно оберегала свой иллюзорный мир. Теперь, в последнем порыве молодости, она устремила все свои душевные силы и чувства на то, чтобы если не удержать, то хотя бы задержать возле себя на несколько лет Джона Рида. Не веря всерьез умом, что новое увлечение Рида — рабочим движением — сможет изменить в корне всю его судьбу, женской интуицией она все же смутно ощущала нависшую над ее счастьем опасность.

Шумная компания проводила время весело и расточительно. Одно за другим сменяли друг друга музыкальные и поэтические вечера, автомобильные поездки к памятникам старины, купания.

Временами Рид чувствовал себя почти счастливым, пока что-нибудь не напоминало об Америке.

Однажды гость — знаменитый театральный режиссер Гордон Крэгг с профессиональным интересом стал расспрашивать Джека о спектакле в Мэдисон-сквер-гарден.

Рид оживился, долго и увлеченно рассказывал о постановке, а потом неожиданно помрачнел, как-то сник и ушел к себе в комнату, скомкав беседу.

В другой раз, когда Мэбел и несколько ее верных «пажей» вели изысканный разговор о фугах Баха, он, ко всеобщему недоумению, без всякого повода взорвался и наговорил кучу грубостей.

Получив известие об окончательном поражении забастовки в Патерсоне, Рид стал чувствовать себя совсем скверно.

«Никогда в жизни я еще не был таким усталым», — писал он матери.

Рид все чаще и чаще вспоминал славные дни в Патерсоне, Большого Билла, пламенного и язвительного Карло Тре́ска, мечтательную и твердую Элизабет Флинн. «Мне нравится, что их

всегда понимают рабочие, — писал он, — нравится их революционная мысль, смелость их мечты, нравится то, как воспламеняются необъятные толпы народа, воодушевленные их руководством. Это была подлинная драма, делавшая наглядной демократию в движении».

Теперь Рид свою поездку в Европу был готов считать дезертирством. В довершение всех бед он серьезно заболел.

Измученный физически и душевно, невзирая на уговоры Мэбел и друзей, Рид в сентябре, как только встал на ноги, поспешил вернуться в Америку.

В Нью-Йорке Джек узнал, что в журналистских кругах он уже считается полулегендарной фигурой — благодаря очерку в «Мэссиз». Но это открытие, ранее воспринятое бы с гордостью, совсем не обрадовало его.

В качестве одного из редакторов «Мэссиз» он окунулся с головой в пучину журналистских будней. Он по-прежнему много бродил по кварталам лачуг и трущоб. Результатом этих походов стал, должно быть, самый короткий рассказ Рида — «Еще один случай неблагодарности». Четыре странички машинописного текста явились горькой и злой сатирой на буржуазную филантропию.

И все же Рид не был еще душевно успокоен. Червь неудовлетворенности собой по-прежнему точил его.

Так продолжалось до тех пор, пока однажды ноябрьским вечером в его квартире не раздался телефонный звонок. Бесконечно знакомый, чуть хрипловатый голос Линкольна Стеффенса:

— Хэлло, Джек! Я предложил «Метрополитен» и «Уорлд» послать тебя их военным корреспондентом в Мексику. Поедешь?

Мудрый, добрый, лукавый Стеф! Он, как всегда, как никто другой, понял, что может исцелить его питомца.

Ехать в Мексику! Мятежную Мексику!..

«Джек встретил это предложение сдержанно, — вспоминал Карл Хови, — но не мог скрыть своего внутреннего волнения, пыла решимости, как бы просачивающихся через все поры.

Он был похож на жениха, которого ожидает совершенно новая, серьезная ответственность, хотя и радостная, многообещающая.

Он очень тщательно продумал детали своей экипировки. Наконец мы попрощались, и он, взяв револьвер, фотоаппарат и деньги, отправился в путь. Он был в приподнятом настроении, так как ему предстояло первое настоящее испытание»,

ВИВА ВИЛЬЯ!

В конце 1913 года Джон Рид перешел вброд Рио Гранде и оказался в унылом глинобитном городке Охинаге. Белые замусоренные улочки, купола старинных испанских церквей, квадратные домики с крышами, сорванными снарядами, нещадно палящее солнце. Под его лучами изнывали толпы измученных, оборванных, голодных людей — беженцев и солдат-федералистов, уцелевших после взятия Вильей Чиуауа.

Это Мексика…

Прибытию в эту многострадальную страну американского корреспондента предшествовали грозные и кровавые события.

Триста лет Мексику угнетали и грабили испанские колонизаторы. Потом ее разоряли внутренние войны, французские интервенты, североамериканские захватчики.

Почти сорок лет страна изнывала под гнетом диктатуры Диаса. Хитрый и беспощадный политикан генерал Порфирио Диас сумел с помощью неслыханного коварства и жестокости стать единовластным правителем Мексики, вершителем судеб миллионов бесправных, забитых пеонов.

Безудержное властолюбие и низкие страсти превратили его за долгие годы пребывания у кормила государства в бездушного, не признающего ничего святого самодержца. Некогда участник освободительной войны, боевой генерал, он стал проклятием своего народа.

Население ни одной страны мира, претендовавшей, считать

себя цивилизованной, не подвергалось такому угнетению, не жило в условиях столь вопиющего беззакония. Пеоны — мексиканские батраки — фактически влачили жалкую участь полурабов-полукрепостных. Богатейшие помещики, владельцы десятков тысяч гектаров земель, творили в своих имениях суд и расправу.

За малейшую провинность пеона ожидали плети, за неповиновение, бегство, бунт — смерть от пуль уралес — сельских жандармов.

С политическими деятелями, осмелившимися выступить против диктатора, расправлялись наемные убийцы Порфирио Диаса.

Но этот, казалось бы, полновластный правитель был всего лишь ставленником крупных помещиков и иностранных концессионеров — американских, английских, французских, немецких.

В 1910 году Мексика восстала, диктатура восьмидесятилетнего старца рухнула как карточный домик под ударами стихийно возникших во всех уголках страны крестьянских армий.

Революция в Мексике была революцией пеонов, требовавших земли и воли. Пока крестьяне воевали, к власти пришли буржуазные демократы. Их вождь, Франсиско Мадеро, по-своему любил народ, был преисполнен по отношению к нему самых благих намерений, но, в сущности, до самой своей трагической гибели от руки предателя не понимал его подлинных нужд и чаяний.

Трагедию Мадеро усугубляли его личные недостатки. Он был нерешителен, склонен к колебаниям, наивен. Поднятый на гребень революции, Мадеро так и не смог стать революционером. В глубине души он боялся пробудившегося народа.

Подлинными народными вождями революции, первыми полководцами ее армий стали неграмотные крестьяне Панчо Вилья и Эмилиано Сапата. Оба они уже много лет вели партизанскую войну с диктатурой Порфирио Диаса.

Под победные знамена Вильи и Сапаты со всей Мексики стекались тысячи бойцов. Крестьянские армии под их командованием десятки раз били федеральные войска генералов-порфиристов.

Режим Диаса пал, но в стране мало что изменилось. Земля по-прежнему оставалась в руках помещиков, кроме тех территорий, где прошли войска Вильи и Сапаты. Мадеро выступал с прекраснодушными речами, а старые министры, получившие свои портфели еще из рук дона Порфирио, остались

министрами и в новом правительстве. Генералы-порфиристы уже плели заговор против Мадеро, а «вождь революции» в угоду господствующим классам приказал распустить крестьянские армии. Вилью, доверчивого и наивного как ребенка, Мадеро отстранил от командования.

Сапата отказался разоружить своих бойцов. В штате Морелос, где стояла его армия, власть находилась б руках крестьян, действительно получивших плоды победы. И правительство Мадеро послало против непокорного пеона войска под командованием… генералов-порфиристов!

Весной 1912 года поднял восстание против Мадеро его бывший сторонник, разложившийся и подкупленный «революционный генерал» Паскуаль Ороско. Это произошло в штате Чиуауа, где на положении частного лица жил опальный Панчо Вилья.

И Мадеро вновь — в который раз! — обратился за помощью к партизану. Простив обиды, Вилья взялся за оружие. Его отряд президент подчинил генералу Уэрте, злобному, коварному интригану, бывшему любимцу Диаса.

Вилья одерживает над мятежниками одну победу за другой. Уэрта в благодарность приказывает расстрелять его якобы… за присвоение помещичьего коня.

Мадеро помиловал Вилью, но заключил его в тюрьму для «расследования дела».

Друзья организуют побег. Вилья поселяется в американском пограничном городке Эль-Пасо.

А вскоре — 22 февраля 1913 года — Мадеро был убит по приказу того самого генерала Уэрты, которому он вручил в свое время судьбу Вильи. За спиной убийцы стоял американский посол в Мексике Генри Лейн Вильсон. По злой иронии истории преступление свершилось в ночь после торжественного банкета в посольстве Соединенных Штатов по случаю дня рождения Джорджа Вашингтона, отца американской революции…

Узнав о гибели Мадеро, Вилья заплакал. Невзирая ни на что, он до конца оставался верен маленькому человеку с бородкой клинышком и наивными голубыми глазами.

Через неделю глубокой ночью четыре всадника переплыли пограничную реку Рио Браво и устремились в бескрайные просторы штата Чиуауа.

У Вильи и его друзей не было денег на покупку лошадей. Целую неделю его соратники брали лошадей напрокат в местной конюшне и каждый раз за это аккуратно платили. Когда они попросили однажды дать им восемь лошадей, ничего не подозревавший служащий безотказно выполнил их просьбу.

Кроме смены лошадей, у всадников на всех было еще два фунта сахара и фунт соли.

Через полгода Вилья уже во главе четырехтысячной армии взял Хуарес. Первым его делом было — послать хозяину конюшни деньги в сумме, равной двойной стоимости позаимствованных у него лошадей.

…Когда Вилья с авангардом своих войск ворвался в Охинагу и сбросил остатки гарнизона федералистов в Рио Гранде, Рида в городке уже не было.

Вместе со случайным попутчиком, бродячим торговцем Антонио Свайдета он трясся в двуколке к Лас Ниевесу, где жил один из старейших сподвижников Вильи — генерал Томас Урбина.

За весь первый день пути они не встретили ни души. На ночь путники остановились в маленьком ранчо. Их ввели в довольно большую комнату с земляным полом. Сквозь балки потолка просвечивала глинобитная крыша.

Рида и Антонио пригласили к ужину — ломтики сушеного мяса, сдобренного огненным перцем, яичница, кукурузные лепешки, бобы, черный кофе.

Завязался разговор.

Рида, наслышанного о религиозности мексиканцев, поразило, что многие крестьяне, собравшиеся в дом «на огонек», ненавидели священников.

— У попов нет ни стыда, ни совести, — кричал один из них, — раз они при нашей бедности берут десятую часть всего, что мы имеем! Да еще четверть забирает правительство. Попы жиреют на нашем горбу.

— А зачем вы даете? — спросил Джон.

— Таков закон, — вздохнул собеседник.

Когда Рид сказал, что закон о десятине отменен еще в 1857 году, ему никто не поверил.

Потом Рид разговорился с истощенным, оборванным стариком.

— Революция — это хорошо, — сказал старик. — Когда она победит, мы с божьей помощью больше никогда, никогда, никогда не будем голодать. Но это будет не скоро, а сейчас нам нечего есть, нечего надеть. Нам нечем обрабатывать землю, а солдаты забирают последний хлеб и угоняют скот… Если революции будет грозить опасность, тогда мы все встанем на ее защиту, с ножами и плетьми. Революция должна победить!

Рид долго не мог заснуть в эту ночь. Он знал свою слабость — некоторую склонность к сентиментальности. Но этот старик с его словами, суровыми и трогательными одновременно…

Он вспомнил, что писали о повстанцах американские газеты: «бандиты»… Но какие же это бандиты? Просто обездоленные, несчастные люди, не по злобе и кровожадности, но с отчаяния взявшиеся за оружие. Подумать только, свыше шестидесяти лет эти грабители — «святые отцы» — драли с них давным-давно отмененный по закону налог!

В Лас Ниевесе Рида ожидало разочарование: он встретил не того человека, какого создал в своем воображении.

Джек знал, что генерал Томас Урбина — бывший пеон, так и не обучившийся грамоте, что он один из самых давних и заслуженных боевых друзей Вильи еще по лихим партизанским налетам на богатые асиенды и отряды руралес. Рид рассчитывал увидеть романтического героя, наделенного всеми добродетелями народного вождя.

Краткий портрет Урбины, набросанный Ридом в нескольких строках, поразительно точно передал характер человека, чью крестьянскую душу навсегда отравили ожесточение, ненависть и честолюбие.

«У колодца посреди двора стояли и лежали мужчины. В центре этой группы в поломанном плетеном кресле сидел сам генерал и кормил лепешками ручного оленя и хромую черную овцу. Стоя на коленях перед ним, пеон вытряхивал на землю из полотняного мешка сотни маузеровских патронов.

На мои объяснения генерал ничего не сказал. Даже не привстав, он протянул мне вялую руку и сразу же отдернул ее. Это был широкоплечий мужчина среднего роста, с медно-красным лицом, по самые скулы заросшим жидкой черной бородой, которая не могла скрыть узкогубый невыразительный рот и вывернутые ноздри. В его блестящих маленьких глазках животного прятался смешок.

…Весь следующий час я фотографировал генерала Урбину: генерал Урбина стоит с саблей и без сабли; генерал Урбина на трех разных лошадях; генерал Урбина в кругу своей семьи и без семьи; трое детей генерала Урбины на лошадях и без лошадей; мать генерала Урбины и его любовница; вся семья, вооруженная саблями, револьверами, с граммофоном посредине, один из сыновей держит плакат, на котором чернилами выведено: «Генерал Томас Урбина».

Ничем не утолимая алчность, уродливое дитя потомственной нищеты, превратила бывшего пеона в ненасытного стяжателя. Революция стала для него кормушкой, средством легкого и быстрого обогащения. После осмотра Лас Ниевеса Рид занес в дневник. «Все здесь принадлежит генералу Урбине — дома, животные, люди и их бессмертные души. Только он чинит здесь

суд и расправу».

Будущее подтвердило журналистскую прозорливость Рида. Через два года в трудную минуту Урбина бросил Вилью и сбежал, прихватив всю бригадную наличность. Когда Урбину поймали, Вилья приказал расстрелять на месте своего былого сподвижника и кума…

Поскольку генерал ничего не имел против присутствия американского корреспондента, Рид решил сопровождать отряд дальше. Вскоре он уже перезнакомился со всеми офицерами, если можно так было назвать людей, которых только их личная храбрость выделила из массы пеонов-повстанцев.

Один из офицеров с круглым добрым лицом, то и дело расплывавшимся в широкой улыбке, долго приглядывался к Риду. Наконец застенчиво промолвил:

— Впервые встречаю гринго[6], сочувствующего революции.

Это был капитан Лонхинос Терека, который в двадцать один год слыл самым храбрым офицером в армии. Лонхинос Терека стал другом Рида.

Личный эскадрон генерала Урбины составляли человек сто отчаянных смельчаков, живописно одетых в невыразимо обтрепанные лохмотья. Зато у одного из них было огромное сомбреро, украшенное пятью фунтами золотого галуна. Другой звенел невероятных размеров серебряными шпорами с бирюзовыми инкрустациями. Третий был облачен в… старомодный фрак, разрезанный сзади до пояса, чтобы удобнее было сидеть в седле.

Грудь каждого крест-накрест перепоясывали пулеметные ленты. Непременной принадлежностью формы были яркие, пестрые сарапе — домотканые прямоугольные плащи с отверстием для головы посередине.

Днем всадники скакали, не жалея коней, на ночь останавливались в первой попавшейся деревне.

Прошел всего месяц, как Рид прибыл в Мексику, но ему казалось, что он здесь уже вечность, что люди, населяющие эту землю, так же близки и дороги ему, как и прядильщики Патерсона. Ночью при тусклом свете очага он торопливо набрасывал в дневник

«Трудно себе даже представить, как близко к природе живут пеоны… Даже их хижины построены из той же обожженной солнцем глины, на которой они стоят, их пища — кукуруза, которую они выращивают; их питье — вода, которую зачерпывают из пересыхающей реки и тащат домой на головах усталые женщины; их одежда соткана из шерсти, сандалии вырезаны из шкуры только что зарезанного быка. Животные — самые близкие

их друзья. Свет и тьма — их день и ночь. Когда мужчина и женщина влюбляются, они бросаются друг другу в объятия без всяких предварительных формальностей; надоев друг другу, они расходятся».

В пути с американцем порой случались происшествия, иногда веселые, иногда — не очень.

Однажды кавалерист, никогда в жизни не слышавший слова «репортер», мрачно предложил расстрелять его как «проклятого гринго» и порфириста. Другой, однако, не согласился с этим и протянул Риду бутылку кукурузной водки, предложив осушить ее до дна. Вокруг столпился весь эскадрон, с любопытством взирая на необычную сцену. Понимая, что на карту поставлен весь его престиж, Рид, не отрывая горлышка от губ, опорожнил бутылку.

Раздался взрыв аплодисментов и хохота. Предложение о расстреле немедленно отпало, по единодушному мнению кавалеристов, ни один порфирист не мог выпить залпом столько водки.

К своему удивлению, Рид, однако, вскоре убедился, что эти разудалые безграмотные сорвиголовы хорошо знают, за что воюют уже который год.

— Мы боремся за свободу, — сказал ему как-то метис Исидро Амайо.

— А что вы подразумеваете под словом «свобода»? — спросил Рид.

— Когда я смогу делать то, что хочу, — вот это и будет свобода.

— Но, быть может, это будет во вред другим людям?

Исидро ответил великолепным изречением Хуареса.

— Мир — это уважение к правам других.

Этого Рид не ожидал ведь в американской печати так много шумели, что мексиканцы не хотят мира!

Да, во время этой поездки он имел возможность убедиться. насколько лживо газеты США изображали мексиканцев. Как нечто само собой разумеющееся, их называли нечестным народом. Рид жил две недели среди самых отчаянных головорезов мексиканской армии, невежественных, недисциплинированных, Ненавидящих гринго и вдобавок уже полтора месяца не получающих жалованья. И за все время у совершенно чужого им американца — хорошо одетого, с деньгами и невооруженного — не пропало ни одной мелочи.

Когда отряд прибыл в Ла Кадену, Рид принял боевое крещение — в стычке с конным разъездом противника. Один уэртист был убит на месте, его винтовку торжественно подарили безоружному до того журналисту. Во время этого боя Рид сделал

важное для себя открытие: что он совсем не так уж боится смерти, как ему думалось раньше.

В тот же день Лонхинос Герека, уже называвший Джека своим «компадре» — «кумом», пригласил его на маленькое ранчо в пяти милях к северу, принадлежащее его родителям. Седовласый старик — его отец — был когда-то пеоном. За многие годы тяжелого труда он выбился в ранчеро, что случалось очень редко. У него было одиннадцать детей.

Знакомя гостя с родными, Лонхинос представил его так:

— Это мой любимый друг и брат Хуан Рид.

Все крепко обняли Рида и по мексиканской манере выражать чувства похлопали по спине. При прощании Рид получил трогательный подарок: кусочек голубой бумаги с посвящением: «Вам, с лучшими чувствами». И ниже — подписи всех членов семьи.

…А на другой день Лонхинос был убит в бою со значительно превосходящим их эскадрон отрядом вражеских конников. Раньше чем упасть бездыханным, он убил шестерых уэртистов, в последний раз подтвердив свою репутацию самого храброго офицера в армии.

Впервые в жизни Рид стал свидетелем гибели на войне человека близкого и дорогого. Сам он спасся чудом, два дня в полном одиночестве без еды и воды скитался по выжженной солнцем степи, пока, измученный и оборванный, не наткнулся у асиенды дель Пелайо на остатки своего разбитого, но не потерявшего боевого духа эскадрона.

Потом Рид направился в знаменитую Северную дивизию, которой командовал легендарный крестьянский генерал Франсиско Вилья.

Через неделю после своего знакомства с Вильей — накануне рождества 1913 года — в Чиуауа Рид стал его искренним и горячим приверженцем. Этого не ожидали от него ни редактор «Метрополитен», ни тем более издатели «Нью-Йорк уорлд», ни Мэбел Додж и обитатели ее салона.

Никто не ожидал этого от Джека Рида по одной простой причине — в Америке все считали Вилью обыкновенным бандитом. Так думал даже Линкольн Стеффенс, видимо введенный в заблуждение ложной информацией, распространяемой о Вилье и в Мексике и в Соединенных Штатах.

Действительно, полицейские власти пятнадцать лет считали пеона Доротео Аранго опаснейшим бандитом и преступником и столько же лет потратили на безуспешную охоту за ним.

Пятнадцать лет Доротео Аранго совершал дерзкие налеты на

богатые асиенды, убивал помещиков, угонял их скот и забирал имущество. Его отряд из тридцати-сорока пеонов скрывался в горах на северо-запад от города Чиуауа.

Местная полиция и руралес трепетали от одного его имени. И было от чего — с ними Аранго расправлялся без пощады. О смелости и неуловимости Аранго, принявшего в память о своем погибшем товарище имя Франсиско Вилья, ходили легенды — и не без основания.

Действительно, Франсиско (или сокращенно Панчо) Вилья разорял и убивал, но только богатеев и их прислужников. За пятнадцать лет «грабежей» он не присвоил и сотню песо — все захваченное раздавал пеонам. Во время голода он кормил население целых районов. Да, Вилья был жесток. Но разве можно было упрекнуть в жестокости человека, расстреливавшего руралес за то, что они срезали у пеонов, сбежавших от помещиков, кожу с ног и гоняли по пустыне, пока те не умирали?

И разве случайно пеоны считали Вилью чуть ли не святым, видели в нем и надежду и спасение? И разве не Вилья командовал партизанскими отрядами, которые разгромили войска диктатора и проложили Мадеро путь к президентскому дворцу в Мехико?

И Джон Рид, преступив через общепринятое на его родине мнение, сумел увидеть в Панчо Вилье того человека, каким он был в действительности — народного героя и народного вождя.

Таким предстает перед нами Вилья со страниц, написанных Джоном Ридом для «Метрополитен», а позднее включенных им в книгу «Восставшая Мексика».

В Чиуауа Рид присутствовал на торжественной церемонии вручения Вилье золотой медали за героизм. Медаль не была официальным знаком отличия — ее учредили сами революционные солдаты. И Рид не забыл отметить в своей корреспонденции это немаловажное обстоятельство.

Вручение происходило в раззолоченном приемном зале губернаторского дворца. В центре зала высилось позолоченное губернаторское кресло, похожее на трон. Вдоль стен выстроились щеголеватые артиллерийские офицеры в нарядных мундирах с блестящими шпагами.

Во внутреннем дворе, забитом шумной тысячной толпой, четыре военных оркестра без устали играли бравурные марши.

И вдруг…

«— Вот он идет! Да здравствует Вилья! Да здравствует Мадеро! Вилья — друг бедняков!

Рев возник где-то в задних рядах толпы, прокатился, как лесной пожар, нарастая мощным крещендо, и казалось, это он взметывает в воздух тысячи шляп. Оркестр во дворе заиграл

национальный гимн Мексики, и на улице показался Вилья. Он шел пешком.

Одет он был в старый простой мундир цвета хаки, на котором не хватало нескольких пуговиц. Он давно не брился, шляпы на нем не было, и нечесаные волосы стояли копной. Он шел косолапой походкой, сутулясь, засунув руки в карманы брюк. Очутившись в узком проходе между двумя рядами застывших солдат, он, казалось, немного смутился и, широко ухмыляясь, то и дело кивал какому-нибудь компадре, стоявшему в рядах… Когда Вилья вошел в приемный зал… огромная толпа… обнажила головы, а блестящее собрание офицеров в зале вытянулось в струнку.

Это было нечто наполеоновское! Вилья минуту колебался, покручивая ус, и вид у него был очень растерянный, затем направился к трону, покачал его за подлокотник, чтобы проверить, прочно ли он стоит, и сел».

Один за другим выступали ораторы с длинными высокопарными речами. «Все это время Вилья сидел сгорбившись на троне… маленькие хитрые глазки внимательно оглядывали зал. Раза два он зевнул, но по большей части он, казалось, размышлял, к чему и зачем все это, и испытывал от этого огромное удовольствие, словно маленький мальчик в церкви. Он, конечно, знал, что так принято, и, быть может, сознавая себя виновником всех этих церемоний, испытывал некоторое тщеславие. Тем не менее они нагоняли на него скуку».

Наконец Вилье поднесли коробку с наградой. «Вилья протянул вперед обе руки, словно ребенок, тянущийся за новой игрушкой. Казалось, он хотел как можно скорее открыть коробку и посмотреть, что в ней. Выжидательная тишина воцарилась в зале, передавшись даже толпе на площадь. Вилья посмотрел на медаль, почесал затылок и, нарушив благоговейную тишину, сказал громко:

— Уж больно она мала, чтобы ею награждать за весь тот героизм, о котором вы столько тут наговорили!

И мыльный пузырь империи лопнул от громовых раскатов хохота.

Все ожидали, что Вилья произнесет подобающую в таких случаях благодарственную речь…

Сморщившись, как всегда, когда он напряженно думал, он наклонился над столом, стоявшим перед ним, и сказал настолько тихим голосом, что его с трудом можно было расслышать:

— У меня нет слов. Одно могу сказать: мое сердце навсегда ваше».

В своей книге Рид уделил так много места Вилье, посвятил ему так много теплых слов не только потому, что был восхищен его личностью. Он знал, что имя Вильи стало во всем мире, особенно в Америке, олицетворением мексиканской революции. Разоблачая клеветнические измышления о партизанском генерале, он тем самым восстанавливал правду о всем мексиканском народе. Рид был не единственным иностранным журналистом в Мексике, но он стал первым и остался единственным, искренне и честно поведавшим миру, что происходит в этой стране.

Вилья знал, что многочисленные журналисты, бравшие у него интервью, как правило, писали о нем самую невероятную ложь, и относился к этой публике с вполне обоснованной подозрительностью. Джеку стоило большого труда расположить к себе генерала и заручиться его доверием.

Более того, произошло уже совершенно непостижимое даже для людей, давно знавших Панчо, — он по-настоящему тепло привязался к «гринго-репортеру».

Рид любил наблюдать за генералом, когда тот занимался государственными делами. Он с удовольствием обнаружил, что «наивность» Панчо на деле подчас оказывалась природным здравомыслием, которое профессиональные политиканы в большинстве случаев утрачивают едва ли не в раннем детстве.

Рид лично присутствовал при том, как Вилья разрешил финансовую проблему в штате Чиуауа.

Крестьяне перестали привозить провизию, так как горожанам нечем было платить за нее. Денег в городе не было, потому что обладатели серебра и государственных банкнотов припрятали их в кубышки.

Вилья сказал просто:

— Если все дело в деньгах — значит, их нужно напечатать.

Через несколько дней были готовы два миллиона песо, абсолютно ничем не гарантированных, кроме подписи Вильи. Вилья роздал эти деньги солдатам и городской бедноте. Одновременно он установил твердые цены на хлеб, мясо, молоко.

Крестьяне стали привозить еду, голод прекратился. Но богатеи продолжали припрятывать серебро и банкноты, отказались обменять их на деньги Вильи. А серебро нужно было генералу как воздух, чтобы закупить за границей оружие и боеприпасы.

Рассвирепевший Вилья приказал деньги, не обмененные до 10 февраля, считать фальшивыми, их владельцев сажать в тюрьму. Тогда богатеи взвыли и волей-неволей сдали банкноты и серебро в казначейство.

Рида поразило, что совершенно необразованный крестьянин, лишь к сорока годам овладевший грамотой и за всю жизнь прочитавший лишь «Трех мушкетеров», невесть как попавших в его руки, пылал величайшей страстью к просвещению.

Джек часто слышал, как Панчо говорил:

— Сегодня я проходил по такой-то улице и видел там много детей. Давайте откроем там школу.

Подписчики нью-йоркского «Уорлд» были, должно быть, немало удивлены, когда из очерка своего специального корреспондента вместо леденящих сердце кровавых подробностей о «бандите Вилье» узнали о том, что он открыл в Чиуауа больше пятидесяти школ.

Солдаты Вильи обслуживали в городе электрическую и телефонную станции, водопровод, почту, мельницу, резали скот на бойнях, продавали населению мясо в казенных лавках. Им под страхом смерти — и это была не простая угроза! — запрещалось воровать и покупать спиртные напитки.

— Панчо, — спросил как-то Рид, — зачем ты заставляешь своих солдат заниматься гражданскими делами?

— В дни мира, — просто ответил Вилья, — солдаты должны работать. Когда солдату нечего делать, он думает о войне.

Рид знал, что Вилья во всех политических вопросах доверяет Каррансе, после смерти Мадеро объявившему себя «первым вождем революции». Его занимал вопрос: неужели Панчо не хочет сам стать президентом?

Вилья ответил прямолинейно и кратко:

— Я солдат, а не государственный деятель. Я недостаточно образован, чтобы быть президентом. Плохо придется Мексике, если во главе ее станет необразованный человек.

От имени своей газеты Риду пришлось задать этот вопрос еще несколько раз. В конце концов Вилья по-настоящему рассердился.

— Слушай, курносый, сколько раз я должен тебе повторять, что никогда не буду президентом? Следующего корреспондента, который спросит меня об этом, я прикажу отшлепать вот по этому месту и выслать из Мексики…

А Рид… Он искренне жалел, что Вилья действительно необразованный человек и не хочет стать президентом. Особенно после знакомства с программой Каррансы — «Гваделупским планом». «Вождь революции», как называл себя дон Венустиано, тщательно обходил вопрос о разделе земель.

Вилья же на территории обоих штатов, освобожденных его войсками, — Чиуауа и Дуранго, немедленно наделил пеонов землей — по шестьдесят два акра на душу.

Рид понимал, что преданность Вильи Каррансе, его доверие к

«вождю» могут окончиться трагедией. В этой связи он очень заинтересовался Эмилиано Сапатой, который отказался признать власть Каррансы, так же как в свое время он не признал и Мадеро. Более того, Сапата составил — и это было его существенным преимуществом перед Вильей — свою собственную программу. Это был единственный документ революции, в котором черным по белому было открыто объявлено, чего хотят пеоны, — земли!

Уже из-за одного этого факта Рид, как ни любил он Вилью, вынужден был предупредить редакцию «Метрополитен» в письме, адресованному Карлу Хови.

«…Самым замечательным человеком в этой революции является Сапата, не забывайте об этом… Он радикал, логично мыслящий и идеально последовательный. Чтобы вы убедились в этом, я пришлю вам завтра копию Айяльской программы — это программа Сапаты. Если говорить о будущем Мексики, то, по-моему, с Сапатой нельзя не считаться, но никто не верит в это и ничего не знает о нем. История его жизни, те обрывочные сведения, которые я сумел собрать, так же чудесны, как «Тысяча и одна ночь». По-моему, мы не получим правильного представления о том, что тут происходит, если не будем знать все о Сапате».

Биографы Рида не раз задавались вопросом, почему в своей немаленькой книге о Мексике он ничего не рассказывает о Сапате. Ответ следует искать в журналистской добросовестности Рида: только потому, что он не знал Сапату лично и имел о нем, как это явствует из письма к Хови, лишь «отрывочными сведения».

Об этом можно только пожалеть…

Рид много пережил в Мексике, видел много крови, страданий, несправедливости. Но ничто не произвело на него столь тягостного впечатления, как встречи с соотечественниками.

В Хименесе на площади он разговорился с пятью невероятно оборванными американцами, только что по приказу Вильи уволенными из армии. Лишь одному из них было лет тридцать. Остальным — от шестнадцати до двадцати. Юноши обрадовались земляку и на чем свет стоит принялись наперебой крыть «проклятых мексикашек».

Одного из них на родине обвиняли в нескольких убийствах, второй бежал из исправительной колонии в Висконсине.

— А что вы, ребята, делаете здесь? — спросил Джек.

— Мы солдаты наживы, — хором ответили собеседники.

Риду не о чем было говорить с ними — «расчетливыми, холодными людьми, лишними в этой стране страстей,

презиравшими то дело, за которое сражались, издевавшимися над веселым характером неукротимых мексиканцев».

С Маком Рид познакомился в Чиуауа. Это был, что называется, американец до мозга костей — огромный детина, больше шести футов роста, полный сил и задора молодости.

— Мексиканцы — грязные свиньи без гордости, их женщины — потаскухи, — с этих слов он начал делиться с Ридом своими впечатлениями от Мексики, когда они сидели за столиком в китайском ресторанчике Чи Ли.

— Наша женщина — идеал чистоты, и мы должны сохранить ее такой. Хотел бы я услышать хоть одно дурное слово об американской женщине.

После третьего коктейля Мак начал рассказывать о своем прошлом. Самым ярким его воспоминанием была охота на негров.

— Я сидел в своем домике и писал письмо сестре. Ночь была душная. И вдруг я услышал, как лают собаки-ищейки. Не знаю, приходилось ли вам слышать лай ищеек, когда они в темноте гонятся за человеком. Волосы дыбом встают. Потом кто-то перескочил изгородь под самым моим окном. Вы знаете, как дышит лошадь, когда ей на шею накинут аркан? Вот так и он дышал.

Я выскочил из дому. Меня окликнули: «Куда он побежал?» Их было человек двенадцать. Я показал и сам побежал вместе с ними. Я так и не узнал, в чем провинился черномазый. Да и они вряд ли знали. Нам было все равно.

Мак облизал губы и отхлебнул из стакана.

— Конечно, — закончил он, — когда мы подбежали к черномазому, собаки успели его растерзать на куски.

— А письмо к сестре вы кончили? — спросил Рид.

— Само собой! — кратко ответил Мак. — Я бы не хотел навсегда поселиться в Мексике, — сказал он на прощанье. — Люди здесь какие-то бессердечные. А я люблю людей открытых, добрых, как американцы.

Рассказ «Мак-американец», написанный Ридом в ту же ночь, входит во все сборники его произведений. В комментариях он не нуждается.

Джеку приходилось беседовать и с крупными дельцами.

Встречи эти уже не приносили ему ничего нового. С болью в душе он писал Карлу Хови:

«…Американцы в Мексике — это главный бич для страны. Один бизнесмен в Чиуауа сказал мне, что, если я напишу что-либо против интервенции, он пристукнет меня».

Весь февраль и начало марта Северная дивизия Франсиско

Вильи готовилась к походу на Торреон, где сосредоточились главные силы Уэрты под командованием опытного генерала Веласко.

Рид все эти дни много работал и много разъезжал по городкам Чиуауа и Дуранго. Как-никак прежде всего он был корреспондентом, обязанным регулярно присылать в Америку репортажи и очерки.

Он описывал толпы живописных вооруженных солдат, темных личностей зловещего вида — тайных агентов федералистов, — беженцев, хозяина лавки, с огромным револьвером в руках охранявшего по ночам своих трех красавиц дочек от пылких поклонников, описывал исполнителей народных баллад с непременными гитарами, местные ресторанчики, деревенские танцы с потасовками и перестрелкой, свадьбы, похороны и бог весть что еще.

Когда у Рида заводились лишние песо, он заглядывал в Эль-Космополита, модный игорный притон, где можно было узнать все новости и — дополнительно к ним — множество слухов. В главном зале Эль-Космополита висел огромный плакат: «Пожалуйста, не взбирайтесь с ногами на стол рулетки».

Наконец наступил долгожданный день наступления — Северная дивизия погрузилась вместе с лошадьми в эшелоны и двинулась по бесконечной песчаной пустыне на юг, к Торреону. В одном из товарных вагонов примостился Джон Рид.

Через сутки, передвигаясь с обычной для него быстротой, Вилья уже был в Пермо, в то время как Уэрта полагал, что он еще в Чиуауа. При тусклом мерцании коптилки Джек заносил в свой путевой дневник:

«Настала ночь, тучи затянули небо, поднявшийся ветер начинал кружить пыль… Песчаная буря надежно заслоняла нас от глаз федеральных дозорных».

— Даже бог, — заметил Риду майор Лейва, — даже сам господь бог на стороне Франсиско Вильи!

На рассвете загремели трубы. Рид выглянул из вагона и увидел, что пустыня на многие мили кишит солдатами, седлающими коней. Над землей клубился пар. На крышах вагонов дымились сотни небольших костров — это солдатские жены готовили своим мужьям завтрак, сушили белье, болтали, переругивались. Повсюду вертелись полуголые ребятишки.

Все радовались предстоящему сражению.

Рид отправился в гости к Вилье — ему нужна была лошадь. Генерал жил в маленьком красном вагончике с ситцевыми занавесками. Перегородка делила его на две половины — «кухню» и «спальню», в которой обычно происходили военные совещания:

генералы, с трудом вмещающиеся в крохотной комнатушке, решали, что нужно делать, а затем Вилья отдавал приказы, какие считал нужным.

— Что тебе, дружище? — спросил Джека Вилья, сидевший на краю полки в одном белье.

— Мне нужна лошадь, мой генерал, — объяснил Рид причину своего визита.

— Черт возьми, нашему другу понадобилась лошадь! — саркастически улыбнулся Вилья.

Окружающие расхохотались.

— Вы, корреспонденты, — продолжал Вилья, — того гляди потребуете автомобиль! Известно ли тебе, что у меня в армии тысяча солдат не имеет коней? Зачем тебе лошадь, когда есть поезда?

— Затем, чтобы ехать с авангардом…

— Нет, — улыбнулся Вилья, потягивая кофе прямо из старого жестяного кофейника, — слишком много пуль летает в авангарде.

Рид недолго досадовал: захватив в теплушке свое одеяло, он прошел добрую милю вдоль составов и забрался в закрытую стальной броней платформу ремонтного поезда. Здесь находилось знаменитое орудие повстанцев «Эль Ниньо». Поезд — несколько вагонов и паровоз сзади — медленно пополз вперед. Рид перебрался на мерно покачивающуюся крышу вагона и стал болтать с капитаном Диасом, командиром орудия.

На переднем краю платформы лежали на животах два солдата — они тщательно следили, нет ли где на рельсах проволоки от мин.

— Здесь в окрестностях так и шныряют разъезды уэртистов, — сказал напитан. — Если они захватят или выведут из строя наш поезд, вся армия останется без воды, продовольствия и боеприпасов.

Через час подъехали к месту, где путь был разрушен. Четыреста рабочих с необыкновенной энергией принялись за восстановление поврежденного участка, к ним присоединился и Рид. Стук молотков, забивающих костыли, лязг рельсов, крики десятков людей слились в сплошной гул.

Вокруг рабочих плотной стеной стояли солдаты охраны с винтовками наготове.

Сигнал трубы — и вмиг все заняли свои места по вагонам. Поезд снова медленно тронулся вперед, навстречу другим разрушенным участкам пути и сожженным мостам.

К вечеру из Маниими приполз по узкоколейке паровозик с несколькими вагончиками. Из вагончиков доносилось треньканье десятков гитар.

Рид было прошел мимо, как вдруг его остановил радостный возглас:

— Хуанито! Смотрите, это наш Хуанито!

Через минуту со всех сторон Рида трясли, дергали, обнимали, хлопали по спине и плечам десятки хохочущих мексиканцев — его старых друзей из эскадрона Урбины.

— Здравствуй, Хуанито! Как ты поживаешь?

— А где твой фотоаппарат, приятель?

— Он его потерял, когда удирал из Ла Кадены!

— Как я ни удирал, но вы опередили меня на целую милю, — под общий хохот возразил уязвленный Рид.

Но в общем он был чертовски рад снова встретить этих замечательных ребят. Более того, он был счастлив, что и они рады видеть его целым и невредимым, что они явно признали его своим — компанеро.

Потом они долго сидели вокруг костра и под дружный звон нескольких гитар распевали во все горло «Кукарачу», грозную и насмешливую песню повстанцев:

Панчо Вилья — друг народа,
Понимает бедных он.
Только тот поймет пеона,
У кого отец — пеон.
Все, что взяли у народа,
Возвращал народу он.
Только тот поймет пеона,
У кого отец — пеон.
У Кукарачи,
У Таракана[7]
Сразу вся исчезла прыть:
До крошки вышла
Марихуана —
И больше нечего курить!

Через несколько дней эшелоны тронулись дальше, и Рид занял свое место возле «Эль Ниньо». На этот раз женщин в армии уже не было, не слышалось ни песен, ни смеха, ни криков. Повстанцев как будто подменили: они шли навстречу серьезным боям и уже слышали его дальние отзвуки.

«Вскоре мы подошли к месту боя. На востоке, над обширной равниной, забрезжил рассвет. Величественные деревья аламо, стройными рядами поднимавшиеся по бокам каналов, уходивших на запад, огласились многоголосым птичьим пением. Становилось теплее, пахло землей, травой и молодой кукурузой

— запахи тихой летней зари. И от этого грохот сражения казался порождением безумия. Истерический треск ружейного огня, который как будто сопровождался непрерывным приглушенным воплем, хотя, когда вы вслушиваетесь, это впечатление исчезало. Отрывистая смертоносная чечетка пулеметов, словно где-то долбит клювом огромный дятел. Гром орудий, подобный ударам тысячепудовых колоколов, и свист снарядов: «Бум!», «Пи-и-и-и-и-ю!..» И самый страшный из всех звуков войны — свист рвущейся шрапнели: «Трах! — ви-и-ий-я!»

Потом Рид увидел первых раненых — искалеченных, смертельно усталых людей в грязных, пропитанных кровью повязках.

Таково было лицо войны — без прикрас, без экзотики серебряных шпор и развевающихся плащей.

Война — это страдания, понял Рид и никогда до конца своих дней не изменял этому убеждению…

Потом Рид стал свидетелем отчаянной атаки уэртистов, когда ряды повстанцев дрогнули, отступили, побежали, пока дорогу беглецам не перерезали три всадника. В одном из них Рид узнал Вилью. И солдаты остановились. Рид потом так описал этот решающий момент боя: «У всех на лицах было написано облегчение, словно они страшились неведомой опасности и вдруг страх исчез. В этом и заключалась сила Вильи: он всегда так умел все объяснить массе простых людей, что они сразу его понимали».

Вилья остановил солдат, и они вернулись назад. Военное счастье все-таки сопутствовало в этот день повстанцам. Уэртисты не сумели воспользоваться благоприятным моментом и упустили инициативу из своих рук.

Наступила передышка, так необходимая солдатам Вильи, которые накануне провели двенадцать часов в седле, потом сражались всю ночь и последующее утро под палящими лучами солнца, которые несколько раз ходили в атаку под артиллерийским и пулеметным огнем и в тому же не ели более суток.

Рида окликнул знакомый офицер — канадец капитан Трестон, командир пулеметной батареи. Это был один из немногих иностранцев на службе у Вильи.

— Не поможете ли вы мне объясниться с моими солдатами? Переводчики куда-то удрали. Если начнется наступление, я здорово влипну.

Рид охотно согласился.

К нему подошел оборванный солдат, которого он никогда раньше не видел, и, улыбаясь, сказал:

— Судя по всему, вы давно не курили. Хотите половину моей

сигареты?

Рид, конечно, с благодарностью отказался, но солдат, не слушая, уже вытащил из кармана помятую сигарету, перервал ее пополам и протянул половинку.

Рид осторожно взял в руки сигарету — он действительно уже не курил несколько часов — и поспешил отвернуться, чтобы не выдать охвативших его чувств… Ему казалось, что он весь растворяется в любви к этим простым, добрым людям.

Рид спустился к каналу, чтобы напиться. Когда он вернулся, Трестон протянул ему грязную, мокрую бумажку.

— Не можете ли вы перевести, что тут написано? Один из солдат только что выловил ее в канале.

Джек взял расползающийся под пальцами клочок, рассеянно взглянул — в глазах у него потемнело. Это была этикетка, видимо отклеившаяся от пакета. Большими черными буквами на ней было написано по-латыни: «Мышьяк! Осторожно — яд!»

— Капитан, — вскрикнул Джек, — у вас никто не заболел сегодня?

— Интересно, что вы об этом спросили. У многих солдат действительно начались сильные колики в животе, да и у меня тоже. А перед вашим приходом издохли лошадь и мул.

— Вода в канале отравлена уэртистами! — прервал Рид капитана. К горлу уже подступила тошнота. — Тащите сюда кварту крепкого кофе!

Они выпили кофе, и обоим стало легче.

К счастью, канал был неглубоким, а течение в нем — быстрое. Это ослабило действие яда, но все же до самого рассвета Джек корчился под одеялом от ужасных болей.

Через день армия снова двинулась в путь, и вскоре Джон Рид уже потерял счет всем стычкам с федералистами, в которых он участвовал.

Однажды в поле он встретил Вилью. Генерал придержал коня и приветливо спросил:

— Как дела? У меня нет времени беспокоиться о вас, поэтому вы сами будьте осторожны, избегайте опасности. Раненых и так слишком много.

Видимо, Вилья уже хорошо изучил характер своего нового друга, коль сделал ему такое внушение.

23 марта головной поезд подошел к Гомесу Паласиосу — последнему серьезному препятствию перед Торреоном.

Когда стемнело, Джек сел на Буцефала — теперь у него уже был свой конь! — и отправился на передовую.

Семь раз подряд повстанцы ходили в атаку — и каждый раз откатывались, сметенные ураганным огнем, оставляя горы

мертвецов. Сражение длилось непрерывно четыре дня.

У Вильи не было ни сил, ни снарядов, ни припасов для длительной осады. А Гомес нужно было взять во что бы то ни стало.

Развязка наступила неожиданно. В ночь, когда по приказу Вильи должна была начаться решающая атака, федералисты ушли из города без боя…

Вилья ликовал, а вместе с ним и вся армия. Путь на Торреон был открыт.

А через две недели ожесточенного сражения пала и эта последняя опора Уэрты в северной Мексике.

Но к этому времени Рида уже не было в армии Вильи: он уехал в Чиуауа. После взятия Торреона повстанцы могли начать поход на Мехико лишь через несколько месяцев, и Рид решил, что за это время он успеет съездить в Нью-Йорк, чтобы спокойно довершить начатые очерки и рассказы.

Кроме блокнотов и пакета с ворохом всяческих пропусков, он увозил с собой приказ о присвоении Хуану Риду звания бригадного генерала — «En vista de muy importantes eervicios prestados a la Causa»[8].

Перед отъездом в Нью-Йорк Рид долго сидел в знаменитом вагончике Панчо.

Генерал был в своем неизменном старом мундире, у которого не хватало нескольких пуговиц. Глаза его были воспалены от долгого недосыпания. Хриплый, сорванный голос звучал необычно мягко. Вилья делился с другом своей самой страстной мечтой. Быть может, мы так бы и не узнали этой мечты Панчо Вильи, если бы его собеседник не поведал ее людям.

— Когда Мексика станет новой республикой, армия будет распущена. Ведь всякая тирания держится на армии. Не так ли, дружище Хуан? Ни один диктатор не может существовать без армии. Мы дадим солдатам работу. По всей республике мы учредим военные колонии из ветеранов революции. Государство даст им землю. Кроме того, создаст много фабрик, чтобы им было где работать. Три дня в неделю они будут работать, и работать изо всех сил, потому что честный труд важнее всякой войны и только труд делает человека хорошим гражданином. Остальные три дня они будут учиться военному искусству сами и учить народ владеть оружием. Если родина окажется под угрозой вторжения неприятеля, достаточно будет позвонить из столицы по телефону — и весь народ бросит поля и заводы и встанет на защиту своих очагов и детей. Я мечтаю, дружище Хуан, дожить свою жизнь в одной из таких колоний, среди своих товарищей, которых я люблю и которые претерпели вместе со мной столько

лишений и страданий. И знаешь — будет совсем хорошо, если будущее правительство откроет в нашей колонии кожевенный завод, где мы могли бы изготовлять хорошие седла и уздечки, потому что я знаком с этим делом. А остальное время мне хотелось бы разводить скот. Хорошо помотать Мексике стать счастливой страной…

…Через десять лет после той ночи, когда Джон Рид записал эти сокровенные слова, Панчо Вилья был убит предателем.

В ЛАДЛОУ И БЕЛОМ ДОМЕ

На американском берегу — в Эль Пасо — Рида встретила Мэбел Додж, очаровательная, благоухающая парижскими духами, как никогда женственная. Счастливая от сознания того, что рискованная и затянувшаяся авантюра, в которую ввязался ее Джек, наконец-то окончилась благополучно.

Когда минули первые бессвязно-радостные переживания встречи после долгих месяцев разлуки, Рид, даже не поинтересовавшись нью-йоркскими новостями, стал рассказывать подруге о Вилье, о храбрости его солдат, о кознях Каррансы, подлости Уэрты, снова о повстанцах… Возбужденно размахивая руками, он ходил из угла в угол убогого номера дешевого отеля и говорил, говорил, говорил без умолку…

— Я обязательно напишу большой очерк о Панчо. Ты не представляешь, что это за человек! За всю свою историю Мексика не знала более великого полководца. В нем есть нечто наполеоновское. Я буду писать с его же слов — он ничего не утаивал от меня. Это будет не только необычайно волнующий рассказ, но и замечательный человеческий документ… Он вызовет сенсацию во всем мире.

Мэбел слушала жадно, не пропуская ни одного слова, восхищалась, ужасалась — и не понимала. Впервые за несколько лет их связи. В Джеке было что-то новое, незнакомое, пугающее. Она угадывала, что это он приобрел там, за рекой, но что именно — не могла уловить.

Он был по-прежнему экспансивен и горяч, но в его голосе

звучали нотки твердости и уверенности, каких она раньше не замечала. И они не имели ничего общего с той юношеской самоуверенностью, которая была так свойственна раньше Джеку Риду — талантливому, подающему надежды поэту. «Как нежно говорит он об этих людях!» — подумала она ревниво.

Джек изменился даже внешне — его лицо, казалось, утратило юношескую мягкость, черты стали жестче, определеннее. К тому же было не похоже, чтобы он регулярно брился хоть бы раз в день. И откуда у него взялась эта ужасная манера подтягивать на ходу брюки? Мэбел не знала, что у мужчины, который месяцами носит на ремне два тяжелых кольта 45-го калибра и несколько дюжин патронов к ним, появляется привычка время от времени подтягивать пояс…

С горечью и тоской Мэбел призналась втайне, что этот новый Джек, сам еще того не зная, безвозвратно ускользает из ее бархатных, твердых рук.

В Нью-Йорке Рид узнал, что стал знаменитым и — более того — едва ли не самым высокооплачиваемым журналистом в Америке. Его статьи и корреспонденции в «Метрополитен», «Уорлд», «Мэссиз» принесли ему славу.

Некий полковник заявил громогласно, что Рид лучший военный корреспондент, какого ему когда-либо приходилось читать. Уж он-то, полковник, знает.

Газеты дружно объявили Рида «американским Киплингом». Сам же Редьярд Киплинг признал: «Благодаря Риду я увидел Мексику».

Еще шесть месяцев назад такие признания вскружили бы Риду голову. Но с тех пор он повзрослел — как раз на шесть месяцев — и очень важных для себя.

Еще совсем недавно, написав очерк о Патерсоне, Рид счел себя свободным от ответственности и смог уехать в Италию.

Теперь же он осознал, что никогда не простит себе того мгновения, когда на мексиканскую землю ступит нога американского солдата-интервента. И Рид поклялся сделать все от него зависящее, чтобы не допустить этого.

Рид открыто обвинил в печати американские нефтяные тресты в том, что они разжигают кровопролитную войну в Мексике, и потребовал привлечь их к ответственности. Более того, он во всеуслышание заявил об ответственности правительства Соединенных Штатов за горе и страдания мексиканского народа.

«США хотят навязать Мексике свои так называемые великие демократические установления: правление трестов, безработицу и наемное рабство, — писал Рид. — Правительство США постоянно

подчеркивает, что оно является противником конфискации земельной собственности, но для разрешения земельного вопроса в Мексике нет иного пути, кроме такой конфискации. Оно желает развратить народ Мексики и сделать из мексиканцев маленькие коричневые копии американских бизнесменов и американских рабочих, как оно уже сделало это с народами Кубы и Филиппин».

Мотивы пристального внимания Соединенных Штатов к мексиканской революции не были секретом для Рида, как, впрочем, и для многих других.

К 1910 году — последнему году владычества Порфирио Диаса — вложения американского капитала в Мексике достигли фантастической цифры — 1058 миллионов долларов, намного превысив вложения самих мексиканцев.

Рид резонно полагал, что владельцы столь огромных ценностей едва ли смирятся с угрозой их потери.

Каждый день в газетах, близких к крупным трестам и правительству, он читал воинственные статьи с требованием «навести порядок в Мексике».

Он догадывался, какие последствия могут крыться за этой фразой, и в беседе с друзьями как-то сказал с горечью:

— Переход первого американского солдата через Рио Гранде будет означать гибель мексиканской революции.

Потом добавил:

— Если это все же произойдет, я вернусь в Мексику и вступлю в армию революционеров…

Опасность интервенции усиливалась еще и тем обстоятельством, что Уэрта, который пришел к власти при поддержке американского посла, все ближе и ближе сходился с английскими нефтепромышленниками.

Узнав о двойной игре Уэрты, хладнокровный, славящийся своей выдержкой Вудро Вильсон, новый президент США, вышел из себя и недвусмысленно пригрозил:

— Я научу южноамериканские республики выбирать приличных людей! Если генерал Уэрта в связи со сложившейся обстановкой не сочтет необходимым уйти в отставку, то Соединенные Штаты будут вынуждены устранить его, прибегнув к менее миролюбивым средствам.

Рид не сомневался, что, заменяя с помощью «менее миролюбивых средств» одного диктатора другим, более послушным, Соединенные Штаты в первую очередь расправятся с восставшим народом.

Армия США была готова в любой момент перейти границу. 21 апреля, придравшись к пустяковому инциденту в Тампико, который можно было в несколько дней уладить обычным

дипломатическим путем, американские морские пехотинцы оккупировали Веракрус.

И Рид спешил… Он надеялся, что его книга словами правды о революции сможет хоть чем-то помочь в предотвращении кровопролития.

Рид поселился в маленьком домике на берегу океана вблизи Провинстауна и лихорадочно, не различая дня от ночи, писал. Несмолкаемый мягкий шум прибоя помогал ему сосредоточиться. Мэбел иногда подходила к его двери, чтобы увести хоть на час куда-нибудь развлечься, но каждый раз в нерешительности замирала на пороге, остановленная непрерывным треском пишущей машинки Джека.

Он творил так же просто и естественно, как стреляли в федералистов бойцы Панчо Вильи. И меньше всего думал, что с каждой исписанной страницей из талантливого, подающего надежды молодого поэта и журналиста превращается в зрелого, серьезного писателя. Джек написал книгу залпом, в сроки столь фантастически короткие, что изумил даже видавших виды нью-йоркских полицейских хроникеров.

3 июля Рид поставил последнюю точку. Название пришло само собой — «Восставшая Мексика». Короткое и предельно точное. В тот же день он отослал рукопись в издательство. Он не мог ждать, пока книга «отлежится»: тучи над Мексикой сгущались с каждым днем.

И все же Рид надеялся, что справедливость восторжествует, что Соединенные Штаты не рискнут покрыть себя позором интервенции. Одним из истоков, питавших эту иллюзорную надежду Рида, была его наивная вера в честность и личное благородство президента Вильсона. Эта вера в либерализм принстонского профессора, ставшего хозяином в Белом доме, была тогда широко распространена в американском народе, и Рид всего лишь разделял ее.

По прошествии двух-трех лет Джек смеялся над собой, вспоминая свой утопический план… лично отговорить президента от вторжения в Мексику.

В середине июня Рид поделился уже сложившимся в деталях планом — взять интервью у президента и высказать ему, воспользовавшись удобным случаем, свои соображения — с Линкольном Стеффенсом. Стеф отнесся к этому великолепному плану более чем саркастически. Он попросту высмеял всю затею, как мальчишеское сумасбродство, которое не приведет ни к чему хорошему.

Но Рид уже не слушал никаких резонов, Стеффенсу оставалось только пожать плечами и вручить своему молодому

другу рекомендательное письмо к Вильяму Дженнингсу Брайану, государственному секретарю Соединенных Штатов.

Рекомендации Стеффенса действовали магически: не прошло и недели, как Джек держал в руках официальное уведомление о том, что президент США готов принять специального корреспондента журнала «Метрополитен» Джона Рида согласно просьбе последнего. Еще через несколько дней Джек прибыл в изнывающий от июньского зноя Вашингтон и, облаченный в респектабельную, подобающую торжественному случаю визитку, отправился в Белый дом.

В приемной президента Рида встретил бесшумный, вышколенный секретарь и, не заставив ждать ни минуты, распахнул следующую дверь… Посредине большой круглой комнаты, залитой солнцем, Джек увидел сухощавого немолодого мужчину в белоснежном фланелевом костюме — Вудро Вильсона. Президент шагнул навстречу гостю, приветливо поздоровался, жестом гостеприимного хозяина пригласил в кресло.

— Рад познакомиться с вами, мистер Рид Я читал ваши интереснейшие очерки и, признаться, не думал, что вы еще так молоды.

Голос звучал спокойно и мягко. «Ничего общего с необузданным и шумным Теодором Рузвельтом».

Не дожидаясь вопросов интервьюера, президент первым заговорил о Мексике. Слова лились непринужденно и легко. В интонациях его голоса чувствовалась профессорская уверенность и умение говорить с любой аудиторией.

— Политика правительства Соединенных Штатов по отношению к Мексике — это традиционная политика еще первых дней республики… Политика дружбы с угнетенными и оппозиции всякой тирании… Мы не признаем режим Уэрты не потому, что он зиждется на убийстве Мадеро, но прежде всего потому, что его правительство не является правительством народа.

Вильсон на мгновение умолк — холодные умные глаза его смотрели сквозь стекла пенсне выжидающе…

Рид невольно согласно кивнул головой…

Удовлетворенный пониманием со стороны молодого собеседника, президент продолжал.

— Я никогда не был сторонником вмешательства в дела Мексики. Более того, я всегда противился такому вмешательству. Занятие Веракруса вовсе не означает интервенции, но мы должны были защитить наш престиж от провокаций. Наше единственное оружие — это непризнание правительства Уэрты… Мы даже не вмешаемся, если конституционалисты конфискуют громадные поместья, чтобы обеспечить землей пеонов. Единственно, что я

предпочел бы, — чтобы землевладельцы получили соответствующую компенсацию. Я всегда, — в голосе президента зазвучали торжественные ноты, — буду в меру своих сил и возможностей выступать против угнетения мексиканского народа, от кого бы оно ни исходило, — мексиканских тиранов или иностранцев.

Рид слушал как зачарованный… Мерная, убедительная, дружелюбная речь президента словно обволакивала его мозг, размягчала волю. Как хорошо и правильно говорил этот человек! Нужно только ему разъяснить кое-что. Отечески улыбнувшись, Вильсон весь обратился в слух и внимание.

Рид говорил торопливо, стараясь не упустить ничего важного и от этого еще больше волнуясь:

— Господин президент, я был в Мексике четыре месяца и хорошо узнал ее народ, его страдания и горести… Восемьдесят пять процентов всех семей в этой несчастной стране, занятых в сельском хозяйстве, не имеют своей земли… В то же время в ней есть помещики, владеющие миллионами, целыми миллионами акров! Пеоны находятся в отчаянном положении, поймите это, господин президент! Они пойдут за любым человеком — за Мадеро, Вильей, Сапатой, кто только пообещает им землю, и будут сражаться до конца!

Вы не должны допустить интервенции… Война принесет лишь слезы и несчастье! Можно быть уверенным, что американские солдаты не встретят никакого серьезного сопротивления со стороны мексиканской армии. Ведь это все пеоны с их женами, ведущие борьбу на улицах возле дверей своих домов…

Президент несколько раз сочувственно кивнул.

Рид продолжал с жаром. Голос его возбужденно звенел под высокими сводами:

— А что изменится, когда американские солдаты покинут страну? Ничего! Большие поместья, безусловно, будут восстановлены, засилье иностранного капитала возрастет, как никогда, ибо мы его поддерживаем. И когда-нибудь в будущем мексиканская революция вспыхнет снова.

Произнеся одним духом всю эту тираду, Рид сел. Президент с обезоруживающей мягкостью улыбнулся, пододвинул коробку сигар.

— Мой молодой друг, меня глубоко тронули ваши слова и ваша искренняя озабоченность за судьбу соседнего народа. Я разделяю ваши высокие чувства.

…Аудиенция окончилась. Рид уходил из Белого дома окрыленный надеждой и с верой в президента.

Утром в номере отеля он уже со спокойной головой и свежим глазом просмотрел запись беседы с Вильсоном.

И понял — разом исчезли все иллюзии. Лишенные покрова обаяния и остроумия, утратившие чарующие интонации голоса президента, на бумаге остались лишь несколько ни к чему не обязывающих фраз…

Как ни был Джон Рид захвачен защитой интересов мексиканской революции, она не могла отвлечь целиком его внимания от событий, происходящих в Соединенных Штатах.

Между тем в разгар весны 1914 года не где-нибудь за границей, а на самой американской земле, в штате Колорадо, обильно пролилась кровь. Это была рабочая кровь.

Здесь, в городе Ладлоу, произошел взрыв возмущения, гораздо более значительный, чем тот, что за год до этого Джон Рид наблюдал в Патерсоне. Это был район горняков, нещадно эксплуатируемых всесильной кликой мультимиллионера Рокфеллера. Когда шахтеры забастовали, охрана шахт совместно с милицией штата сожгла палатки забастовщиков. Те, кто спасся от огня, попали под свинцовый ветер.

Чудовищное преступление в Ладлоу потрясло всю страну. И Рид не мог остаться в стороне.

Он приехал в Тринидад, в Колорадо, 30 апреля, примерно через десять дней после массовых убийств в Ладлоу. Был ясный, солнечный день. Работали магазины и кинотеатры. Ходили трамваи…

В глаза бросалось только отсутствие женщин и детей: после всего случившегося они еще долго не выходили из подвалов.

По улицам расхаживали бастующие горняки — рослые, сильные люди с мужественными лицами.

Потом Рид увидел трех солдат милиции. Они шли прямо по мостовой, не оглядываясь по сторонам, «шли как сквозь строй между двух рядом толпившихся на тротуаре людей, в глазах которых горела ненависть».

На стене одного из домов Рид прочитал: «Если благочестивый лицемер раздает в трущобах Нью-Йорка милостыню во имя Христа, а в Колорадо расстреливают горняков, то где же здесь духовный прогресс? Если в Нью-Йорке он ратует за освобождение белых рабов, а в другом месте создает благоприятные условия для торговли ими, получит ли он воздаяние на том свете?»

Он спросил, кто написал эти слова, и получил ответ: один доктор, никакого отношения к союзу горняков не имеющий.

Рид приехал в Колорадо, когда кульминационный момент трагедии уже остался позади. Ему пришлось восстанавливать ход событий, как следователю, как историку. И он воссоздал историю

войны в Колорадо, подвергнув анализу сотни документов, рассказов очевидцев и участников, свидетельских показаний. Очерк, созданный Ридом после поездки в Колорадо, стал гневным и доказательным обвинением клике Рокфеллера и всему капиталистическому строю.

Рид не был беспристрастным летописцем, но с самого начала стал на сторону забитых, обездоленных людей, впавших в такую отчаянную нищету, что они и сами не знали, что им предпринять. Он отметил, что в стачке не было ничего особенно революционного, что забастовщики не были ни социалистами, ни анархистами. Они не собирались ни захватывать шахты, ни уничтожать систему наемного труда. Им просто стало невтерпеж жить так, как они жили.

С фактами в руках Рид неопровержимо разоблачает преступления шахтовладельцев, вскрывает закулисные связи между ними, шерифами, государственными чиновниками и самим губернатором. Под его пером постепенно вырисовывалась ужасающая картина…

«Несмотря на закон о восьмичасовом рабочем дне, никто не работал менее десяти часов. А когда горняки подняли забастовку, генеральный адъютант Шерман Белл, командовавший милицией, приостановил действие права habeas corpus[9], заявив при этом: «К черту конституцию!»

Да и о какой конституции могла идти речь, когда и богом и царем в Колорадо был Джон Рокфеллер!

Рид приводит цифры впервые в своей журналистской практике. Шахтеры Колорадо получают заработную плату меньшую, чем в других местах. Они вынуждены оплачивать из своего кармана не только визиты врача, но и стоимость взрывчатки. Число убитых в шахтах Колорадо за последние годы относилось к числу убитых во всех остальных шахтах, вместе взятых, как 3½:1.

Все прокуроры, шерифы, мэры даже попечители школьных советов состояли на службе у «Колорадо фьюэл энд айрон компани».

Рабочие поначалу были настроены мирно и обратились к предпринимателям с просьбой обсудить их весьма скромные пожелания. Хозяева в ответ стали готовиться к открытой войне. Они пустили в ход мощную, отлаженную годами беспощадную машину борьбы с забастовками.

Глубокой осенью, когда шел дождь со снегом, в дома шахтеров стали врываться охранники. Всех, кто отказывался идти на работу, вышвыривали с убогим скарбом под открытое небо. Таких набралось 11 тысяч человек!

Охранники схватили и продержали два месяца в тюрьме старейшую активистку рабочего движения в Америке восьмидесятичетырехлетнюю Матушку Джонс. Ее имя знал каждый трудящийся в стране.

Изгнанные из своих домов стачечники поселились в палаточных городках — зимой! Охранники и нанятые предпринимателями банды уголовников едва ли не каждый день совершали налеты на эти колонии: убивали, избивали, насиловали.

Тогда — и только тогда! — стачечники стали вооружаться, если можно назвать вооружением несколько десятков старых охотничьих ружей, которые им удалось раздобыть.

Тогда в Ладлоу ввели войска. И 19 апреля без предупреждения прямо по палаткам застрочили пулеметы.

«Это было беспощадное и заранее обдуманное истребление колонистов, — писал Джон Рид. — Милиционеры рассказывали мне, что им было приказано разрушить палаточную колонию и уничтожить в ней все живое.

…Ураганный пулеметный огонь разорвал на куски покрытия палаток, и это вызвало ужасную панику. Часть женщин и детей устремилась на равнину, подальше от палаточной колонии. Их расстреливали на бегу…

…Сражавшиеся мужчины, напуганные всем происходившим, бросились к колонии, но град пуль заставил их повернуть назад. Теперь в дело вмешались охранники. Они стреляли разрывными пулями… Пулеметы не замолкали».

Порой Рида самого охватывало сомнение: неужели эти ужасающие преступления, о которых ему выпала горькая доля писать, правда? Неужели это все произошло в самом свободном и демократическом государстве мира?

Да, все случилось именно так, как он писал…

«…Когда стемнело, милиция окружила палаточную колонию тесным кольцом… Один из солдат, держа в руках ведро с керосином и кисть, подбежал к ближайшей палатке, смочил ее обильно керосином и поднес спичку. Пламя взметнулось, освещая все вокруг. Остальные солдаты бросились к другим палаткам, и в минуту весь северо-западный участок колонии был охвачен пламенем.

…И при мерцающем свете горящих палаток милиция принялась вновь и вновь обстреливать беглецов».

Потом солдаты ворвались в колонию. Озверев от вида крови, охваченные жаждой разрушения, они убивали всех, кто попадал под руку. Не жалели ни женщин, ни детей. Позднее только из одного погреба миссис Петруччи было извлечено 11

обуглившихся детских трупов.

Волна ужаса и гнева прокатилась по всем Соединенным Штатам. Пламя, зажженное в Ладлоу, охватило всю страну. В порыве возмущения даже далекие от стачки честные граждане открыто собирали деньги на покупку оружия для забастовщиков. Одна очень почтенная маленькая старушка, жена священника, сказала Риду:

— Я не понимаю, зачем стачечники вообще заключили перемирие, не перестреляв предварительно всю охрану на шахтах и милицию и не взорвав динамитом шахты…

Для Рида было ясно, что не только капиталисты виновны в зверской расправе, но и их платные агенты — правительственные чиновники, обязанные обеспечивать соблюдение законности и гражданских свобод. И он не преминул довести об этом до всенародного сведения:

«…Созванная губернатором чрезвычайная сессия Законодательного собрания штата, которая должна была заняться решением этой проблемы, прервала свои заседания, не предприняв ни малейших шагов к решению вопроса. Аппарат угольных компаний в палате представителей и в сенате пресек все попытки предложить какое-либо средство с целью исправить положение Зато он провел под сильным давлением билль о выпуске акций на 1000000 долларов, для того чтобы заплатить милиции и охране шахт за их «блестящую работу» по расстрелу рабочих и сожжению заживо их жен и детей…»

Публично и громогласно Джон Рид назвал имя главного виновника колорадской трагедии: мультимиллионера Джона Д. Рокфеллера-младшего.

Очерк Джона Рида под названием «Война в Колорадо» увидел свет в «Метрополитен». Еще до его опубликования Джон несколько раз выступал на различных митингах и собраниях в защиту забастовщиков в различных городах страны. Когда Элтон Синклер приехал в Нью-Йорк с Бермудских островов, они оба приняли участие в пикетировании конторы Рокфеллера на Бродвее, 26. Синклера арестовали, а Рида впервые в жизни облили клеветой в какой-то грязной бульварной газетенке[10].

Открытая заинтересованность Рида в событиях в Ладлоу имела еще один результат, неожиданный для него, но глубоко закономерный. Он заметил, что многие его былые друзья и приятели по Гарвардскому университету, литературным кружкам, некоторым редакциям заметно изменили свое отношение к нему. Временами Джону казалось, что он попал в какую-то незримую полосу отчуждения, словно тяжело больной человек.

Это отчуждение не проявлялось, упаси боже, в каких-либо

определенных поступках или прямых словах. Но Джон готов был поклясться, что оно действительный факт, с которым нужно считаться.

Произошло вполне естественное явление: люди, которых он знал годами, чьи мнения и вкусы он считал своими, люди, которые до сих пор составляли его окружение, один за другим называли его — пока, правда, не вслух — отступником. И были правы.

До тех пор, пока интерес к рабочему движению был для Джона Рида, выходца из хорошей фамилии, воспитанника Гарварда, лишь увлечением, ему прощали и радикализм и «юношеские выходки», какой считали спектакль о Патерсоне.

Но теперь, по мнению старых друзей, его радикализм стал слишком опасен. Раньше, чем сам Рид, они поняли, что между ними уже почти не осталось чего-либо общего.

Многие старые приятели Джона — среди них Уолтер Липпманн — тоже пережили пору либеральных, а некоторые даже и социалистических увлечений. С их точки зрения — а кое-кто из них искренне желал Джону добра — ему уже было пора остепениться.

Риду было только двадцать шесть лет. Многие, и не лишенные способностей, газетчики в этом возрасте еще пробавлялись хроникальными заметками в сто строк на последних полосах, а он уже зарабатывал свыше двадцати тысяч долларов в год, его разрывали на части самые крупные и влиятельные издания.

Все эти люди не могли понять причин, которые властно влекли Джона Рида к «Великому неумытому», как они называли народ. Но сам факт был подмечен правильно: Джон Рид действительно шел к окончательному разрыву со своим классом.

«ЭТО НЕ НАША ВОЙНА!»

28 июля 1914 года в Соединенных Штатах произошло множество событий большей или меньшей значимости. Лопнул банк в Техасе. Покончил самоубийством видный промышленник. Джесс Виллард нокаутировал очередного претендента на титул чемпиона мира. Шестнадцатилетняя дочь почтальона из Огайо взяла первый приз на конкурсе красоты. Томас Альва Эдисон сделал новое изобретение. У восьмидесятилетней вдовы-миллионерши в Чикаго умерла любимая болонка по кличке Китти. Там же ограбили броневик с золотыми слитками (четверо убитых). Одна кинозвезда вышла замуж в третий раз, другая развелась с третьим мужем.

Обо всем этом миллионы американцев на следующий день прочитали в утренних газетах. Кроме того, они узнали, что в Европе началась война. Лишь очень немногие поняли сразу, что это война — мировая. О том же, к каким последствиям она приведет, не догадывались даже те, кто ее затеял. Возможно, снизойди на них провидение, окажись у них в руках магический кристалл, в котором бы их ослепленные жаждой наживы глаза различили контуры грядущих революций, то самые рьяные поджигатели пятилетней мировой бойни превратились бы в кротких овечек.

Но этого не произошло. Война стала фактом. За пылкими речами патриотов никто не расслышал стонов первых раненых, бодрый треск барабанов и ликующее пение труб еще перекрывали отдаленный гул тяжелых орудий, сквозь аромат ладана

торжественных молебнов о победе еще не просачивался смрадный трупный запах с полей сражений.

На чью сторону встанет Америка в европейском конфликте? И нужно ли ей в него ввязываться вообще? Судьбы миллионов людей зависели от сложной сети международных интриг, бесконечных колонок цифр в толстых банковских книгах, от сухого пощелкивания телеграфных аппаратов фондовых бирж, тоненьких папок с протоколами секретных переговоров в сейфах промышленных воротил и финансовых магнатов.

Первые недели после 28 июля Америка спорила. Каждая воюющая держава нашла и своих сторонников и непримиримых врагов. Американцы вдруг вспомнили, что их отцы или деды родились на берегах Темзы и Рейна, Волги и Дуная, Тибра и Сены, и в соответствии с этим отдавали свои симпатии. Но все, однако, сходились в одном: война минует Соединенные Штаты стороной.

Едва лишь пробежав взглядом шапки над первыми телеграммами с театров военных действий, Джон Рид уже знал, что поедет в Европу. Не сговариваясь с ним, к тому же выводу пришла и редакция «Метрополитен».

Когда вопрос был решен окончательно и все необходимые формальности выполнены, Джек впервые за два года поехал в Портленд чтобы навестить мать. Слухи о его блистательных успехах уже достигли родного города, и земляки оказали ему поистине триумфальную встречу. В честь «нашего дорогого гражданина» устраивали торжественные обеды, на которых школьницы в белых платьицах подносили ему, краснея, букеты цветов. Его интервьюировали репортеры местной газеты. С ним уважительно советовались «отцы города». Его приезд внес форменный переполох в лучшие семьи города, где были дочки на выданье.

Рид только ухмылялся. Вся эта шумиха его позабавила, Но была в ней и неприятная сторона: у него почти не оставалось времени для матери. Когда Джек смотрел на ее осунувшееся лицо, на горестные морщины в уголках глаз, которых он раньше не замечал, он невольно чувствовал себя виноватым перед ней.

В Портленде Джек познакомился с симпатичной супружеской четой — молодым художником Карлом Уолтерсом и его женой Элен.

Оба они были талантливы, обладали хорошим юмором и обаянием. За несколько встреч все трое стали друзьями, тем более что во взглядах на мир у них было много общего. Этому знакомству, перешедшему в дружбу, суждено было сыграть большую роль в жизни Рида.

Незаметно подошли к концу считанные дни пребывания Джека на родине. Наконец, простившись с родными, он занял свое место в вагоне нью-йоркского экспресса «Лукулл».

Вечером 15 августа Джек с двумя близкими друзьями, Фредом Бойдом и Эдом Хантом, ужинал в ресторанчике на крыше отеля «Астория». Утром всем им предстояло отплыть в Европу, но разными путями: Рид отправлялся в Италию, Хант — в Голландию, Бойд — в Англию, где, по его уверениям, через несколько месяцев должна была начаться революция.

Друзья в последний раз любовались непередаваемой картиной сверкающего тысячью разноцветных огней ночного Нью-Йорка и молчали. Потом они чокнулись бокалами с шампанским и пожелали друг другу доброго пути.

Сизое нью-йоркское утро застало Рида уже на борту парохода. Матросы заканчивали приготовления к отчаливанию, стюарды разводили по каютам последних запаздывающих пассажиров, у сходней хмуро взирал на толпу провожающих дюжий полисмен.

Сквозь несмолкаемый гомон самого шумного порта мира прорывались слова прощания на всех языках, разделивших людей после вавилонского столпотворения.

Потом над гаванью повис хриплый протяжный гудок, и пароход лениво, чуть вздрагивая, словно живое существо, отвалил от стенки причала.

Сначала слились с горизонтом низкие портовые постройки, потом исчезли из виду дома повыше, наконец, растаяли вдали ставшие игрушечными громады небоскребов и грустная в своем вечном одиночестве статуя Свободы.

За кормой гусиной стаей разбегались волны…

Еще год назад Рид писал матери, что он в такой же степени социалист, как и сторонник епископата. События последних двенадцати месяцев совершили в его мировоззрении решающий сдвиг. Он стал социалистом, и не только по эмоциональному влечению к справедливости и своим симпатиям, но и по сознательным, твердым убеждениям.

Воспитанный в лучших демократических традициях американского народа, Рид естественно и закономерно, хотя и не просто, подошел к пониманию исторической роли рабочего класса. Юношеский радикализм Джека не выродился, как у многих его однокашников, в либеральное фрондерство с последующим благополучным превращением в заурядное самодовольство преуспевающих буржуа.

Решающим импульсом в окончательном приходе Рида к социализму стали Патерсон, мексиканская революция и Ладлоу.

Рид окунулся в гущу классовой борьбы, не догадываясь о ее законах, не зная марксизма, но непрерывно приближаясь к нему.

Разделяя социалистические взгляды, Рид, однако, оставался в стороне от Социалистической партии. Этот кажущийся парадокс имел под собой некоторое основание.

Прежде всего Рид не видел необходимости вступать в партию, искренне полагая, что он может принести пользу социалистическому движению, не входя в какую-либо политическую организацию. Джек опасался также, что, вступив в партию, ему придется поступиться в какой-то степени своей журналистской свободой.

Но было и более важное обстоятельство. Социалисты, с которыми пришлось встретиться Риду, меньше всего походили на героев и мучеников высокой идеи. Да они и в самом деле не являлись таковыми. Это были вполне рассудительные люди каутскианско-бернштейнианского толка в американской, разумеется, интерпретации. Рид лично знал партийных боссов Виктора Бергера и Мориса Хилквита, уважал их эрудицию и красноречие, но никогда не согласился бы признать их своими духовными наставниками и вождями.

Симпатии Рида лежали на стороне «Индустриальных рабочих мира», а не Социалистической партии. Он считал уоббли, а не социалистов, настоящими революционерами. Их неукротимый боевой дух, бунтарство полностью отвечали его собственному характеру и темпераменту. Это были настоящие ребята, всегда готовые ввязаться в драку, не в пример некоторым паркетным ораторам.

Уоббли пели. Это была единственная организация в рабочем движении США, которая имела на вооружении песни. У них был даже свой собственный поэт — Джо Хилл. Его знаменитую «Аллилуйя, я — бродяга!» распевали все уоббли в Америке и Канаде. В сердце Рида-поэта эти песни вошли без спроса, как в свой дом.

Наконец, было еще одно обстоятельство, почему душа Рида не лежала к Социалистической партии. Он не мог простить ей, что два года назад она исключила из своих списков самого мужественного и любимого героя рабочих — Большого Билла — Вильяма Хейвуда.

Рид был еще неважным теоретиком, он не видел слабых мест в программе уоббли, их ошибок и заблуждений. Но одно, во всяком случае, он знал твердо: Большой Билл и его друзья — преданные своему классу бойцы, а не болтуны.

В своей журналистской практике Рид всегда и честно придерживался правила: ни о чем не иметь предвзятого мнения.

Он никогда не писал ни строчки раньше, чем не видел события собственными глазами.

Так было всегда, но не теперь. Он еще не слышал ни одного выстрела, но уже имел твердое мнение об этой войне. Ненавидел ее всеми фибрами души. Не из абстрактного человеколюбия или христианской кротости — из-за своих социалистических убеждений.

Уже на пароходе по пути в Неаполь Рид знал, что его перо не будет воспевать бойню, развязанную ради наживы. Он был одним из немногих людей в Америке, сразу понявших, что война эта нужна только торговцам смертью по обе линии фронта. Свидетельство тому — знаменитая статья Рида, начатая им еще на борту парохода и ставшая его журналистским кредо. Она начинается так:

«Австро-сербский конфликт — совершенный пустяк, как если бы Хобскен объявил войну Кони-Айленду[11]. Тем не менее в него оказалась втянутой вся Европа».

И Рид сразу срывает с войны ее помпезно-барабанные аксессуары, не оставляя даже жалкого фигового листка:

«Подлинная война, в которой этот неожиданно начавшийся разгул смерти и разрушения является лишь эпизодом, разгорелась давным-давно. Она свирепствовала уже десятилетия, но об ее битвах так мало говорили, что они проходили незамеченными. Это была война торговцев».

Рид пишет о подлинных причинах военного столкновения — безудержной погоне английских, немецких, французских капиталистов за прибылью, о столкновении интересов империалистических хищников, о военщине и милитаризме.

«Нет человека, который питал бы к милитаризму большую ненависть, чем я, — писал Рид. — Никто больше меня не желает, чтобы позор милитаризма исчез с лица земли. Величайшие вопросы сегодняшнего дня не могут быть решены ни парламентскими речами, ни большинством голосов, их можно разрешить только «кровью и железом» — «durch Blut und Eisen». Эти слова Бисмарка стали лозунгом реакции. Они были самым большим препятствием на пути демократического развития.

…Но хуже «самодержавия кайзера», хуже даже, чем звериные идеалы, которыми он похваляется, хуже всего этого плохо скрытое лицемерие его вооруженных противников, которые кричат о мире, в то время как мир этот не может быть сохранен из-за их же собственной алчности.

Еще отвратительнее глупой напыщенности кайзера голоса хора американских газет, которые делают вид, что верят — и хотели бы и нас заставить верить, — будто это борьба светлого

рыцаря (современной демократии) с гнусным чудовищем (средневековым милитаризмом).

Но для чего же тогда нужен демократии союз с царем? Может быть, Петербург, где действовал поп Гапон, или Одесса с ее погромами являются богами либерализма? Неужели наши издатели столь наивны, что верят этому? Нет, нынешний конфликт — это ссора между торговыми конкурентами. Одна сторона сохранила благовоспитанные формы современной дипломатии и говорит о «мире», рассчитывая в то же время главным образом на прославившийся своим миролюбием военный флот Великобритании, на армию Франции и на миллионы полурабов, которых они получают за взятку у царя всея Руси (и, конечно, на силу решений Гаагской конференции), чтобы двинуть их вперед против немцев. Другая сторона — это свирепость и отвратительное евангелие «крови и железа».

Заключительные строки статьи поражают силой, прозорливостью, убежденностью:

«Мы, социалисты, можем надеяться, можем даже быть уверены, что из ужаса кровопролития и страшных разрушений родятся далеко идущие социальные преобразования и будет сделан большой шаг вперед к нашей цели — к миру среди людей. Нас не должна обмануть газетная болтовня о том, что либерализм ведет священную войну против тирании.

Это не наша война».

Редакция «Метрополитен» ожидала от своего военного корреспондента в Европе живописных батальных очерков, бодрых корреспонденции с полей сражений, фанфарных репортажей о подвигах союзных солдат.

Упования эти оказались тщетными.,

Через два-три дня пребывания на борту Рид уже был знаком со всеми обитателями салона первого класса. Здесь подобралась пестрая и довольно странная компания.

Молодой итальянский маркиз, окончивший Сорбонну и работавший в лондонской газете, австрийский граф, несколько немецких баронов, офицеры всех воюющих держав, итальянский капиталист, который владел фабрикой в Патерсоне (он называл рабочих «скотами»), немецкий финансист, проживший двадцать лет в Париже. Два немца, один итальянец и француз с утра до вечера играли в бридж. Все они возвращались в свои воинские части.

Воспитанные, вежливые, образованные люди, пассажиры первого класса не допустили по отношению друг к другу за все время пути ни малейшего некорректного или бестактного поступка. Линия фронта, которая разделила в Европе их

государства, ощущалась всеми как некая условность в сравнении с непреодолимой пропастью между обитателями верхней палубы и безликой людской массой, набитой где-то глубоко внизу в зловонные трюмы.

Пустые, как золоченые орехи с прошлогодней елки, попутчики не возбуждали в Джеке даже сугубо профессионального любопытства. Большую часть путешествия он провел в каюте, уткнувшись в путеводители и карты Европы.

В середине второй недели плавания, когда Рид уже изнывал от скуки, на горизонте открылась яркая, словно переводная картинка, панорама Неаполя. Прославленный город серенад и теноров произвел на Рида самое безрадостное впечатление. Он оказался городом нищих и безработных: Италия переживала тяжелый экономический спад. Примерно то же самое Джек увидел и в Риме.

В столице Джек конфиденциально беседовал с английским послом. По мнению последнего, Италия через две-три недели должна была вступить в войну.

Терять столько времени зря Рид не захотел и решил поехать в Германию. Осуществить это намерение ему, однако, не удалось немцы арестовывали всех корреспондентов как английских шпионов. 2 сентября вместо Берлина Джек отправился в Женеву.

То, что Рид здесь увидел, никак не вязалось с его прежним представлением о респектабельной, деловитой Швейцарии. Цеппелины уже бомбили мирные города, уже полыхали французские и бельгийские деревни, уже текли реки крови, а Женева — родина Общества Красного Креста — сверкала, как Монте-Карло в разгар сезона. В отелях, ресторанах, казино Рид видел мужчин и женщин всех национальностей, безудержно прожигающих жизнь, словно накануне потопа. Немцы, французы, англичане, австрийцы вместе обедали, танцевали, фланировали по бульварам, до утра толпились у игорных столов, гоготали над низкосортными парижскими ревю. На каждом шагу попадались девицы, слетевшиеся в Женеву со всех панелей Европы.

Шел пир во время чумы…

Когда наблюдать это зрелище стало невмоготу, Рид взял билет на оказавшийся последним поезд в Париж. Женевские газеты в тот день сообщили, что немецкие войска уже в тридцати километрах от Парижа.

В Сернадоне поезд остановился возле воинского эшелона, украшенного зелеными ветвями и виноградными лозами Стены вагонов были разрисованы мелом — непристойные карикатуры на пруссаков и лихие подписи вроде «Поезд идет на Берлин!», или «Обрежем кайзеру усы!»

Рид так описал свою первую встречу с солдатами воюющей страны «Это была сама молодость Франции, ее молодая кровь, юноши призыва 1914 года. Они отправлялись на военные пункты для прохождения специальной подготовки, которая отштампует все их мысли и чувства и превратит их в маленькие частички послушной машины, годные лишь на то, чтобы их бросили против обработанной таким же способом молодежи Германии».

Потом Рид увидел женщин — солдатских матерей, сестер, возлюбленных. Они не пели и даже не пытались бодриться. Женщины плакали. Женщинам предстояло ждать тягостные дня и бесконечные тоскливые ночи. Горечь уже наступившей разлуки и предстоящих тревог была прозорливее беззаботного веселья мужской молодости, еще не брошенной в мясорубку войны.

Рид навсегда запомнил этих француженок.

«Когда стемнело, начался дождь, но они все стояли под открытым небом, и стояли уже много часов — молчаливые, серые, в сгущающихся сумерках, чтобы в последний раз взглянуть на своих мальчиков, едущих неизвестно ради чего воевать с немцами по велению высшего разума, олицетворенного в правительстве».

В Бельфуре навстречу попался другой эшелон — с фронта. Когда Рид подошел к первому вагону, в нос ему ударил запах йодоформа. Он заговорил было с каким-то солдатом с перевязанной окровавленным бинтом головой о войне, но тот только махнул рукой.

— Мне, парень, на все это уже наплевать. Я еду в свою деревню. Буду есть яйца и попивать вино. А проклятая война может провалиться в преисподнюю, ко всем чертям!

Паровоз дал свисток, и поезд тронулся. В конце его были прицеплены две открытые платформы, устланные грязной соломой. Рид в полумраке разглядел ряды лежащих на спине тяжелораненых.

Рид приехал в Париж чудесным сентябрьским утром, воздух был чист и прозрачен. Город был так же прекрасен, как и три года назад, когда Джек увидел его впервые. Но это был другой Париж — пустой, безлюдный, словно вымерший. На улицах не звенели трамваи, не громыхали омнибусы, не тарахтели грузовики. На Больших бульварах, всегда заполненных шумной, говорливой толпой, не видно было ни души.

Город был похож на тяжело больного человека.

Даже мальчишки-газетчики не верещали пронзительно, как бывало раньше, а молча совали газеты в руки редким прохожим.

Рид купил последнее военное коммюнике. Из него следовало, что «стратегическое отступление войск союзников продолжается с большим успехом…»

Это была война торговцев. Пока миллионы французских юношей отчаянно сражались за «милую, прекрасную Францию», торговцы бежали из города при первой же опасности. Но даже в паническом бегстве они не изменили себе остались торговцами. Рид видел насквозь их подлые души, когда писал

«Великолепные роскошные особняки-дворцы богачей были предоставлены в распоряжение Красного Креста. Этот на вид патриотический акт на деле был рассчитан на то, что флаг Красного Креста спасет здания от разрушения немцами. К ставням заколоченных магазинов прикреплялись записки «Владелец и все приказчики ушли в армию. Да здравствует Франция!» И тем не менее, когда после битвы на Марне население стало возвращаться в город, те же самые магазины открывались и владельцы со своими приказчиками без малейшего зазрения совести возвращались на прежнее место. Когда опасность миновала, некоторые особняки и дворцы были отобраны у Красного Креста».

Лишь однажды Рид встретил в Париже по-настоящему процветающее предприятие — магазин, где за шесть часов изготовляли полный комплект траурного платья.

Только в кварталах, заселенных простым людом, Рид узнавал Францию — свою старую добрую знакомую, никогда не вешающую носа, всегда бодрую и чуть-чуть легкомысленную. Однажды он попал на уличное представление Гиньоля. Это обошлось ему всего в два су.

Джек стоял за восторженной, очарованной толпой ребятишек и вместе с ними от души хохотал над тем, как папаша Гиньоль боролся с дьяволом, а его сын водил вокруг пальца жандарма. Только когда кончился спектакль, он заметил, что у некоторых малышей к левому рукаву был прикреплен креп.

На обратном пути в отель Риду встретился пехотный полк, возвращавшийся с фронта. Солдаты были в пыли и небриты. Над их головами мерно и устало покачивались в такт шагам непривычно длинные тусклые штыки. От солдат исходил ужасный запах… Так пахло в ночлежках Бауэри — нью-йоркского дна.

Солдаты шагали мерным, тяжелым шагом. На их землистых, угрюмых лицах лежала печать отчуждения…

Разобравшись в том, что происходит в Париже, Рид решил отправиться на фронт. Но как? Союзное командование, тщательно скрывавшее от общественного мнения правду об истинном положении дел, и на пушечный выстрел не подпускало журналистов к театру военных действий.

Роберт Данн, один из немногих американских

корреспондентов в Париже, предложил Риду нанять автомобиль и отправиться на нем якобы в Ниццу под предлогом поправления здоровья, затем, выехав за пределы Парижского укрепленного района, свернуть к фронту.

Этот план (чреватый на деле серьезными последствиями) показался Джеку весьма заманчивым.

Поначалу все шло успешно, и они добрались до Кресѝ. Но здесь их задержали и предложили подписать обязательство никогда не пытаться больше проникнуть в военную зону.

— А что будет, если я не подпишу эту бумагу? — с наивным видом спросил Рид капитана французской полевой жандармерии.

Тот в ответ только выразительно провел ребром ладони по горлу.

В результате всех этих перипетий Рид и Данн вместо передовой оказались в Кале. Они переночевали в переполненном отеле, пообедали и отправились побродить по Рю Руайаль — главной улице города.

День был чудесный. По улице прогуливались веселые, смеющиеся люди — рыбаки и их жены, солдаты, матросы. Возле киоска выстроилась длинная очередь: ждали лондонских газет, доставляемых пароходом из Фалкстона.

Вечером журналисты познакомились с двумя подвыпившими матросами. Через полчаса все четверо уже были закадычными друзьями. Матросы пригласили их в ночное кафе с музыкой и девочками. Приглашение, разумеется, было охотно принято. Кафе оказалось битком набитым солдатами, матросами и их случайными подругами.

К утру все разошлись. Только американцы с тремя солдатами и двумя девушками продолжали еще пить шампанское во славу французского оружия.

Данн настойчиво стремился выяснить, почему французы воюют.

— Потому что немцы напали на Францию, — ответил один солдат.

— Но немцы тоже думают, что на них напали французы!

— Да, это так. Я говорил с несколькими пленными.

— Так, может быть, они правы? — продолжал допытываться Данн.

— Мы сражаемся за родину, — пожал плечами француз. Другой солдат, уже немолодой, хвастливо заметил:

— Моего друга убили под Шарлеруа. И, клянусь богом, я обязательно отомщу этим проклятым пруссакам, как только доберусь до линии огня! Уж я-то знаю, как воевать… Шесть лет служил в Индокитае. Мы там создали прекрасную туземную

армию, чтобы подавлять восстания.

Рид с интересом посмотрел на это живое олицетворение киплинговских героев.

Третий солдат, совсем молоденький и хрупкий, сказал с горячностью:

— А я социалист и воюю для того, чтобы уничтожить прусский милитаризм и освободить рабочий класс.

Риду стало до боли обидно и жалко этого паренька с приятным лицом, произносившего фразы, словно затверженный урок. Он отставил стакан и вмешался в разговор:

— Но ведь прусский рабочий класс воюет за то, чтобы сокрушить русский деспотизм.

— Да, это верно, пленные так говорят.

— Но что вы-то получите от уничтожения прусского милитаризма?

Первый солдат убежденно ответил ему:

— После этой войны никогда больше не будет войн.

— Никогда! — в один голос подтвердили двое других.

Солдат из Индокитая потребовал еще бутылку шампанского у засыпавшего на ногах официанта.

— Завтра мы вернемся к нашим товарищам, — сказал он, — и зададим немцам жару! Никакой пощады! Они убивали наших раненых, и мы отплатим им тем же…

Рид и Данн не смогли ни в чем разубедить этих троих французов, уже отравленных ядом шовинистической пропаганды и оппортунистической демагогией социалистов. Это могло сделать только время.

Потом Рид и Данн отправились на Марну, где еще дымилось поле одного из самых жестоких сражений в мировой войне. В Сезанне Рида арестовали, и он чуть было не угодил на два года во французскую крепость.

О битве на Марне Рид написал для «Метрополитен» очерк в пять тысяч слов. Он начал его с описания мух, тысяч огромных черных мух, слетевшихся сюда, казалось, со всей Франции на трупный запах горелого мяса. Еще он описал курган, на котором стоял деревянный крест с надписью: «Здесь покоятся сорок три француза из 73-го линейного полка».

О подобном очерке с редакцией «Метрополитен» уговора не было.

Когда Джек собрался возвращаться в Париж, с севера еще доносился гул отдаленной канонады. «Там, у Рейна, усталые от бессонницы, измученные люди механически убивали друг друга. Мы постояли некоторое время, прислушиваясь к этим звукам и

рассматривая расстилавшиеся желтые равнины Шампаньи, такие же, как в те времена, когда здесь прошел Аттила со своими ордами гуннов более тысячи лет назад».

Но Джон Рид, кроме этих ужасных видений, бережно сохранил и другое: по полю недавнего сражения уже шагал человек с плугом, покрикивая на своих быков.

Жизнь продолжалась.

Когда война вступила в траншейный период, Франция утратила для Рида какой-либо интерес. Вначале он склонялся к мысли перебраться в Германию или Австрию через Италию (которая, несмотря на уверения английского посла в Риме, еще не вступила в войну). Однако в последний момент он переменил планы и решил съездить в Англию: навестить Бойда и разобраться, что происходит на островах.

Лондон встретил Рида смоком — густым унылым туманом с горьким привкусом угля. Внешне город, казалось, не изменился. Расплываясь в сизой пелене, вереницей тянулись двухэтажные автобусы и такси. Людской поток по-прежнему заливал Стренд и Оксфорд-стрит. Величественно и невозмутимо обозревали свои владения неповторимые лондонские полисмены. На Пиккадилли и Лейстер-сквер, как и раньше, стекались к вечеру сотни проституток и жеманных юнцов с подкрашенными губами.

В устоявшийся десятилетиями облик города грубо и тревожно ворвались приметы войны. Со стен домов кричали огромные надписи: «Король и страна нуждаются в тебе!», «Англии нужен миллион волонтеров!» Воинственные плакаты были прилеплены даже к автомобилям. Некоторые из них Гласили: «Лорду Китченеру требуются такие парни, как ты!»

Китченер… Это зловещее имя означало усмирение Ближнего Востока и Судана, истребление буров и концентрационные лагеря в Южной Африке.

В магазинах с товаров немецкого происхождения были сорваны ярлычки: «Made in Germany»[12] и заменены ярлычками «Made in England»[13]. В ресторане Риду как-то подали бутылку отличного рейнского вина с ханжески закрашенной этикеткой.

В Сити Рида разозлил глупый инцидент. На каком-то углу к нему подскочила очень хорошо одетая девица с возбужденным лицом. Не говоря ни слова, она воткнула ему в петлицу пальто белое куриное перышко и ринулась в сторону, испуская воинственные вопли. Оторопев, Рид вначале не сообразил, что значит вся эта нелепая история, но потом понял и со злостью выдернув перышко, бросил его на землю. Белыми перьями экзальтированные девицы украшали пиджаки мужчин призывного

возраста…

Позже Рид не раз встречал таких рьяных патриоток и подметил, что они всегда были хорошо одеты.

Вечером Джек сидел с Бойдом в дешевой меблированной комнате и с горечью делился своими лондонскими впечатлениями:

— Китченер… Кровавый Китченер, вот кто правит старой веселой Англией! Пожалуй, трудно найти столь полное воплощение империалистической политики. Холодный, энергичный, беспощадный… Он был бы идеалом даже в Пруссии. Страшно смотреть, как он превращает Англию в военную машину наподобие кайзеровской.

Бойд во всем был согласен с Ридом, хотя каждое слово причиняло ему почти физическую боль.

В комнате стало совсем темно. Джек чиркнул спичкой о подошву ботинка и зажег газовый рожок. Потом продолжил разговор.

— Сегодня я видел рекрутов — тупой, вколоченный молотком патриотизм.

Бойд слушал молча. Всего два месяца назад он с энтузиазмом убеждал Рида в неизбежности близкой революции. Сейчас Эд был растерян, подавлен, разочарован. Даже внешне он осунулся и как-то сник.

Риду было жалко теребить Бойда, но он все же спросил:

— А что делают английские социалисты? Какова их позиция?

Бойд криво улыбнулся:

— Кричат на всех углах: «Свернем Гансу шею!»

Никогда раньше Рид так остро не принимал к сердцу, не видел столь обнаженно ложь, лицемерие, ханжество английской аристократии и буржуазии.

Рид написал резкую, злую статью для «Метрополитен», в которой не поскупился на нелестные выражения в адрес Британии. «Мне кажется, — писал он, — что Германия виновата не больше, чем Англия… Это не крестовый поход против империализма, а драка за прибыли. Это не наша война».

К этому времени у Рида уже назрел конфликт с редакцией «Метрополитен». С каждым днем обнаруживались все новые и новые противоречия. Вначале это были просто незначительные трения, кажущиеся недоразумениями. До поры до времени редакция ограничивалась тем, что проглаживала статьи Рида горячим утюгом. До поры до времени и сам Рид не возражал против этого.

Для Рида война становилась все более отвратительной и глупой, и он чувствовал, что не в состоянии сочинять убогие

очерки о ней.

«Метрополитен» так и не опубликовал английского очерка Рида. Иначе и быть не могло. Издателем журнала был англичанин, и «Метрополитен» все более ощутимо склонялся к идее вмешательства Соединенных Штатов в войну на стороне Антанты.

Карл Хови нашел статью посредственной. По его мнению, «Рид проявил мальчишество в худшем смысле этого слова».

Телеграмму Хови с сообщением, что две его последние статьи редакция использовать не может, Рид получил уже во Франции.

В ответном письме к Хови Рид писал: «Я был немного удивлен вашей критикой. Я представлял себе, что статья может вам не понравиться, но никак не думал, что вы сочтете ее устаревшей и малозначительной… Все считают, что «Белая книга» сэра Эдварда Грея — истинная правда, которая демонстрирует стремление Англии сохранить мир в Европе. Но составители немецких, австрийских, русских сборников документов и дипломатической корреспонденции с таким же основанием претендуют на то, чтобы их страны считались хранительницами мира. Вы постоянно доказывали в ваших заявлениях и в беседах с миссис Мэбел Додж, что я явно не способен схватить главное в создавшемся положении и дать четкий анализ, как я это сделал в Мексике. Ну что ж, вы хотели анализа, я тоже, но я не могу по-другому относиться к этой мрачной и непопулярной войне. Когда мы с вами беседовали перед моим отъездом, вы мне сказали, что нет необходимости ездить на линию фронта, достаточно понять, как относится к войне народ. Но сейчас мне кажется, что вам нужны именно батальные сцены. Прекрасно, вы их получите, если я буду уверен, что смогу хорошо о них написать».

В ответ пришло теплое, дружеское письмо с советами, пожеланиями, добрыми словами. Хови искренне желал Риду добра. Возможно, он объяснял нетерпимое отношение Рида к войне своеобразным идеализмом, столь часто встречающимся в молодости. Если Хови действительно так думал, то глубоко ошибался. Рид не питал относительно войны никаких романтических иллюзий, которые могли бы разбиться от столкновения с действительностью, оставив после себя опустошенную душу и ожесточившееся сердце. Нет, он с самого начала знал: это война торговцев смертью — и ненавидел ее.

Рид, конечно, еще многого не понимал — в частности, он не мог предвидеть, как окончится разразившаяся катастрофа, — но верил, что торговцам смерти та пучина страданий и горя, в которую они ввергли миллионы людей, не пройдет даром.

Когда Рид вернулся в Париж, к нему приехала Мэбел Додж.

Это была ее последняя попытка спасти Джека от того беспощадного и опасного мира реальности, от которого сама она пряталась столько лет. Все эти месяцы она по просьбе Рида вычитывала гранки его статей для «Метрополитен» и понимала, что на душе у любимого человека неладно.

Это была ненужная встреча, если не считать того, что она подвела окончательный итог их неизбежно угасавшей связи, тянувшейся уже только по инерции. Эта связь прекратилась сама собой вовсе не потому, что зиждилась на неглубоком чувстве. Нет, в свое время Рид искренне и по-настоящему любил Мэбел, хотя в его любви всегда было больше преклонения, чем подлинной страсти.

Правда, с Джеком порой случались романтические приключения. Он был молод, хорош собой, весел, остроумен, знаменит. Перед ним раскрывалась ослепительная карьера. Все это не могло не привлекать к нему женщин, хотя ухаживать за ними он и не умел. Порой он неожиданно и пылко увлекался кем-либо, но через несколько недель головокружение проходило легко и безболезненно, и он сам смеялся над ним. Во всяком случае, эти увлечения ничуть не отражались на чувстве к Мэбел. Она знала это и не боялась их.

Причины его охлаждения к миссис Додж крылись глубже… Мэбел была олицетворением того мира богатства, красоты, изысканности, снобизма, от которого его теперь отделяла пропасть. Она была этапом в его жизни, этапом, который, пережив себя, неминуемо должен был остаться в прошлом. Мэбел Додж принадлежала вся целиком своему салону на Пятой авеню Джек навсегда вырвался из его обитых шелковыми обоями стен навстречу штормам всего мира.

Их уже ничто не могло связывать Мэбел Додж уехала домой в Америку. Рид вместе с Робертом Данном окольным путем отправился в Германию, чтобы взглянуть на войну по ту сторону траншей, уже перепахавших Европу.

Немецкие военные власти обещали Риду, что ему, как и нескольким другим военным корреспондентам, будет предоставлена возможность съездить на передовую и побывать в окопах. Но разрешения нужно было подождать.

У Рида и Данна оказалась масса свободного времени, которое они и посвятили осмотру Берлина. Ничего принципиально нового для себя Рид в германской столице не обнаружил. Берлин в общем оказался зеркальным отражением Лондона. Только, подобно тому как правая рука в зеркале оказывается левой, военная машина работала в диаметрально противоположную сторону.

Были, конечно, и кое-какие специфические различия. Рид, в частности, нашел, что Берлин не столь грешил лицемерием, как Лондон и Париж, так как готовился к войне более открыто и прямолинейно. Немцев приучали к войне заранее. Для этой расчетливой, хладнокровной подготовки была разработана самая эффективная воинская система в Европе. Мозги рослых светлоглазых немецких парней промывали самой действенной милитаристской пропагандой, настоянной на густом национализме.

Редакция «Метрополитен» зря обиделась на Рида за его статью об Англии. Меньше всего он намеревался обелить беспросветно черную кайзеровскую Пруссию. Он подтвердил это своим пером, когда писал: «…Видеть, как сотни тысяч одетых в серое автоматов неумолимо попадали в эту безжалостную машину, откуда не было возврата, как через Бельгию они перебрасывались бесконечными потоками шириной в милю и разливались батальон за батальоном вокруг развалин крепостей, окруженных трупами, было отвратительнее, чем все, что я видел в других странах.

Осмелится ли теперь кто-либо утверждать, что немецкому народу сказали правду о войне или вообще сказали что-либо, о чем стоило бы говорить? Нет. Весь народ погнали в окопы, не дав ему возможности что-либо узнать или возразить…»

Правда, в Германии нашлись люди мужественные и честные, которые не побоялись поднять свой голос против военного безумия. У одного из них Рид побывал дома.

…За письменным столом, освещенным одной лампой с зеленым абажуром, сидел худощавый, хрупкий на вид человек с немного усталым, но одухотворенным лицом. Карл Либкнехт. Во время разговора он, видимо, чтобы перебороть застенчивость, вертел в тонких, нервных пальцах деревянный нож для бумаг. Иногда он улыбался детской, обезоруживающей улыбкой. Он совсем не походил на пламенного народного трибуна, каким его представлял Рид.

Либкнехт говорил об измене лидеров II Интернационала рабочему классу, о международном долге подлинных социалистов выступить против империалистической войны. Сам Либкнехт остался верен этому долгу до конца, проголосовав в рейхстаге против военных ассигнований.

На прощание Либкнехт подарил Риду свой портрет. Говорят, что книги, подобно людям, имеют свои судьбы. Иногда это приложимо и к другим вещам Подарок Либкнехта постигла удивительная судьба. В 1917 году Рид привез портрет в Россию. Когда в Германии начала подниматься революционная волна, с

него были сделаны первые в Советской России портреты вождя немецких рабочих.

Наконец долгожданное разрешение пришло. Рид с Данном выехали на фронт в район Лилля. Германское военное командование было чрезвычано заинтересовано в завоевании симпатий общественного мнения за океаном, и поэтому их любезность по отношению к американским корреспондентам поистине не имела предела.

В прифронтовой полосе журналистов встретил прямой, как гладильная доска, лейтенант, прекрасно владеющий английским и французским языками. Это был провожатый, приставленный к ним командиром 2-го Баварского корпуса.

Вечером они отправились на позиции. Впереди, полный чувства собственного достоинства и сознания высокого долга, возложенного на него, шагал лейтенант Ригель. Даже сейчас, в непролазной грязи, он умудрялся щеголять той нелепой деревянной походкой, которой владело на земле только одно племя — кадровых прусских лейтенантов. За ним, кутаясь в холодные немецкие шинели и звучно шлепая сапогами по лужам, шли Рид и Данн.

Вот и передовая… Две едва возвышающиеся над поверхностью земли бурыми гребнями брустверов полосы траншей. Между ними — искореженное воронками снарядов, изувеченное огнем и металлом поле.

Окровавленное, поруганное смертью.

Снаружи не было видно ни одного человека. Здесь, зарывшись в землю, как в могиле, жили, ели, спали и умирали тысячи немецких солдат. А прямо против них, в считанных шагах, то же самое делали тысячи французов.

Все время, пока журналисты пробирались вслед за своим гидом по хитросплетению окопов, о бруствер шлепали французские пули. Возле какого-то хода сообщения Ригель остановился и сказал:

— Сегодня мы потеряли тридцать солдат.

Американцы постояли с минуту и зашагали дальше. В голове Рида уже слагались строки будущего очерка. Правдивые, горькие, гневные:

«Я был на немецких передовых линиях, где люди, покрытые вшами, стояли по пояс в воде и стреляли во все, что двигалось на расстоянии восьмидесяти ярдов за земляной насыпью. Их лица были землистого цвета, они беспрерывно стучали зубами, и каждую ночь кто-нибудь сходил с ума. На поле между окопами на расстоянии сорока ярдов лежала гора трупов, оставшихся после последнего наступления французов. Все лежавшие там раненые

умерли, причем не было сделано ни единой попытки спасти их. А теперь тела их медленно, но верно погружались в грязь, утопая в ней…

Я спросил у этих забрызганных грязью людей, которые стояли под дождем, опираясь на мокрую земляную насыпь, и из-за своих маленьких стальных щитов стреляли по каждому движущемуся предмету, кто их враги? Они посмотрели на меня непонимающе…»

Часов в десять вечера начался артиллерийский обстрел. Когда разрывы французских снарядов приблизились к самой линии окопов, лейтенант настойчиво предложил гостям уйти в укрытие. Вместе с группой офицеров американцы спустились в глубокий бетонированный подвал — когда-то здесь помещался винный погреб, и даже сейчас еще чувствовался едва уловимый аромат виноградной лозы, такой слабый среди тяжелых и удушливых запахов пороховых газов, разлагающихся трупов и давно не мытых солдатских тел.

Риду и Данну предложили хорошего вина. Все выпили. Потом высокий, худой майор сел за пианино, неизвестно как попавшее в этот каменный мешок, и превосходно сыграл в честь гостей несколько американских песенок под аккомпанемент близких разрывов.

Совсем недавно майор еще носил фрак, а не узкий мундир с алюминиевыми пуговицами, и совершал концертное турне по Соединенным Штатам.

Когда обстрел прекратился, все вернулись в окопы. И снова Рид зашагал по глухо чавкающей под ногами размокшей глине. Наконец лейтенант счел, что для первого раза гостям хватит. Однако для полноты впечатлений решил доставить им, с его точки зрения, развлечение. Он подозвал какого-то солдата, взял у него из рук винтовку и, любезно улыбаясь, предложил американцам:

— Может быть, вы хотите пострелять?

Шутка есть шутка. Меньше всего на свете Рид мог полагать, что кто-нибудь придаст ей символическое значение и в тупом патриотическом раже вознесет на принципиальную высоту.

Не желая обидеть гостеприимного лейтенанта, Рид и Данн взяли винтовку и бабахнули по разу куда-то в воздух. Можно уверенно сказать, что это были самые невинные и безвредные выстрелы за все пять лет мировой войны. Увы, Джек не всегда был провидцем. Если бы он мог предполагать, сколько неприятностей принесет ему вскорости этот злосчастный выстрел в божий свет!..

Все, что Рид увидел и пережил в Германии, лишь дополнило впечатления, почерпнутые во Франции, Англии, Бельгии. Эта война — подлое, грязное, безжалостное истребление миллионов людей ради миллиардных прибылей, варварство, с которым нужно бороться словом и делом. И это — задача неизмеримо более важная, чем «разгребание грязи», единственная славная до сих пор страница в истории американской журналистики. В этом, и только в этом, видел Джон Рид свой долг перед человечеством, когда в середине января нового, 1915 года он возвращался домой, в Соединенные Штаты Америки.

Едва лишь Джек ступил ногой на родную американскую землю, вдохнул бесконечно дорогой воздух с привкусом бензина и угольной копоти, как с горечью и обидой понял, что впервые в жизни Нью-Йорк встретил его настороженно, хмуро, неприветливо.

За время его отсутствия Америка почти сделала выбор — и не в пользу мира. Интересы наиболее влиятельных деловых кругов в стране оказались тесно связанными с английским и французским капиталом. Это обстоятельство самым недвусмысленным образом сказалось на позициях многих крупных газет и журналов. Ему же было подчинено и так называемое «общественное мнение».

Рид был не единственным американским корреспондентом в Европе. Десятки его коллег бойко и развязно ежедневно строчили военные корреспонденции, те самые залихватские и убогие батальные очерки, которые требовались хозяевам большой прессы. Статьи Рида при всей их талантливости и взрывчатой силе правды были лишь каплей в чернильном океане безудержной пропаганды насилия и разбоя за маской убаюкивающих совесть демагогических требований спасти мировую цивилизацию от вандалов.

Америка хотя и медленно, но с неодолимой инерцией парового катка двигалась к войне. Правда, в стране было довольно много прекраснодушных пацифистов. Но их абстрактное отвращение к ужасам войны граничило с обыкновенной истерией и в лучшем случае вызывало лишь сочувствие у окружающих.

Имя Джона Рида пользовалось авторитетом. Его слава журналиста зиждилась на прочном фундаменте. Его, наконец, любил читатель. И могущественные, всесильные люди, хотя и стоящие на заднем плане, но твердо и единовластно управлявшие большой прессой, не могли ему простить позиции, занятой им в вопросе о войне.

Первый удар ему нанесли еще тогда, когда он был на пути в Америку. Удар этот был нанесен пером Уолтера Липпманна,

бывшего однокашника и социалиста, чьи социалистические убеждения, правда, Рид никогда не принимал всерьез.

За эти месяцы Липпманн стал самой влиятельной фигурой в редакции журнала «Нью рипаблик», на страницах которого он и опубликовал 26 декабря 1914 года свой очерк под пророческим, хотя и преследовавшим совсем другую цель, заголовком: «Легендарный Джон Рид».

Когда-то в поэме «День в Богемии» Рид высмеял Липпманна за доктринерство и снобизм. Очерк Липпманна, казалось, был всего лишь чисто литературным событием, ответом на критику в поэме. На самом же деле Липпманн стремился к иному: дискредитировать Рида как журналиста в глазах поклонников его таланта, представить его бунтарский дух как легкомысленную строптивость, изобразить его талантливым шалопаем, не несущим ответственности за свои экстравагантные поступки.

Липпманн рассыпался в похвалах по адресу таланта Рида, но каждое слово поощрения умело приправлял дозой яда в позолоченной облатке. Липпманн был и сам очень талантливый журналист и вложил в статью всю желчь и остроумие своего дарования.

«Он утверждает, — с сарказмом писал Липпманн о Риде, — что все капиталисты жирны, лысы и скупы, что Виктор Бергер и Социалистическая партия, Самюэль Гомперс и профсоюзы обманывают трудящихся. Он старается уверить нас, что рабочий класс — это не горняки, водопроводчики и представители других видов труда, а величественный гигант, который, подобно статуе, возвышается на высокой горе, лицом к солнцу. Он сочиняет рассказы о ночных приключениях и забавах, о женщинах в кимоно. Он разглагольствует с интеллигентской терпимостью о динамите, и кажется, что он может объяснить истинную связь между кубистами и ИРМ. Он даже прочел несколько страниц Бергсона».

В своем стремлении развенчать легенду, уже окружавшую имя Рида, Липпманн пал жертвой собственной иронии. Упрек, брошенный им Риду, был, по существу, признанием его силы: «Он не выступает как судья, он отождествляет себя с борьбой, и все, что он видит, связано с тем, на что он надеется, и когда симпатии его соответствуют фактам, Рид гордится этим».

В редакции «Метрополитен» Рида встретили с явным холодком. Ему говорили комплименты, с интересом расспрашивали о войне, но Джек внутренне чувствовал, что он в этих стенах persona non grata.

Как раз ко времени возвращения Рида в составе редколлегии журнала появился новый, чрезвычайно влиятельный человек. Это

был высокий, грузный мужчина с крупным, мясистым лицом и пронизывающим взглядом маленьких серых глаз.

У него была уверенная, хозяйская походка, зычный голос, развязные манеры содержателя бара.

Это был Теодор Рузвельт, бывший президент Соединенных Штатов, человек, которого Рид ненавидел, как никого другого в Америке, человек, олицетворявший самые темные силы в стране.

В февральском номере «Метрополитен» Рузвельт выступил с программной статьей, требуя немедленной интервенции в Мексике. Экс-президент призывал как можно быстрее сколотить двухсоттысячную армию и начать вторжение, чтобы смести с лица земли мексиканских «бандитов», угрожающих основам основ американской цивилизации.

Попутно Рузвельт с яростью обрушился на «хилых, но шумных людишек за-мир-любой-ценой, этих тряпок профессиональных пацифистов».

Как-то Рид в присутствии Рузвельта восторженно отозвался о Панчо Вилье.

— Вилья — убийца и двоеженец, — безапелляционно заявил Рузвельт.

Тогда Джон со своей самой очаровательной улыбкой заметил:

— Отлично, я тоже верю в двоеженство!

Едва сдерживая ярость, Рузвельт пробурчал:

— Рад за вас, Джон Рид, что вы хоть во что-то верите. Молодым людям это необходимо.

Но их встречи далеко не всегда заканчивались так мирно. Однажды, когда Рузвельт самодовольно рассказывал группе сотрудников, как он первым отдал солдатам приказ стрелять во время испано-американской войны, взорвался уже Рид.

Лицо его побелело, он весь дрожал от ненависти и презрения. Голос его, прерывающийся от волнения, звенел на самой высокой ноте.

— Я всегда знал, что вы убийца, полковник!

Присутствовавшие при этой сцене Виган и Хови едва разняли Рида и Рузвельта.

После этого инцидента Джеку стало ясно, что в одной берлоге с воинственным экс-президентом ему делать нечего.

Несмотря на все треволнения, Рид не прекращал ни на один день своей журналистской работы. Он обрабатывал материалы, собранные в Европе, писал очерки и даже нашел время, чтобы расправиться с одним шарлатаном.

Некий Билл Сандэй, евангелистский проповедник, объявился в Филадельфии и провозгласил, что одним лишь «словом божьим» он намерен разрешить все социальные проблемы. Газеты

устроили ему шумную рекламу, «отцы города» окружили вниманием и заботой.

Рид уже достаточно хорошо знал деятелей АФТ и Социалистической партии, но с оракулами подобного рода встречался впервые. Он выехал в Филадельфию.

Сандэй оказался упитанным молодым человеком с повадками коммивояжера и елейным выражением лица. Беседа была непродолжительной. В ходе ее Джек выяснил, что евангелист не отличается особенным воображением. Вся его идея сводилась к тому, что люди забыли бога, отчего жизнь их неустроенна и греховна. Чтобы спастись, они должны с его, Сандэя, помощью вернуться к Христу…

Скептически хмыкнув, Рид спросил:

— А когда промышленники станут христианами, они поднимут заработную плату рабочим?

Снисходительно улыбаясь, евангелист ответствовал:

— Это вопрос экономики, а не религии, сын мой…

Рид был в полном восторге.

На другой день, походив по городу и поговорив с людьми, Джек выяснил, что проповедник явился в Филадельфию, отнюдь не повинуясь гласу божьему, но по приглашению комитета граждан, в состав которого входили двенадцать фабрикантов, двенадцать банкиров и трое видных юристов. Тогда Рид отправился к одному из членов комитета — крупному предпринимателю Джонсону. Его заводы славились низкой заработной платой рабочим и частыми несчастными случаями.

Джонсон, красивый благообразный джентльмен, принял Рида в высшей степени любезно. По его словам, он был крайне польщен этим визитом. Не замечая или делая вид, что не замечает иронического внимания Рида, он стал объяснять

— Видите ли, я уже давно пришел к выводу, что наша страна нуждается в моральном пробуждении. Умы людей слишком заняты материальными вещами. Билл Сандэй заставляет людей задуматься о спасении души. Только тогда человек может отказаться от эгоистичного желания стать богатым. Вместо того чтобы агитировать за повышение заработной платы, он начнет заботиться о тех, кто беднее и несчастнее его.

Более противного лицемерия Рид еще не встречал, о чем и написал в своей статье.

За время короткого пребывания на родине Рид создал один из лучших своих рассказов — «Дочь революции», основанный на подлинном происшествии, случившемся с ним в Париже.

Это тяжелый, горький рассказ.

…В дождливый теплый вечер в знаменитом парижском кафе

«Ротонда» молодой приезжий американец, в облике которого легко узнать автора, разговаривает с проституткой.

«Желтый свет фонарей заливал нас, отражаясь золотыми бликами на мокром тротуаре; мимо проносилась непрерывная вереница прохожих с зонтиками, оборванный дряхлый старик украдкой собирал окурки у нас под ногами; по мостовой мерно шаркали солдатские сапоги, но этот привычный звук почти не доходил до нашего сознания; мокрые косые полосы штыков вспыхивали с бульвара Монпарнас».

Марсель ничем не отличалась от других женщин «Ротонды». Она коротко стригла волосы, носила маленькую круглую шляпку, блузку с глубоким декольте и длинную пелерину. Губы ее были ярко накрашены, щеки густо набелены. Она то непристойно ругалась, то впадала в слезливую сентиментальность.

Эта девушка, вышвырнутая колесом жизни на панель, была внучкой коммунара. Он боролся за свободу своего класса и был расстрелян версальцами у стены кладбища Пер-Лашез. Его внучке, сломанной и растоптанной капиталистическим строем, осталась только одна свобода: ради куска хлеба продавать свое тело любому встречному.

Когда молодой американец, задумавшись, насвистывает «Карманьолу», Марсель дергает его за руку.

«— Эта песня запрещена, из-за вас нас всех сцапают, — сказала она. — Да и вообще не надо петь эти грязные песни. Это песни революционные, их поет чернь… беднота… оборванцы…

— Значит, вы не революционерка?..

— Я? Боже упаси! — воскликнула Марсель, энергично замотав головой. — Злодеи, которые хотят ниспровергнуть все…»

Молодой американец не скрывает от девушки своих революционных симпатий.

«— Послушай-ка, Марсель…разве вы счастливы вот в этом вашем мире? За что вы можете его любить — уж не за то ли, что вам приходится выходить на улицу продавать свое тело?.. Когда придет великий день, я знаю, по какую сторону баррикады мне стоять».

Этот рассказ Рида уже не только обличал капитализм, но и требовал возмездия. Для «Метрополитен» он был слишком взрывчат, и Джон отнес его в «Мэссиз».

Несмотря на серьезные разногласия, «Метрополитен» все же ценил Рида как военного корреспондента и не собирался отдавать его конкурентам. И редакция предложила Риду вновь отправиться во Францию. У Джека выбора не было: все же из всех крупных нью-йоркских журналов «Метрополитен» был самым приличным. Он согласился. Но во Францию Риду вернуться уже не

пришлось…

…Утром 27 февраля в квартире Джека раздался телефонный звонок. Он поднял трубку. Незнакомый мужской голос спросил, может ли он сказать несколько слов мистеру Риду. Едва лишь Джек назвал себя, как из трубки полилась отборная ругань. Ошеломленный Джек разобрал лишь несколько фраз: «… Предатель!.. Кровожадный гунн!.. Германский шпион!..» Ничего не понимая, Рид медленно опустил трубку на рычаг. К сожалению, очень скоро он убедился, что это не было дурацким недоразумением.

В этот день Данн опубликовал в нью-йоркском «Пост» очерк, где описал ночь, которую он с Ридом провел в немецких окопах. В очерке Данн красочно, с подробностями, имевшими место только в его воображении, рассказал о злосчастных двух выстрелах в воздух. Из этого рассказа явствовало, что Рид стрелял (и не раз!) по французским окопам.

Лучшего повода для травли не могли бы придумать самостоятельно даже самые заклятые враги Рида.

Анонимный телефонный звонок был только первой струей в том потоке инсинуаций и клеветы, который незамедлительно обрушился на Рида. «Нейтральный американский корреспондент стреляет во французских солдат!», «Американец в рядах кайзеровской армии!», «Джон Рид осиротил французского ребенка!» — это была сенсация, находка, великолепный повод покончить с человеком, осмелившимся заявить, что война в Европе — варварское истребление в угоду торговцев.

Французское правительство официально сообщило, что ни Рид, ни Данн никогда не получат разрешения на въезд во Францию.

Теодор Рузвельт не преминул громогласно объявить:

— Если бы я был маршал Жоффр и Рид попал в мои руки, я предал бы его военно-полевому суду и расстрелял.

Возможно, сочти Рид всю эту свистопляску вокруг его имени случайной ошибкой, он был бы глубоко расстроен.

Но он сразу понял, что эта кампания не случайна и направлена не столько против него лично, сколько против идей и взглядов, которые он проповедовал и утверждал в своих очерках. И Рид не встал в позу невинно обиженного, а мужественно и с достоинством принял вызов.

Он стал выступать на собраниях в различных клубах и рассказывать правду о войне. Его встречали шиканьем и презрительными выкриками. Но он говорил, и от его спокойных, пронизанных глубокой убежденностью в своей правоте слов у многих раскрывались глаза.

Потом Рид написал статью для «Мэссиз», в которой излил всю свою ненависть к милитаризму, военщине и патриотическому психозу. Статья заканчивалась гордыми словами, прозвучавшими, клятвой, что он, Джон Рид, никогда не будет солдатом в этой войне.

Поскольку двери во Францию навсегда захлопнулись перед ним, Рид вынужден был пересмотреть свои планы. Редакция «Метрополитен» предложила ему отправиться на три месяца в Восточную Европу, чтобы описать происходящие там военные события. На этот раз Джон должен был ехать не один, а в сопровождении Бордмена Робинсона, которому редакция поручила иллюстрировать рассказы Рида.

20 марта, покончив со всеми нью-йоркскими делами (последние из них — прививки от холеры и тифа), Рид и Робинсон отплыли в Италию.

ПО ДОРОГАМ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

Когда в апреле 1915 года Рид вторично прибыл в эту страну, Италия, как и семь месяцев назад, все еще собиралась вступить в войну. Рассудив, что этого события можно напрасно прождать еще столько же времени, Рид и Робинсон отправились в Грецию. Маленький пыхтящий пароходик не спеша перебрался через Эгейское море и высадил их в Салониках. По странной прихоти войны этот пыльный сонный городок на задворках Европы вдруг превратился в шумный международный перекресток. Город заполняли толпы людей, говорящих на двадцати различных языках. С утра и до вечера сюда стекались беженцы: европейцы из Турции, турки, греки из Леванта. Ежедневно Рид видел печальные процессии: мужчины, женщины, дети с разбитыми в кровь ногами ковыляли рядом с тележками, груженными жалкой рухлядью. Беженцы из Лемноса занесли в город чуму, которая еще свирепствовала в районах, населенных беднотой.

Беззаботные некогда Салоники оказались опутанными густой сетью интриг и заговоров.

Салоники считались нейтральным городом, но ежедневно в него прибывали английские корабли с боеприпасами и снаряжением для сербского фронта.

Как-то Рид задумался над тем, как будут люди жить после того, как эта проклятая война кончится. Хватит ли у них жизненных сил, чтобы встать на ноги после такого страшного

потрясения, не отравят ли война и лишения их души озлоблением и взаимной ненавистью? Смогут ли они снова пахать землю, ловить рыбу, петь и танцевать, рожать детей без страха за их будущее? Он думал о народе, о простых людях, создающих своими руками все стоящее на земле, а не о вырождающихся привилегированных классах.

Рид все чаще и чаще убеждался, что носителями душевных сил наций и стран, хранителями высшей человеческой культуры — культуры созидательного мирного труда, единственными спасителями подлинной цивилизации от хаоса и разрухи могут быть только люди с мозолистыми руками.

Общаясь с ними, Рид словно черпал воду из чистого родника.

Однажды ночью в пустынном квартале доков Рид и Робинсон заглянули в портовый кабачок. Это был обыкновенный греческий подвальчик с низкими сводами, плотно убитым земляным полом, грубыми столами и стульями, винными бочками, вделанными в стены. С потолка свешивалась одна-единственная тусклая лампа. За столом сидели восемь человек. Жалобно и заунывно они выводили какую-то бесконечную восточную песню и отбивали такт стаканами.

Американцев встретили приветливо, словно старых друзей. Потеснившись, усадили за стол, налили полные стаканы терпкого, густого вина.

Эти люди встретились здесь случайно, никто прежде не был знаком друг с другом. Все семеро (восьмой — хозяин) оказались плотниками. Четверо из них были греки из разных городов, один — итальянец из Алеппо в Сирии, один француз и один армянин, у которого всю семью вырезали турки.

Один из плотников говорил по-английски, другой — на грубом жаргоне французских моряков, третий — на неаполитанском наречии, четвертый — на испанском языке, принятом в Леванте, армянин — на испорченном немецком, которому научился, работая на Багдадской железной дороге. Все они знали греческий язык и своеобразный жаргон средиземноморских матросов.

Когда выпили, хозяин, сияя от удовольствия, снова наполнил всем стаканы.

— Вот он какой! — сказал итальянец. — У нас нет денег. Он нас кормит, поит, и мы спим у него на полу. Да воздаст ему господь за его доброту!

— Богу известно, как я люблю общество, — сказал хозяин. — Да и нельзя же в такое время выкидывать на улицу обездоленных людей. К тому же, когда есть работа, плотники получают хорошо. Когда-нибудь они со мной расплатятся.

Рид спросил, не обращаясь ни к кому в отдельности:

— Хотели бы вы, чтобы Греция вступила в войну?

— Нет! — воскликнул кто-то.

Другие с угрюмым видом отрицательно покачали головами.

— Дело в том, — медленно подбирая слова, заговорил грек, знающий английский, — что эта война выгнала нас из дому и лишила работы. Плотникам сейчас нечего делать. Война разрушает, а не строит. А плотник рожден, чтобы строить.

Последние слова он перевел молчавшим слушателям, и все одобрительно зашумели.

— Ну, а как быть с Константинополем? — спросил Робинсон.

Итальянец поднял стакан и выкрикнул:

— Да здравствуй международный Константинополь, город для всех!

И все снова дружно выпили. Потом в честь гостей плотники спели протяжную турецкую песню, постукивая по столу жесткими, негнущимися пальцами.

Хозяин принес еще вина. Обрадованный итальянец по этому поводу превосходным тенором спел «Сердце красавиц». Потом все потребовали американскую песню. Джек и Робинсон спели «Тело Джона Брауна». Песня настолько понравилась, что ее повторили четыре раза и все громко подхватили припев:

Тело Джона Брауна покоится в земле,
Но дух его шагает и шагает вперед!

Музыку сменили танцы. При мерцающем свете лампы сам хозяин повел за собой «коло». Тяжело били оземь грубые сапоги, мерно раскачивались заскорузлые сильные руки, развевались рваные одежды…

Хорошие они были люди, эти семеро плотников…

Из Греции Рид и Робинсон отправились в Сербию. Перед тем как сесть в поезд, они натерлись с головы до ног камфарным маслом и набили все карманы нафталиновыми шариками. Так делали все едущие в Сербию, где свирепствовали всевозможные виды тифа, брюшной, возвратный и загадочный сыпняк, убивающий половину своих жертв.

Эпидемия в Сербии уже стихала — теперь в ней насчитывалось «всего» сто тысяч больных, и в день умирала «лишь» тысяча человек.

Вскоре Рид увидел первых сербских солдат, изможденных и до предела оборванных. За три года они пережили четыре войны и ни разу не сменили форменной одежды.

Сербия, казалось, ничем не отличалась от Македонии, но

зоркий глаз Рида быстро подметил на всем печать войны. Тутовые деревья были заброшены, на полях, давно не паханных, торчали одиноко стебли кукурузы. Только однажды он увидел двух быков, погоняемых женщиной в пестрой домотканой юбке. Быки тащили за собой деревянную соху из цельного дубового сука. За сохой шел солдат с винтовкой, волочившейся по земле.

Когда Рид и Робинсон прибыли в Белград, город лежал в руинах, над разбитыми и сожженными коробками домов вился сизый дрожащий дым. На протяжении двух суток, что они пробыли в сербской столице, город непрерывно обстреливала австрийская артиллерия.

Потом спутники отправились на фронт — в район знаменитой горы Гучево, где на протяжении десятимильного фронта под самыми облаками пятьдесят четыре дня шло ожесточенное сражение.

Рид и Робинсон в сопровождении симпатичного молодого капитана то пешком, то верхом поднялись на высоту примерно тысячи футов.

По одну сторону открытого пространства протянулись сербские траншеи, по другую — австрийские. Их отделяли каких-нибудь двадцать ярдов. Всего лишь двадцать ярдов! То, что увидели здесь Рид и Робинсон, превосходило ужасы всех девяти кругов Дантова ада. Даже теперь, когда человечество познало кошмар Хиросимы и Нагасаки, невозможно без чувства содрогания читать строки, написанные Ридом за тридцать лет до того, как к небу взметнулись ядовитые атомные грибы:

«Поверхность земли между ямами была вздыблена беспорядочными нагромождениями глины. Присмотревшись поближе, мы увидели потрясающие вещи из этих маленьких холмиков выглядывали обрывки форменной одежды, черепа с выпачканными в земле волосами, на которых еще висели клочья мяса, белые кости с гниющими кистями рук, окровавленные ноги, торчащие из солдатских сапог. Нестерпимый смрад стоял здесь. Стаи полудиких собак рыскали на опушке леса. Видно было, как две из них рвали что-то полузарытое в земле. Не говоря ни слова, капитан вытащил револьвер и выстрелил. Одна собака зашаталась, упала в судорогах и затихла, другая убежала с воем за деревья. И тотчас же из глубины леса раздался в ответ жуткий вой, замерший вдали, за много миль от поля битвы.

Мы шли по мертвым — так густо они лежали, — иногда попадая ногами в ямки, полные гниющего мяса, и давя с хрустом кости. Маленькие углубления внезапно проваливались, образуя глубокие ямы, кишащие червями. Большинство трупов было покрыто лишь тонким слоем земли, частично смытой дождем, а

многие вовсе не были похоронены. Целые груды мертвых тел австрийцев лежали на земле в том положении, в каком их застала смерть в момент отчаянной атаки, — в позах борющихся не на жизнь, а на смерть. Между ними попадались и сербы. В одном месте тесно переплелись два полусгнивших скелета — австрийца и серба. Руками и ногами они сжимали друг друга в мертвой хватке, и даже теперь их невозможно было оторвать друг от друга…»

От Рида ждали «живописаний» — что ж, он их дал. Он писал с яростью, с ненавистью, пропуская слова и разрывая бумагу.

Он не боялся натурализма, не обходил стыдливо самых отвратительных сцен. Рид хотел, чтобы от его очерков подступала к горлу тошнота, как душила она его самого от смрада в долине трупов, чтобы у людей встали волосы на голове, как вставали они у него, чтобы они прокляли тех, кто устроил эту бойню, как проклял их он…

Каждой строкой, каждым словом он требовал. «Люди, ужаснитесь содеянному, опомнитесь от безумия, прекратите кошмар братоубийства!» Эти страшные картины не только заставляли содрогнуться, но и требовали возмездия Рид не пугал читателя призраком смерти, но предупреждал об опасности, не стесняясь для этого прибегать и к сильнодействующим средствам.

Вернувшись в Белград, Рид и Робинсон несколько дней не могли прийти в себя после впечатлений от поездки на фронт. Обоим потребовалось преодолеть какой-то внутренний барьер, прежде чем они смогли приступить к работе с удвоенной энергией.

Рид с утра до вечера стучал на машинке Робинсон, приткнувшись у окна, заполнял листы ватмана десятками рисунков. Под его стремительным карандашом появлялись изможденные, худые сербские солдаты, унылые и понурые фигуры австрийских пленных, диковатые лица цыганок, контуры разбитых домов, обожженные деревья взметали к небу, словно моля о пощаде, изломанные сучья. И трупы, трупы…

Закончив лист, Робинсон, не оборачиваясь, спрашивал:

— Похоже?

Рид оставлял машинку, склонив голову и закрыв один глаз, рассматривал картон. Потом подтверждал лаконично:

— Похоже.

Но однажды вместо ответа Робинсон неожиданно услышал протяжный, глухой стон. Он резко обернулся: с белым как бумага лицом-маской Рид, сложившись пополам, корчился на полу. На скривившихся губах Джека застыла нестерпимая, острая боль.

Острые стальные клещи впились в поясницу, рвали, грызли внутренности, спутавшееся сознание не в силах было удержать тело от конвульсий.

Перепуганный Робинсон кинулся за врачом. Диагноз был неутешителен: серьезное заболевание почек. Болезнь, прятавшаяся десять лет, прорвалась нежданной грозной вспышкой.

Приступ постепенно ослаб, боли стихли. Густая красная пелена перед глазами прояснилась. Откуда-то появилось вначале неясное, потом определившееся встревоженное лицо Робинсона.

— Джек! Джек, что с тобой?

Рид слабо улыбнулся.

— Как будто бы все прошло… Помоги мне встать…

Пришел еще один врач — профессор из университета. Ловко помял поясницу сильными чуткими пальцами, сочувственно буркнул:

— Дело дрянь, юноша. Возвращайтесь поживее домой. Левую почку придется удалить, иначе вы не жилец.

Приступ больше не повторялся, и Рид, подобно всем людям, привыкшим считать себя здоровыми и относиться к болезням, как к выдумкам врачей, решил, что раз худшее миновало, дело как-нибудь обойдется.

Едва лишь встав на ноги — это произошло в конце мая, — Джек уговорил Робинсона ехать в Россию.

Дорога в таинственную страну Достоевского и Льва Толстого проходила через Румынию. Но русский посол в Бухаресте, как оказалось, был не полномочен решить вопрос о въезде в империю двух американских журналистов. Для этого, по его словам, требовалась санкция Петрограда.

Американский посланник тоже ничем не смог им помочь. Наоборот, он сам просил выяснить для него, что стало с группой американских граждан, проживающих на территории, занятой сейчас русскими войсками.

Рид и Робинсон рассудили, что запрос в Петроград по дипломатическим каналам — дело долгое, и решили проникнуть в Россию «с черного хода». С помощью начальника местной полиции, весьма чувствительного к виду зелененьких бумажек с — символическим изображением Соединенных Штатов Америки, они наняли плоскодонную лодку, и неразговорчивый лодочник глухой, безлунной ночью переправил их через пограничную реку. Мягко и беззвучно лодка ткнулась в глинистый берег. Цепляясь за прутья ивняка, Рид и Робинсон выкарабкались наверх — в Россию.

У первых русских солдат, которых увидели Рид и Робинсон, оказались раскосые черные глаза и оливковая кожа. Говорили они на странном, гортанном наречии. Это были туркмены.

В небольшом местечке, забитом военными, американцы случайно затесались в пьяную офицерскую компанию, где их угостили настойками семи сортов, не считая коньяка.

— Что вам нужно в России? — спросил журналистов какой-то офицер по-французски.

— Во-первых, побывать на фронте, — ответил Рид, — а во-вторых, узнать, что стало с несколькими американскими гражданами.

— Здесь вы ничего не добьетесь. Отправляйтесь в Тарнополь, к генералу, — посоветовал офицер, подливая Джеку одну из семи настоек.

Утром Рид и Робинсон выехали в Тарнополь. Так началось их путешествие по России, во время которого они пережили столько приключений, что их с избытком хватило бы Жюлю Верну на несколько романов.

Первый день пути их неторопливо тащил по одноколейной дороге старый, надсадно пыхтящий паровозик. В вагонах вместо привычных — прямо снаружи — дверей в купе было всего по два входа. Джек не знал, сколько здесь имелось мест для лежания, но не сомневался, что на самые верхние — третьи — полки, под потолком, билеты не продавали, хотя ни одна из них не пустовала. Курить можно было сколько угодно.

Какой-то солдат с изумительным проворством скрутил для Рида толстую сигарету из газетной бумаги и крупно нарезанного табака. Джек опасливо втянул густой сизый дым и закашлялся. Табак оказался невероятной крепости и своеобразного вкуса. Назывался он «махорка».

На остановках все обитатели вагона, захватив большие кружки и жестяные чайники, кидались за кипятком и потом до следующей станции почти непрерывно пили обжигающе горячий чай. Сахар в кружки не клали, а откусывали по маленькому кусочку.

Почти все время в вагоне кто-нибудь пел. Риду понравились проникновенные и грустные русские мелодии. Две песни произвели на него такое сильное впечатление, что он попросил перевести ему слова и записал их.

Первая песня начиналась так:

Последний нонешний денечек гуляю с вами я, друзья…

Вторая:

Помню, я еще молодушкой была…

Впоследствии тексты обеих песен Рид привел в своей книге. Появление американцев привело в смятение всех военных чинов в Тарнополе.

— Как, — спросили их, — разве вы не знаете, что корреспондентам не дозволено появляться в Буковине и Галиции ни в коем случае?

— Но мы уже здесь, — пожал плечами Рид.

— Нет, нет! Немедленно уезжайте! Сейчас идет отступление, и вам никак нельзя оставаться в городе. Вы хотите на фронт? Это и подавно запрещено.

Правда, пропуска до Львова им все же дали.

По дороге во Львов Рид много беседовал со случайными попутчиками: офицерами, солдатами, жителями, сорванными с родных мест войной. Постепенно перед ним, несмотря даже на трудности с языком, вырисовывалась выразительная картина разложения российского самодержавного государства. Он слышал десятки историй о полках, дошедших до передовой, но так и не получивших оружия, о снарядах, которые не подходили к орудиям, о предательстве немецких сановников при дворе, о пособничестве им самой «хозяйки земли русской» — Александры Федоровны.

Маленький злой поручик с белым крестиком на потертом мундире рассказал американцам удивительную историю о некоем идиоте генеральского звания, известном своей редкостной бездарностью еще с русско-японской войны.

Встретив полк, совершивший почти без отдыха пятидневный марш, этот военачальник абсолютно без всякого резона распорядился поднять солдат и отправить их в траншеи. «Генерал снова отправился спать, — записывал Джек рассказ офицера-фронтовика, — командиры уговаривали, оправдывались, угрожали солдатам. Ужасно было слышать, как солдаты просили есть и спать. И вот колонна закачалась к передовым позициям… Полк занял окопы в десять часов утра и весь день пробыл под огнем. Походные кухни не могли к нему пробраться. Люди шатались, словно пьяные, и засыпали в то время, как по ним стреляли. Из восьми тысяч вернулись только две, но и из них тысяча двести человек легли в лазарет… Быть может, самым потрясающим во всей этой истории было то, что в распоряжении генерала имелось несколько свежих полков».

Другой офицер рассказал Риду о совершенно невероятном случае воровства.

— Дело было так. В 1905 году наше правительство купило у французов несколько батарей 75-миллиметровых орудий. Пушки проследовали через границу честь честью — и пропали! Растворились бесследно! Никто и никогда их так больше и не видывал.

Через некоторое время французский военный атташе в Бразилии вдруг обнаружил, что в тамошней армии появились невесть откуда орудия фирмы «Крезо». А между тем Франция никогда орудий Бразилии не продавала. Атташе сумел записать номера нескольких стволов и сообщил в Париж.

И что бы вы думали? Там установили по номерам, что пушечки те самые, что купили русские!

Джек явственно ощутил, что его способность удивляться после этого рассказа заметно снизилась.

Порой Рид впадал в отчаяние, что никогда не сможет разобраться в том, что представляет собою эта огромная загадочная страна, непохожая ни на одну другую в мире. Беда эта усугублялась необычайной трудностью красивого, звучного, но абсолютно не поддающегося изучению — по его первому впечатлению — русского языка.

Однажды Рид разговорился (по-французски!) с молодым интеллигентного вида солдатом. Его погоны были обшиты красно-бело-синим витым шнурком (цветов русского флага). Рид спросил, что означает этот шнурок.

— То, что я волонтер, вступил в армию добровольно.

— А как будет «волонтер» по-русски? — спросил Джек.

— Вольноопределяющийся, — ответил юноша.

Рид записал это слово в английской транскрипции так: «volnoopredielyayoustchemusia», после чего окончательно потерял всякую надежду овладеть когда-либо русским языком.

Прибыв во Львов, Рид и Робинсон отправились во дворец генерал-губернатора Галиции князя Бобринского.

Их принял какой-то полковник, взял паспорта, сказал «сейчас» и ушел. В результате Рид узнал, что русское слово «сейчас» может означать несколько минут, неделю и даже никогда. В данном случае оно означало четыре часа. Потеряв в конце концов терпение, Рид и Робинсон отправились разыскивать полковника в бесконечных комнатах старинного польского дворца. Увидев их, полковник страшно удивился, что они еще не ушли.

Все же от него удалось узнать, что генерал-губернатор тоже не правомочен дать им какие-либо пропуска.

— Но кто же в России может это сделать? — вскричал Рид.

— Только его императорское высочество великий князь

Николай Николаевич в Петрограде или главнокомандующий войсками юго-западного фронта генерал Иванов в Холме.

Проклиная свою незавидную судьбу, Рид и Робинсон снова отправились на вокзал.

Претерпев множество мытарств (в том числе арест в Ровно), Рид и Робинсон добрались до Холма, где располагался штаб генерала Иванова. Было уже поздно, и они отправились разыскивать гостиницу «Бристоль», так как по длительному опыту уже знали, что гостиница с таким названием непременно должна существовать в любом городе и городке на всем Европейском континенте. Увы, «Бристоль» в Холме разделила участь всех других «Бристолей» — пришла к полному упадку.

Лучшим и единственным отелем города была невзрачная трехэтажная постройка с гордой вывеской — «Английская гостиница». Как потом выяснил Рид, ни один англичанин отродясь не заезжал в Холм.

Утром за американцами пришел офицер с бритой наголо головой и пригласил их пройти с ним в штаб. Он сказал, что четыре человека слышали, как они разговаривали по-немецки, и донесли, что в Холм проникли шпионы. Рид и Робинсон расхохотались: они еще не знали, что такое в России донос!..

В штабе их встретил вежливый офицер, отлично говоривший по-французски. Они показали ему свои паспорта и объяснили, что приехали в Холм для того, чтобы испросить у генерала Иванова разрешения посетить фронт.

Глядя куда-то мимо, офицер сказал Риду и Робинсону, что сначала он должен телеграфировать великому князю (это «простая формальность…»). Ответ придет через два-три часа! Пока же он рекомендует им подождать в гостинице.

Рид и Робинсон вернулись в свой малюсенький затхлый номер с двумя оконцами под самой крышей. Они ждали целый день, но к ним никто не пришел. На следующее утро снова явился бритый офицер и сообщил, что великий князь еще не ответил, но, без сомнения, ответит в течение дня или завтра. Пока же ему приказано затребовать у них обоих документы.

— Значит, мы арестованы?

— Нет. Но, господа, Холм — важный военный объект… — Тут офицер окончательно запутался в невразумительных фразах и поспешил ретироваться.

Через пятнадцать минут у входа в номер мрачно застыли три казака, не спуская с американцев подозрительных взоров.

Рид и Робинсон написали Иванову негодующую записку. В полночь к ним пришел полковник из штаба, извинился и

переместил казаков вниз на лестницу.

Американцы потребовали объяснить, в чем их вина.

— Прежде всего, — сказал полковник, — вы приехали без необходимых пропусков.

— Ну, ведь нам были выданы пропуска во Львове князем Бобринским, — удивился Рид.

Полковник пожал плечами.

— Это не те пропуска. Затем, — продолжал полковник, — вам стало известно, что в Холме находится ставка генерала Иванова, а это военная тайна.

Тут уже не выдержал Робинсон:

— Но об этом знают буквально все в Галиции, потому нам и рекомендовали ехать сюда! Это очень странная военная тайна!

В конце концов полковник намекнул, что в штабе считают очень подозрительным список имен, обнаруженных в бумагах американцев.

Посоветовавшись друг с другом, Рид и Робинсон заявили, что они отправят телеграммы американскому и английскому послам.

Их заключение длилось шестнадцать дней! Шестнадцать убийственно однообразных, тоскливых, впустую пропавших дней. Только благодаря врожденному оптимизму Рид и Робинсон спокойно проспали шестнадцать ночей, не портя себе настроения мыслями о том, что их могут отдать под суд как шпионов и повесить.

Целыми днями они по очереди читали единственную оказавшуюся в номере книгу — русско-французский словарь, распевали непристойные песни и сочиняли ядовитые послания царю, Думе, Государственному совету, великому князю и генералу Иванову. Казак ежедневно относил эти послания в штаб. Кроме того, они до одурения играли в бридж с «болваном» вместо третьего игрока, в результате чего Рида до конца его дней воротило от вида карт. По шесть раз в день хозяин приносил им самовар.

К концу восьмых суток Робинсон стал рисовать. Как всемогущий джинн из арабских сказок, он взялся осуществить любое желание Рида. Вначале он нарисовал для Джека автомобиль, потом яхту, потом городской дом, потом роскошную загородную виллу. Так продолжалось до тех пор, пока Риду не стало совестно владеть таким количеством движимого и недвижимого имущества.

Поскольку Рид отказался больше принимать его щедрые дары, Робинсон стал рисовать чубатых казаков, офицеров, хозяина гостиницы, прохожих под окнами. Некоторые из этих рисунков, поразительно острых и точных, вошли впоследствии в

книгу, которую Рид написал по возвращении в Америку.

По вечерам, когда казак отлучался, чтобы перехватить стаканчик-другой, Рид вылезал из окна на покатую железную крышу и наблюдал за жизнью городка.

Отсюда были видны длинные унылые здания солдатских казарм, восемь церквей и утопающий в зелени монастырь. Напротив, через улицу, помещались еврейская синагога и хедер, откуда непрерывно доносилось заунывное гудение детских голосов.

Ежедневно перед глазами Рида и Робинсона разыгрывалась трагедия евреев в России. Внизу, под окнами, расстилался отвратительный грязный двор, полный отбросов. На него выходили два покосившихся, облупленных дома, заселенных в невыразимой тесноте еврейской беднотой. Высокий забор отделял двор от улицы. Большие ворота запирались на мощный засов. Двери и нижние окна домов всегда были прикрыты деревянными ставнями. Это делалось для защиты от погромов. Джек записал в своем блокноте несколько грустных фраз: «Тесен мир, где только и разрешено жить евреям в России. Тяжко дышится евреям в черте оседлости».

На семнадцатый день их заключения снова явился полковник и объявил, что американцы могут или вернуться обратно в Бухарест, или ехать в Петроград (Рид и Робинсон, несмотря ни на что, не утратили желания побывать на русском фронте и выбрали Петроград), где, и только где, им могли дать необходимое разрешение.

На всем пути следования американцев сопровождали какие-то пронырливые личности с колючими глазами. На каждой большой станции в купе заглядывал под случайным предлогом жандармский офицер. В конце концов Рид начал первым приветствовать очередную голубую шинель веселыми возгласами:

— Мы тут, мы тут, не волнуйтесь, пожалуйста!

Жандармы сконфуженно покашливали.

Минуло два томительных дня, и Рид, миновав большую, заставленную извозчичьими пролетками площадь, оказался на одной из красивейших улиц, которые ему приходилось видеть.

Под фонарем углового дома он медленно по складам прочитал название: «Невский проспект».

Петроград, так по-русски стала называться столица Российской империи после вступления в войну с Германией, ошеломил Рида. Как очарованный, он часами бродил по гранитным набережным Невы, когда в призрачном свечении белых ночей город казался фантастическим видением. Его

поразили прямые как стрела проспекты и улицы, величественные площади неслыханной для экономной Европы ширины, тянущиеся на целую милю прекрасные архитектурные ансамбли. Такой город, восставший на унылых и диких болотах, как по мановению волшебного жезла, мог себе позволить только великий народ. Рид знал и другое — это мановение железной петровской десницы стоило жизни десяткам тысяч безыменных русских крепостных…

Первой заботой американцев в Петрограде было урегулирование их отношений с властями, ибо они уже убедились, что с последними шутки плохи. Джек резонно рассудил, что по крайней мере один человек в Петрограде должен ему помочь — посол Соединенных Штатов Америки. Но тот, увы, оказалось, принадлежал как раз к той категории людей, которая считает оказание помощи ближнему (то есть нарушение привычного течения жизни) помехой своим прямым служебным обязанностям. Почему-то ряды государственных служащих всех цивилизованных стран пополняются именно из их числа.

Господин Джордж Мари, посол США, маленький человек с седыми усами и бесцветными, невыразительными глазами за стеклами очков, оканчивал свой завтрак, когда его покой был нарушен вторжением высокого молодого человека. По некоторым признакам посол безошибочно определил в нем, во-первых, соотечественника, во-вторых, журналиста. И то и другое означало, как валет в гадании на картах, хлопоты и, следовательно, неприятности. Аккуратно вытерев губы салфеткой (он ел яйцо всмятку), посол сухо ответил на приветствие.

Рид представился, объясняя причину, которая привела его в столь сравнительно ранний час в зал ресторана отеля «Астория», где, как ему сообщили, господин посол имеет обыкновение завтракать.

Посол безучастно выслушал его и как-то не очень убедительно сказал:

— Рад вас видеть в Петрограде, мистер Рид.

Потом добавил уже окрепнувшим голосом:

— И позволю дать вам совет: покиньте Россию в самый короткий срок.

— Но почему? — Рид был более чем изумлен.

— Министерство иностранных дел информировало меня, что вы очень, очень беспокойная особа. Вы въехали в Россию с фальшивым паспортом, проникли без разрешения в военную зону, имели при себе письма к еврейским революционерам.

Рид был ошарашен, но все-таки попытался что-то объяснить.

— Но мой паспорт изготовлен в Вашингтоне, в чем вы легко

можете убедиться. Писем ни к каким еврейским революционерам у меня не было в помине. Видимо, речь идет о списке американских граждан, который мне передал ваш коллега в Бухаресте. В этом вы тоже можете легко убедиться. Что же касается разрешения посетить фронт, это именно то, за чем я обращался ко всем властям, с которыми имел дело.

Вся эта речь с таким же успехом могла быть адресована египетской мумии. Безучастно выждав, когда Рид окончит, посол все тем же ровным, дистиллированным голосом сказал.

— Кроме того, ходят слухи, что вы стреляли по французским траншеям. Еще раз настоятельно рекомендую вам немедленно покинуть Россию.

На этом аудиенция закончилась. Утром следующего дня Джек отправился в американское посольство и был принят первым секретарем мистером Вильсоном. Господин секретарь сообщил Риду, что в ближайшее время Рида вышлют за пределы империи, и дал совет, прямо противоположный сделанному накануне послом:

— Посему ни в коем случае не выходите из своего отеля и не предпринимайте попыток уехать самостоятельно.

Положение становилось отчаянным. В довершение всего Рид и Робинсон довольно быстро и легко заметили, что за ними установлена слежка. Куда бы они ни шли, где бы ни были, их как тени сопровождали удивительно терпеливые личности, одетые под порядочных людей. Из факта их существования американцы вскоре сделали своеобразное развлечение. Например, они садились у открытого окна в номере отеля и направляли на дежурного филера две бутылки из-под пива Филер, думая, что за ним наблюдают в бинокль, начинал в панике метаться по асфальту. В другой раз, выйдя из гостиницы, Рид и Робинсон наняли дорогого лихача и велели ему гнать что есть сил. За первым же углом они остановились. В то же мгновение в них чуть не врезалась вылетевшая из-за поворота пролетка со шпиками.

Поскольку республиканцы не пожелали вступиться за них, друзья решили обратиться за помощью к монархистам. Робинсон, хотя и прожил в США восемнадцать лет, по паспорту, как родившийся в Канаде, считался британским подданным. Он отправился в посольство Великобритании в Петрограде и рассказал о сложившейся ситуации. Английский посол счел, что подобное обращение с подданными короля Георга оскорбляет гордость британского льва, и обещал немедленно заявить протест министру иностранных дел Сазонову.

Прошло несколько дней. Каждое утро Рид шел в ресторан «Астория» и говорил послу США одну и ту же фразу: «Что

намерен делать посол для защиты чести и интересов американских граждан?» Получив один и тот же ответ: «Как, вы еще не покинули Петроград?!» — Рид удалялся.

После третьего или четвертого визита господин Мари при виде Рида нервно дергался. В конце концов Джеку все это надоело, он наговорил послу уйму неприятных вещей и пообещал написать обо всей истории в американские газеты.

Несмотря на совет не оставлять стен отеля, Рид и Робинсон съездили на денек в Москву. После красавца Петрограда узкие, кривые улицы первопрестольной столицы не произвели на Рида особого впечатления, но циклопические стены Кремля, буйно прекрасный и неповторимый Василий Блаженный потрясли его воображение. Когда же он взглянул на непередаваемо своеобразную панораму Москвы с высоты Поклонной горы, с того самого места, на котором некогда стоял Наполеон, он почувствовал, как в груди его словно защемило. Матушка Москва ревниво сберегала какие-то непередаваемые, но очень важные черты национального духа. И Джек понял это, хотя, конечно, за малостью времени не смог во всем полностью разобраться.

Вернувшись в Петроград, американцы убедились, что надеяться на улучшение отношений с властями не приходится. И они решили бежать. В полицейском участке за тридцать пять рублей в их паспортах поставили штампы, дозволяющие выезд за границу. Потихоньку оставив гостиницу и сменив несколько извозчиков, Рид и Робинсон сели в поезд, следовавший в Бухарест.

Но утром в Вильно их разбудил стук в дверь купе. Вошел небесно-голубой жандармский офицер и, принося тысячу извинений, объявил, что он получил телеграмму из Петрограда, обязывающую его снять их с поезда и вернуть обратно.

В Петрограде Рида и Робинсона доставили прямо к шефу полиции. Не пригласив посетителей даже присесть, шеф зачитал им распоряжение великого князя Николая Николаевича: «С получением сего господину Вордмену Робинсону, британскому подданному, и господину Джону Риду, американскому гражданину, предписывается в двадцать четыре часа выехать из Петрограда во Владивосток. В противном случае они будут преданы военно-полевому суду и строго наказаны».

Прямо из департамента полиции Рид и Робинсон бросились к своим послам. Положение их и в самом деле было отчаянным: во-первых, в ближайшие двадцать четыре часа не было ни одного поезда на Владивосток; во-вторых, у них попросту не хватило бы денег на столь долгую дорогу.

Господин Мари хотя и принял Рида, но отказался ему чем-

либо помочь. Посол Великобритании, к счастью, не счел за труд немедленно отправиться в министерство иностранных дел и заявить энергичный протест. Он сказал Сазонову, что оба высылаемых — очень авторитетные лица в американской печати и произвол по отношению к ним может вызвать крайне нежелательную для русского правительства реакцию американских газет и, следовательно, общественного мнения. Это, видимо, произвело впечатление, и Сазонов убедил августейшего самодура отменить свое распоряжение.

Риду и Робинсону разрешили уехать в Бухарест. На границе, однако, им поднесли последний сюрприз: их раздели почти догола и тщательно обыскали. В результате Джек лишился многих своих записей, а Бордмен — рисунков. Царские власти, верные своей непроходимой тупости, могли сделать врагом самодержавия любого честного человека. В случае с Ридом и Робинсоном они справились с этой задачей успешно. Великий князь Николай Николаевич и сам император Николай II могли теперь быть твердо уверены, что книга, которой в скором будущем предстоит увидеть свет в США, не вызовет у читателей большой симпатии к российской державе.

Как только путешественники добрались до отеля в Бухаресте, они с головой ушли в работу, пока не остыли и побледнели русские впечатления.

Рид не брался глубоко анализировать характер русского народа, его думы и чаяния, быт и нравы. Он понимал, что трехнедельного (не считая шестнадцати дней отсидки в Холме) пребывания в столь огромной и сложной стране слишком мало для этого. В том, что написал Рид о России после своей первой поездки в эту страну, много наивного, смешного. Подчас его внимание, как иностранца, слишком задерживалось на поверхностных, экзотических сторонах русской жизни. Он написал, например, о Петрограде такие строки: «Дома там всегда открыты, и люди постоянно, в любое время дня и ночи, навещают друг друга. Еда, чай, беседы текут нескончаемо… Там совершенно нет определенного времени для пробуждения и сна и для обеда, так же как нет раз и навсегда установленного способа убивать или любить». Самое главное, что Рид успел все-таки увидеть в России великий народ, великую культуру и навсегда полюбил эту страну. И не только полюбил — многое в России привело его в искренний восторг.

«Русская фантазия, — писал он, — самая живая, русская жизнь — самая свободная, русское искусство — самое великолепное, русская еда и питье, на мой вкус, — самые лучшие, а сами русские, возможно, самые интересные существа на свете».

Но Рид не только восторгался. Он разглядел в России непримиримую борьбу пролетариата с самодержавием, ужасающую эксплуатацию рабочих и крестьян, угнетение малых наций, алчность буржуазии, продажность и разложение государственного аппарата. «Царское правительство — бюрократия — не внушает массам доверия. Это как бы отдельная нация, навязанная русскому народу».

Джек успел познакомиться с революционными традициями «русского пролетариата и не забыл отметить тридцатитысячную стачку путиловских рабочих. Он чувствовал ненависть народа к царизму, но еще не мог ответить уверенно на свой собственный вопрос: «Бушует ли в недрах России могучий разрушительный огонь, или это пламя погашено?»

Пока Рид стучал на машинке, Робинсон в той же комнате делал рисунки. Время от времени они устраивали перерыв и придирчиво экзаменовали друг друга.

— Это происходило не так, — иногда говорил Бордмен.

— Ну и что же? — защищался Джек и, хватая первый попавшийся рисунок, торжествующе тыкал в него пальцем: — А сам что делаешь? Разве у этой женщины были такие большие груди? Они у нее гораздо меньше!

Теперь уже оборонялся Робинсон:

— Меня не интересует фотографическое сходство, я хочу правильно передать впечатление!

Рид ликовал;

— Вот именно! И я стараюсь делать то же самое!

За сим следовало примирение, и они снова погружались в работу, пока не слипались от усталости глаза.

В Бухаресте Рид познакомился с молодым служащим Румыно-американской нефтяной компании — замаскированного филиала «Стандард ойл». Фрэнк был стопроцентным американцем, юным, свежим, самоуверенным и здоровым. Он собирался уехать в Англию, чтобы вступить в армию.

— Зачем? — удивленно спросил Джек.

— Я иначе не могу! — с жаром заговорил Фрэнк. — Я считаю нарушение нейтралитета Бельгии гнуснейшей подлостью! Это позор! Англия сражается за права малых наций, и только трус может остаться в стороне от схватки.

Джек был просто потрясен, до чего эффективно подействовало на молодого человека чрезмерно усердное чтение газет.

Через несколько дней Джек снова встретил земляка — на вокзале. Фрэнк совал в руки плачущей девушке-румынке несколько смятых кредиток и явно спешил поскорее от нее

избавиться. Он девять месяцев жил с этой девушкой, как с женой («ходить по проституткам — опасно»), кормил ее и одевал, как кормил бы кошку или собаку, и все это время считал существом низшего сорта, обычной постельной принадлежностью.

Под впечатлением этих двух встреч с соотечественником Рид написал коротенький рассказ, всего в несколько страничек, — «Права малых наций».

В Бухаресте пути друзей должны были разминуться. Рид собирался съездить в Турцию, куда Робинсону, как британскому подданному, ход был закрыт.

Константинополь встретил Рида ослепительно палящим солнцем, гомоном многоязыкой толпы, пронзительными выкриками уличных торговцев, лаем и визгом бесчисленного множества бродячих собак, почитавшихся в Турции как священные животные.

Едва Джек вышел с вокзала, как на него накинулась крикливая ватага носильщиков самого разбойничьего вида. Они бесцеремонно хватали его чемоданы, тянули за рукава, во все горло понося соперников. Махнув рукой на все, Джек положился на самого энергичного зазывалу, который и доставил его в отель.

Утром портье почтительно обратился к Риду:

— Экселенц, тайная полиция спрашивала о вас. Не желаете ли указать, какие сведения ей дать?

Турецкие власти отнеслись к Джеку с гораздо большей любезностью, чем русские, но попытка добиться от них разрешения для поездки на фронт окончилась столь же безуспешно.

Две недели подряд чиновники различных ведомств с церемонной восточной вежливостью переадресовывали Рида из военного министерства в министерство иностранных дел, из министерства иностранных дел в бюро прессы, из бюро прессы в департамент полиции, из департамента полиции снова в военное министерство. И всюду ему задавали тысячу хитроумных вопросов и просили представить тысячу различных документов.

Кончилось все тем, что без объяснения причин Риду предложили немедленно покинуть Великую Порту.

На границе с Болгарией Рида высадили из поезда: болгарские пограничники нашли, что у него не в порядке паспорт, и потребовали, чтобы он вернулся в Константинополь.

Это уже было слишком!

Рид выждал на перроне, пока поезд не тронулся, и вспрыгнул на ходу на подножку последнего вагона. Всю ночь до Софии он ехал «зайцем», используя богатейший опыт американских «хобо» — неунывающих поездных бродяг. Он прятался от кондукторов в

туалетах, отсиживался в тамбурах и на крышах вагонов.

В Софии Рид снова встретился с Робинсоном, и они оба стали свидетелями того, как царь и немецкая дипломатия втянули Болгарию в войну на стороне центральных держав. Семь из тринадцати политических партий страны, представляющих большинство населения, требовали созыва парламента. Но царь и правительство одним росчерком пера превратили нацию в армию и ввергли ее в истребительное братоубийство.

Оставаться в Софии было невозможно. Рид и Робинсон уехали в Сербию, оттуда — в Салоники, из Салоник — в Италию и там, наконец, сели на первый же пароход, следующий в Соединенные Штаты.

Поездка по Восточной Европе вместо намеченных трех месяцев затянулась на семь. По иронии судьбы Рид не стал свидетелем ни одного из тех событий, ради описания которых его командировали. Но не жалел об этом. Лично ему не нужно было ни вступление Италии в войну, ни сражение за Дарданеллы, ни наступление русской армии. Все, что он увидел на Востоке, лишь подтвердило вывод, к которому Рид пришел еще на Западе: «Это не наша война».

ПОЧТИ ТРИДЦАТЬ

Работа для «Метрополитен» имела одно большое достоинство, она хорошо оплачивалась. В Нью-Йорке Рид получил сразу столько денег, сколько он не держал в руках за всю свою жизнь — ни до, ни после.

Первым делом он послал несколько сот долларов в Портленд. Наследство после смерти отца было к этому времени опутано многочисленными долгами, и мать еле-еле сводила концы с концами. Джек и сам собирался поехать в Портленд, но сначала он должен был закончить многочисленные очерки и статьи.

В Нью-Йорке он быстро почувствовал, что за эти семь месяцев милитаризм и шовинизм расцвели пышным цветом, что Америка еще на несколько шагов продвинулась к войне.

Однажды, выгадав свободный вечер, Джон выступил с лекцией в Гарвардском клубе. По крайней мере половину присутствовавших он знал лично еще по университету и рассчитывал поэтому если не на полное понимание, то хотя бы на теплый прием.

Лишь только Рид стал с жаром рассказывать о подлинном лице войны, о страданиях народов, как сразу уловил сарказм и настороженность. Он почувствовал, как в нем просыпается паев, и, чтобы расшевелить этих самоуверенных снобов, проткнуть их толстую шкуру, стал выкладывать всю правду о войне, описывать ужас сражений, стоны раненых, смрад незахороненных трупов. Все его усилия были напрасны. На лицах слушателей не

отразилось никакого доброго чувства — только скука, скептицизм, ирония.

Рид ушел из клуба расстроенный и злой.

Через несколько дней жизнь устроила Риду один из тех непостижимых номеров, на которые она великая мастерица: ему предложили выступить перед заключенными знаменитой нью-йоркской тюрьмы Синг-Синг.

В первую секунду Джон растерялся, когда при его явлении на трибуне несколько сот человек, как на пружинах, вскочили со своих мест. В глазах замелькало от полосатых курток. Потом по чьей-то команде все так же внезапно сели, словно упали на отполированные до блеска, грубые деревянные скамьи. В зале было очень тихо, но со всех сторон чуть слышно доносились едва различимые странные звуки. Оправившись от смущения, Рид сообразил, что это клацают при малейшем движении тела ножные кандалы.

Несмотря на всю необычность обстановки, Джон почувствовал себя гораздо увереннее, чем перед респектабельной аудиторией Гарварда. Он дружелюбно ухмыльнулся и весело сказал:

— Здорово, приятели!

Для начала Джон поделился впечатлениями о своем пока небольшом тюремном опыте, чем сразу завоевал полное доверие и расположение слушателей. Несколько рискованных шуток также были приняты с одобрением.

Потом он перешел к серьезным вещам и заговорил о войне, о борьбе рабочего класса за свою свободу, о стремлении народов к миру и счастью. Его слушали внимательно, не отводя глаз, не перебив ни одним словом. Через два часа, когда он кончил, его приветствовали овацией. А самые «закоренелые злодеи» в такт рукоплесканиям стучали о цементный пол тяжелыми чугунными ядрами, прикованными к их цепям.

Сразу же после этой необычной лекции Рид уехал на родину навестить мать и брата.

Когда минула радость первых дней встречи с родными, Джон затосковал. Привыкнув к высокому ритму жизни, непрерывной смене впечатлений, неожиданно и быстро меняющимся ситуациям, он почувствовал себя не на месте в тихом, провинциальном Портленде. Когда мать смотрела на него лучащимися от счастья глазами, его сердце переворачивалось в груди от любви.

Противоречивые чувства разрывали Рида. Он отдыхал под материнским кровом душой и телом, мучался от бездейственности, хотел подольше быть с родными и рвался к

работе, к гуще дел.

Так иногда бывает между близкими людьми за минуту до отхода поезда. Они тянутся друг к другу, вглядываясь последний раз в дорогие черты, и в то же время с нетерпением ждут, когда же, наконец, тревожный гудок паровоза оборвет эту тягостную от сознания неизбежности ее конца минуту.

5 декабря он написал обо всех этих переживаниях одному из нью-йоркских друзей. Но на другой день к тому же другу полетело вдогонку новое письмо, проникнутое диаметрально противоположным настроением. Оно заканчивалось следующими словами:

«Наконец-то я нашел ее! Это первый человек, которого я полюбил без остатка».

Что же произошло за сутки между написанием этих двух столь непохожих писем?

Ее звали Луиза Брайант-Труллингер. Она была красива, умна, талантлива и получила отличное образование в университетах Невады и Орегона. Некоторое время Луиза работала учительницей в разных городах, потом приехала в Портленд и вышла замуж за доктора Труллингера. Она хорошо рисовала, писала рассказы и грезила о далеких городах с их таинственной, необычайно привлекательной жизнью, мечтала о карьере художницы и журналистки. Она чувствовала, как в ней бродят, не находя выхода, какие-то смутные порывы и стремления, но не видела, куда бы приложить свою энергию. В тихом, старомодном Портленде она ощущала себя птицей, попавшей в силки.

Семья, муж, как она скоро убедилась, не смогли заполнить ее жизнь, погасить внутреннюю неудовлетворенность.

Луиза впервые увидела Рида еще летом 1914 года, когда он приезжал в Портленд после Мексики, и с тех пор не пропускала в печати ни одной его даже самой маленькой корреспонденции. Еще не знакомый, он уже стал ее кумиром. Из-за него она стала читать не только «Метрополитен», но и «Мэссиз» и обнаружила вскоре, что направление этого журнала как нельзя больше соответствует ее собственным взглядам. Она даже послала в «Мэссиз» несколько своих рисунков и заметок и получила из редакции теплый, дружественный ответ.

У нее были в Портленде общие друзья с Ридом — Карл и Элен Уолтерсы. Когда в декабре 1915 года они устроили скромный обед в честь очередного приезда Джона, Луиза оказалась его соседкой за столом. После обеда Рид проводил ее и зашел, чтобы посмотреть ее работы.

Джон и Луиза влюбились друг в друга с первой встречи.

Любовь с первого взгляда не признает никаких условностей,

так как безусловна по самой своей природе. Джон и Луиза стали возлюбленными, как только поняли, что это неизбежно.

Рид вернулся в Нью-Йорк. Через несколько дней она приехала к нему и поселилась в его квартире на Вашингтон-сквер. Их «цыганская любовь» многих шокировала, она вызвала толки и пересуды, даже взрывы высокомерного негодования. Они же были счастливы.

Любовь не оторвала Рида ни от работы, ни от общества. Она не раздвоила его жизни, как это иногда бывает с мужчинами. Наоборот, внесла гармонию, вызвала прилив энергии и творческих сил.

В Нью-Йорке он сразу включился в раздиравшие общество споры о войне, причем в его взглядах произошел определенный сдвиг. Он уже не просто убеждал всех и вся, что «это не наша война», но высказывал соображения, от которых покачивали растерянно головой даже наиболее радикально мыслящие его друзья.

На одном из собраний он обрушился на Теодора Рузвельта, проповедовавшего подготовку к войне, и заявил, что даже если какая-либо война и необходима, то гражданская, чтобы вырвать государственную власть в Соединенных Штатах из рук плутократов и передать ее народу.

К ужасу благонамеренных оппонентов, Рид громогласно заявил, что рабочие должны вооружиться.

— Вооруженная нация под властью класса капиталистов, — сказал он, — опасна. Но совсем другое дело вооруженная нация, когда власть у рабочих.

Потом добавил, засмеявшись:

— Не кажется ли вам, что, если у рабочих будут ружья, их будут слушать с большим вниманием и уважением?

В самом начале 1916 года на первых полосах американских газет снова тревожно замелькало слово «Мексика». Провокационная политика Соединенных Штатов вызвала в Мексике волну антиамериканских выступлений. 10 января разъяренная толпа убила на улицах Мехико нескольких служащих ненавистной народу Американской горнопромышленной компании.

Как по команде, все реакционные газеты в США подняли оглушительный вой, требуя от Вашингтона немедленно начать интервенцию. Маски были сброшены. Волки заговорили по-волчьи.

«Калифорния и Техас тоже были когда-то частью Мексики, — писал Вильям Рандольф Херст. — То, что Соединенные Штаты уже сделали однажды в Калифорнии и Техасе, они должны

сделать по отношению ко всей территории, вплоть до южного побережья Панамского канала».

Вал военной истерии достиг своей кульминации в марте, когда отряды Вильи, взбешенного наглостью гринго, совершили отчаянный, бесполезный, в сущности, налет на Колумбус — американский город невдалеке от границы. Американские солдаты раньше не раз нападали на мексиканскую территорию, в пограничных районах США мексиканцев то и дело открыто убивали, и власти никогда не обращали внимания на подобные «мелочи».

Но стоило небольшому отряду вильистов напасть на Колумбус, как вся «большая печать» США стала кричать о мщении и справедливости.

Президент-демократ Вильсон, на которого Рид возлагал столько надежд, отдал приказ генералу Першингу вторгнуться в Мексику, захватить Вилью и уничтожить его войска.

Рид был одним из немногих американских журналистов, категорически выступивших против интервенции. Прежде всего он воспользовался тем, что к нему, как к человеку, побывавшему в Мексике и лично знающему Вилью, обратился один довольно известный газетчик с просьбой дать интервью. Их беседа была опубликована многими газетами во всех частях страны.

Рид снова повторил, как и два года назад, что война наложит несмываемое позорное пятно на Соединенные Штаты. Кроме того, он указал, во что она обойдется американскому народу. Каждый мексиканец выступит с оружием против ненавистных гринго. Даже женщины и дети. Мексиканцы мужественны и отважны, они обладают опытом партизанских боев, и вторжение будет стоить жизни тысячам американских солдат Во имя чего должна пролиться их кровь?

— Не собираетесь ли вы как корреспондент снова отправиться в Мексику, чтобы описать экспедицию Першинга? — спросили его.

Рид ответил не колеблясь:

— Если это случится, я опишу ее, находясь в отряде Вильи.

Вскоре после этого интервью Рид по неожиданному поводу снова попал в Синг-Синг. На этот раз он вместе с несколькими газетчиками должен был присутствовать при казни на электрическом стуле некоего Ганса Шмидта.

Исполнение смертного приговора происходило в небольшой комнате одного из внутренних помещений тюрьмы глубокой ночью.

Осужденный вел себя безучастно. По его потухшим, отсутствующим глазам сомнамбулы Рид понял, что долгие

месяцы ожидания смерти полностью подавили в этом человеке естественную тягу к сохранению жизни.

Неловко споткнувшись о приступок, Шмидт безучастно сел на совершенно домашнего вида деревянное кресло с высокой спинкой. Руки его привязали к подлокотникам, глаза завязали темным платком. Потом помощник палача укрепил на выбритой голове осужденного маленькую плоскую шапочку с электродами…

Все совершалось буднично и деловито Рид почувствовал, как к горлу подступила тошнота. Потом кто-то включил ток. Тело жертвы с огромной силой рванулось на ремнях и тотчас забилось судорожной дрожью. На посиневших губах казненного, но еще живого человека, пузырясь, кипела слюна…[14]

Выйдя из тюрьмы, Рид отправился в ближайший бар и впервые в жизни выпил залпом бутылку виски, даже не разбирая его вкуса.

Он был свидетелем тысячи смертей, неисчислимого множества страданий, но никогда не испытывал такого ужаса и физического отвращения, как при виде рассчитанного до мельчайших деталей спокойного убийства человека самым «цивилизованным» способом во имя правосудия.

Чтобы избавиться от страшной картины казни, не дававшей ему покоя ни днем, ни ночью, Джон ухватился за предложение журнала «Кольерс» отправиться во Флориду и взять интервью у бывшего государственного секретаря Брайана.

Рид и раньше бывал на Юге, но в этот раз он как-то особенно болезненно воспринял царившую там повсюду расовую сегрегацию, с проявлениями которой сталкивался на каждом шагу. Богатые бездельники, с которыми он ехал в одном купе, развлекались тем, что на остановках бросали в окна пятицентовые монеты. Им доставляло удовольствие смотреть, как голодные и оборванные негритянские ребятишки дрались в пыли из-за блестящих никелевых кружков. И всюду надписи: «Только для белых». «Я чувствую себя больным из-за всего этого. Я ненавижу Юг», — писал Джон Луизе.

После этой поездки Рид стал серьезно изучать положение негров в Америке. Он разговаривал со многими людьми, белыми и черными, читал специальные книги, собирал документы. Фактически Рид был первым американским исследователем, который к негритянской проблеме подошел с социалистических позиций.

Весной 1916 года снова дала о себе знать больная почка. Правда, приступы не были столь острыми, как тогда в Белграде, но все же Риду пришлось слечь. Тем не менее он продолжал

много работать: писал стихи, обдумывал роман и драму. В нем опять заговорила тяга к театру, и он даже вел переговоры с несколькими друзьями о массовом спектакле о рабочем классе вроде того, что он поставил в 1914 году.

Сотрудничество с «Метрополитен» давало Риду деньги на жизнь. Денег теперь ему требовалось много: визиты врачей съедали львиную долю его гонораров. И все же он не изменял «Мэссиз», не приносящему больших гонораров, но печатавшему то, что вряд ли пропустил бы на свои страницы любой другой журнал в Америке.

В апреле и мае «Мэссиз» опубликовал два рассказа Рида, написанных уже давно, но до сих пор не увидевших свет: «Капиталист» и «Ночь на Бродвее».

Однажды О'Генри написал грустную и смешную историю об упущенном счастье.

Каждый день в одно и то же время в городской парк приходила красивая девушка с задумчивым, печальным лицом. Она садилась на одну и ту же скамейку и раскрывала книжку. И каждый раз на скамейку напротив садился мешковатый, провинциального вида молодой человек и не спускал с нее глаз. Как-то, поборов робость, он решился заговорить с девушкой. Прекрасная незнакомка снисходительно позволила ему сесть рядом.

Она дочь миллионера и принадлежит к высшему обществу Нью-Йорка. Ей безумно надоела светская жизнь: все эти балы, приемы, премьеры, виллы, яхты. Она приезжает сюда в парк (быть может, молодой человек заметил у входа роскошный белый автомобиль с шофером?), чтобы отдохнуть от миллионеров среди обыкновенных людей.

Вскоре девушка поднимается: ей пора. Нет, нет, провожать ее не надо! Через несколько минут встает и молодой человек. Он выходит за ворота, садится в роскошный белый автомобиль и бросает шоферу только одну фразу: «В клуб, Анри».

Задумчивая девушка с книжкой работала на самом деле в универсальном магазине за восемнадцать долларов в неделю. В обеденный перерыв она приходила в парк и погружалась в мир своих грез. Игра в дочь миллионера стала ее второй, иллюзорной, жизнью. Настоящим миллионером был влюбленный в нее застенчивый молодой человек.

«Капиталист» Рида буквально повторяет рассказ О'Генри. Но комическую ситуацию Джон заполнил совсем другим содержанием — глубоко трагичным, социально гораздо более острым.

Герой ридовского рассказа Вильям Ренн туманной

ноябрьской ночью бродит по скверу.

С первого взгляда — это обыкновенный молодой человек, быть может, продавец в преуспевающем галантерейном магазине. Только внимательный взгляд мог обнаружить, что его высокий воротничок порядком обтрепан и довольно грязен и под пиджаком прикреплен к какой-то тряпке без рукавов, которую никак нельзя было назвать рубашкой. Если бы вы могли осмотреть подметки его начищенных до блеска ботинок, то увидели бы две зияющие дыры, из которых торчали промокшие насквозь носки.

В кармане Ренна позвякивали шестьдесят пять центов. Этого как раз должно было хватить на ночлежку и ужин. Молодой человек присел на скамью. Поперек ее сиденья были привинчены железные подлокотники, чтобы бродяги не могли устраиваться на ночлег.

На другой скамейке сидела пьяная старуха с испитым, высохшим лицом дошедшей до последней степени нищеты уличной женщины. Старуха услышала звон денег в кармане Ренна и подняла на него остекленевшие, выцветшие глаза.

«— Черт бы тебя подрал! — сказала она. — С чего это ты вздумал — ик! — звенеть деньгами под носом у… меня?

Вильям улыбнулся.

— Но позвольте, милейшая… — начал он с изысканной вежливостью.

— Я тебе дам — ик! — «милейшую»! — перебила старуха. — Я знаю вас… богатеев. Бьюсь об заклад, что тебе за всю жизнь не пришлось поработать ни одного дня, чтоб получить эти деньги. Отец оставил тебе наследство… Что, неправда? Знаю я вас… — она запнулась, подыскивая подходящее слово, — капиталистов!

Довольная улыбка расплылась по лицу Вильяма. Он самодовольно кивнул».

Жалкий оборванец безмерно обрадован, что в мире сыскалось существо, в чьих глазах даже он, в своих лохмотьях, капиталист! Это уже не смешно, а страшно!

Ренн упоен своим мифическим богатством настолько, что… отдает старухе всю наличность — несколько случайных для его кармана монет.

И в этот момент он чувствует себя подлинным капиталистом, потому что, несмотря на всю отчаянность своего положения, он живет идеалами и помыслами капиталистического общества. Бродяга с растленной эксплуататорским строем душой, он такой же необходимый элемент американской действительности, как и настоящий миллионер.

«И тут, помахивая дубинкой, к нему подошел упитанный,

закутанный в плащ полисмен.

— Проходи, — сказал он кратко. — Здесь сидеть не разрешается.

Вильям еще раз затянулся окурком и, не двигаясь с места, сказал дерзко:

— Послушайте, а вы знаете, кто я?

Полисмен окинул взглядом грязный воротничок, дешевую шляпу, стоптанные башмаки. Глаза полисмена видят лучше, чем глаза старух. Он нагнулся и всмотрелся в лицо Вильяма.

— Да, я знаю, кто ты такой, — сказал он. — Ты тот самый парень, которого я вчера два раза прогонял отсюда. Проходи, если не хочешь отведать дубинки!»

Еще три года назад «Капиталист» означал бы всего лишь очередной рассказ об униженных и оскорбленных. Но теперь уже жалость к обитателям «дна», не имевшим ни силы, чтобы вступить в борьбу, ни волчьей хватки, чтобы «выбиться в люди», не затуманивала Джеку видения мира. И рассказ приобрел совсем другое звучание: он взывал к мщению за поруганную человеческую личность, разоблачая миф об «американском образе жизни».

Весной 1916 года Риду стало ясно, что с его здоровьем шутки плохи. Болезнь почек усугублялась усталостью, накопившейся за два года странствий. Врачи советовали раньше, чем лечь на операцию, хорошенько отдохнуть, набраться сил.

Рид вспомнил о чудесных днях, проведенных им в свое время в Провинстауне, и решил снова отправиться туда. Океан всегда заражал его бодростью, здоровьем, хорошим настроением. В конце мая Джек и Луиза уехали на побережье и провели несколько чудесных дней, с утра и до вечера отдаваясь солнцу и волнам.

Но вскоре эту безмятежную идиллию нарушила телеграмма из Нью-Йорка. Начиналась кампания по выдвижению кандидатов в президенты, и «Метрополитен» хотел, чтобы Рид написал корреспонденцию с национальных конференций основных политических партий. Арт Юнг должен был сделать к ним иллюстрации. К просьбе «Метрополитена» присоединился и «Мэссиз». Предложение «повариться» в самых недрах главных политических кухонь страны было слишком соблазнительным, чтобы Рид мог от него отказаться.

Умоляющим голосом он заверил Луизу, что обернется за каких-нибудь несколько дней, что будет вести праведный образ жизни и соблюдать диету, и ринулся в штормовое море страстей, называемое в Соединенных Штатах предвыборной кампанией.

С конференций республиканцев и демократов Рид дал хорошие, но ничем особенно не примечательные очерки. Симпатии его склонялись к демократам. Их политическая программа его, как социалиста, конечно, не привлекала. Но кандидат демократов Вильсон шел под демагогическим лозунгом: «Он удержал нас от войны!» Рид еще сохранял иллюзии, что Вильсон в случае переизбрания будет придерживаться этого лозунга и последующие четыре года.

Но съезд Прогрессивной партии в Чикаго дал Риду пищу для одного из самых блестящих и гневных его очерков, безжалостно разоблачающих самое существо американской избирательной системы, коррупцию и подлость закулисных политиканов, фарисейство и лживость заклятых реакционеров. Рид назвал очерк весьма недвусмысленно: «Рузвельт их продал».

Дело обстояло так. В годы своего пребывания у власти Рузвельт, будучи одним из самых реакционных президентов в истории США, искусной социальной демагогией умудрился снискать себе в некоторых кругах славу друга бедняков, воплощения демократии, справедливости и честности.

В 1912 году руководство партии выдвинуло кандидатом в президенты Вильяма Тафта. Тогда многие рядовые республиканцы, верившие Рузвельту и недовольные решением конференции, образовали так называемую Прогрессивную партию. Теперь прогрессисты, надеявшиеся, что Рузвельт осуществит их чаяния на реформы, выдвинули его кандидатуру. В Рузвельта верили наивные и политически отсталые люди, но они были за мир, а не за войну, за реформы, за лучшую жизнь, за демократию. Это были люди из больших и маленьких городов, из деревень, с ферм и ранчо. Почти религиозная любовь к «Тедди» наполняла их сердца. Собравшись в гигантском зале чикагского «Аудиториума», они пели с энтузиазмом: «Вперед, воин Христа!» и «Мы пойдем за Тедди!».

Рид смотрел на делегатов конференции и недоумевал: как могли социалисты позволить самым циничным социальным демагогам в стране так расчетливо и нагло обманывать тысячи простых людей! Ему было достаточно один раз взглянуть на лидеров прогрессистов, чтобы дать им точную, беспощадную оценку. Это были «зловещие фигуры, боровшиеся не на жизнь, а на смерть с народом… В сердцах этих скрытных и холодных людей не было ни единой искры энтузиазма, никакой симпатии к делу демократии».

Риду было по-настоящему больно за обманутых и обманываемых. Больше того, он чувствовал свою вину перед ними, свою ответственность за них.

«Они не были революционерами, — писал Джек в своем очерке. — Большей частью это были люди недальновидные, — обычные, простые люди, огрубевшие от гнева и жестокой несправедливости, с которыми они постоянно сталкивались. Без вождя, который мог бы выразить их мысли, они были бессильны. Мы — социалисты и революционеры — издевались над прогрессистами и высмеивали их. Мы вышучивали их преклонение перед личностью. Мы потешались, когда они истерически распевали свои гимны обновления, но, когда я увидел съезд Прогрессивной партии, я понял, что в этих делегатах воплощена надежда страны на мирную эволюцию, что они — материал, из которого создаются народные герои».

У самого Рида было вполне сложившееся мнение об идоле этой толпы и былом кумире собственного отца. Он вспомнил, что, когда Рузвельта-президента просили в свое время выступить в защиту буров, он ответил с ледяным спокойствием: «Нет, более слабые нации должны уступать место более сильным, даже если им придется исчезнуть с лица земли».

Рид не обманывался в характере патриотизма Рузвельта, точно так же как не обманывались в последнем пушечные короли и финансовые магнаты. Экс-президент заверял народ, что никогда не покинет его и будет всегда отстаивать социальную справедливость Но «стоило военной касте нашей страны настроить его соответствующим образом, стоило фабрикантам оружия и агрессивно настроенным финансистам устроить в честь полковника обед, стоило хищникам-плутократам, с которыми он так славно сражался в прошлом, дать ему понять, что его кандидатура на пост президента Соединенных Штатов будет поддержана, как «наш Тедди» выступил в защиту слабых наций за границей и за подавление их на родине; за уничтожение прусского милитаризма и поощрение милитаризма американского; за либерализм во всех его проявлениях, включая финансирование России англо-американским займом, и за консерватизм финансировавших этот заем джентльменов».

Рузвельт продал прогрессистов. Он отказался в последний момент быть их кандидатом в президенты, занял свою прежнюю позицию открытого апологета империализма и вернулся к тем, с кем ему было единственно хорошо, — к плутократам-хищникам. Рид не был удивлен. Фабриканты и финансисты тоже. Но простые люди, собравшиеся в чикагском «Аудиториуме», плакали…

Во время этой поездки Рид познакомился с автомобильным королем Америки Генри Фордом и по его приглашению посетил Детройт. Заводы Форда, по тем временам едва ли не лучшие в мире промышленные предприятия, потрясли Рида.

Величественное зрелище главного конвейера, с которого ежеминутно сходил готовый автомобиль, громадные масштабы всего производства в целом произвели на журналиста огромное впечатление. Ему понравился и сам Форд с его неиссякаемой энергией, огромным организаторским талантом и сочным народным юмором. Старый Генри в его поношенном костюме и с натруженными руками внешне ничем не отличался от своих кадровых рабочих. Со многими из них он был даже на «ты» (они с ним — тоже).

На какое-то мгновение Рид даже представил себе утопическую картину построения социалистического общества с помощью таких капиталистов, как Форд. Потребовалось известное усилие, чтобы избавиться от того очарования, которым Форд подчинял себе, увы, многих даже не так романтично, как Джек, настроенных людей.

Остаток лета и сентябрь Рид и Луиза провели в Провинстауне. Это была самая счастливая пора их совместной жизни. Две страсти совершенно заполняли все их время — океан и театр. Первую обусловливало само географическое местоположение городка. Вторую — собравшееся в нем общество. Сюда съехалась на купальный сезон удивительно веселая и талантливая компания — писатели, артисты, художники. Самым интересным среди них был Юджин О'Нейл — бывший моряк, торговец в Южной Америке и репортер, теперь уверенно шедший к лаврам лучшего драматурга в Штатах.

В то лето в Провинстауне все повально писали пьесы. Эпидемия не обошла стороной и Джека с Луизой. Компания не только писала, но и ставила спектакли. Некоторые из этих постановок оказались прелюбопытными.

Хорошее настроение Рида подкрепили несколько хвалебных рецензий в различных газетах, которые сопровождали выход в свет его книги «Война в Восточной Европе» с великолепными иллюстрациями Робинсона. Джон Дос-Пассос дал самую высокую оценку автору за великолепные описания событий, глубину суждений, наблюдательность и юмор. Другие рецензенты тоже хвалили «Войну в Восточной Европе» и в один голос удивлялись. почему Джон Рид, лучший военный журналист в стране, отклоняет все предложения, даже самые лестные, ехать в Мексику.

Но Рид не желал, наотрез отказывался играть позорную, по его мнению, роль летописца сомнительных подвигов солдат генерала Першинга. Чтобы раз и навсегда положить конец этим разговорам, он принял то единственное предложение, которое действительно его заинтересовало и даже вызвало искренний

энтузиазм: ехать в Китай. Тревожные события в этой стране уже давно привлекали внимание всех кругов американского общества.

В начале ноября Рид снова предоставил себя в распоряжение врачей. Обследование показало, что он вполне окреп для того, чтобы благополучно перенести операцию. У Рида было еще достаточно денег, чтобы воспользоваться услугами хорошего хирурга, и он решил оперироваться в знаменитой клинике Джона Гопкинса. Многие врачи этой больницы были, как и Джон, питомцами Гарвардского университета. С одним из них он в студенческие времена дружил.

К этому времени пришел развод от доктора Труллингера. Теперь уже ничто не мешало Джеку и Луизе официально зарегистрировать их брак, что они и не преминули сделать. Через несколько дней после этого события, скромно отпразднованного в узком кругу ближайших друзей, Джек лег на операцию. 22 ноября ему удалили левую почку. Спустя три недели Рид чувствовал себя уже достаточно хорошо, чтобы вернуться домой.

В январе 1917 года «Метрополитен» известил подписчиков, что в ближайших номерах журнала они будут читать корреспонденции Джона Рида из Китая. Так бы оно и было, если бы события не стали набирать скорость курьерского поезда. Существо их сводилось к одному: война настойчиво и требовательно стучала в двери Америки. Собственно говоря, США уже давно превратились в военный арсенал для государств Антанты и перестроили всю экономику на военный лад. Страна превратилась в самого крупного экспортера в мире: ее торговый баланс за три года войны в Европе вырос с 691 миллиона до 3 миллиардов долларов.

Американские займы золотой рекой потекли в европейские государства, и вскоре задолженность их США достигла фантастической цифры — почти 10 миллиардов долларов.

Как клещи, насосавшиеся крови, повсюду появлялись скороспелые богачи, нажившие состояние на военных поставках буквально за несколько месяцев. В течение четырех лет в стране появилось более 40 тысяч новых миллионеров!

Маска нейтралитета отлично помогала американским предпринимателям получать от войны баснословные прибыли. Люди, стоявшие у кормила власти, намерены были открыто вступить в войну только в самый последний момент, а тем временем их пропагандистский аппарат с иезуитской настойчивостью и последовательностью стал обрабатывать нацию. Открыто империалистические элементы делали все, чтобы разжечь шовинистический психоз.

Пиратские методы ведения войны, практиковавшиеся

Германией, играли им на руку.

7 мая 1915 года германская подводная лодка торпедировала у побережья Ирландии пассажирский трансатлантический лайнер «Лузитания». Погибло 1198 пассажиров, в том числе 128 американцев.

Трагедия «Лузитании» была использована для создания определенного общественного мнения в пользу милитаризации. Пацифистов травили, изгоняли из государственного аппарата и частных фирм.

Поклонники, разумеется, не бескорыстные, «большой армии и большого флота» создали Лигу национальной безопасности, которая развернула бешеную деятельность за скорейшую подготовку страны к «Дню готовности». Лигу поддерживали могущественные финансовые империи Морганов, Рокфеллеров, Дюпонов. Во всех крупных городах на их щедрые подачки лига устраивала грандиозные демонстрации и парады, посвященные «Дню готовности».

Один из таких парадов, который состоялся 22 июля 1916 года в Сан-Франциско, был использован для одной из самых грубых антирабочих провокаций за всю историю американского капитализма. Во время парада неизвестный провокатор взорвал бомбу. Девять человек были убиты на месте, сорок получили ранения.

Местный прокурор Чарльз Фикерт немедленно, без всякого расследования арестовал молодого Тома Муни, руководившего забастовкой рабочих автомобильной промышленности.

С помощью лжесвидетелей прокурор умудрился «доказать» виновность Муни и добился для него смертного приговора. Только всенародное возмущение заставило президента Вильсона заменить казнь пожизненным тюремным заключением[15]. Террор против рабочего движения был тесно связан с военной истерией — забастовщиков называли «плохими патриотами».

К 1917 году Атлантический океан, отделявший Америку от войны, стал уже Ла-Манша.

Англия и Франция были истощены. Их поражение означало бы безвозвратную потерю американских займов и колоссальное укрепление позиций Германии на мировой политической и экономической арене.

У монополии США было еще одно серьезное основание для беспокойства: в далекой России за несколько дней под революционным штормом рухнула прогнившая до основания трехсотлетняя империя Романовых. Возможный выход России из войны или даже ослабление действий на Восточном фронте грозили Антанте развалом.

Положение союзников казалось самым мрачным. Американский посол в Лондоне Уолтер Х. Пейдж прислал президенту отчаянную телеграмму:

«Быть может, наше вступление в войну — единственный способ сохранить наши нынешние выгодные торговые позиции и предотвратить панику»[16].

2 апреля президент Вильсон сбросил тогу миротворца и обратился к Конгрессу с посланием, в котором требовал объявить войну Германии. 4 апреля сенат, а 6-го палата представителей подавляющим большинством голосов приняли резолюции об объявлении войны. Еще через две недели президент подписал закон о введении обязательной воинской повинности.

Вопрос о поездке Рида в Китай теперь отпал сам собой. Более того, самое сотрудничество Джека в «Метрополитен» стало невозможным.

Во время одного чрезвычайно острого разговора с Вигемом и Хови Рид прямо заявил:

— И вы и я называем себя друзьями, но мы не настоящие друзья, потому что у нас разные взгляды и убеждения. Будет время, когда мы даже не сможем разговаривать друг с другом.

У Джека было какое-то смутное предчувствие, что мир в том состоянии, в каком он пребывал к началу 1917 года, чреват бурными катаклизмами, что человечество стоит на пороге, быть может, самых драматических событий за всю свою историю. Эта война, он был твердо убежден, не может завершиться просто победой одной из сторон. Рид ждал больших перемен — для мира и для себя. Не случайно именно в начале 1917 года он выпустил единственный за свою жизнь сборник стихов под названием «Бубен», нечто вроде антологии — лучшее из написанного им. Это было своеобразное прощание (в душе Джек надеялся, что не навсегда) с поэзией, со временем, когда можно было писать стихи и жить в мире прекрасного.

Прямое вступление в войну не было, конечно, для Рида полной неожиданностью. Но все же он был растерян. Не столько поразил его сам факт, сколько измена «миротворца» Вильсона, в чью поддержку он горячо выступал в дни выборной кампании 1916 года. Разочарование в этом человеке, который оказался не таким уж врагом Уолл-стрита, как казалось многим, Джек переживал очень болезненно. В Вильсона он верил до последнего мгновения, до самого 2 апреля.

Вечером этого дня Рид присутствовал на митинге пацифистов в Вашингтоне. В огромном зале собралось несколько тысяч человек. С каждой минутой напряжение в зале возрастало. Ораторов слушали невнимательно — все ждали вестей из

Конгресса.

После десятка речей в середине зала вдруг встал какой-то человек и громогласно заявил:

— Хватит этой болтовни! Дайте слово Джеку Риду!

И сразу со всех концов послышалось:

— Рида!

— Хотим Джека Рида!

— Пусть выступит Джек!

Растерявшийся председатель — доктор Джордан — пытался сказать, что мистер Рид получит слово в порядке очередности, но крики не смолкали, становились все настойчивее. И вдруг шум стих — все заметили маленького запыхавшегося человечка, торопливо пробиравшегося к платформе. Он поднялся на трибуну и, едва переведя дыхание, выпалил, что президент только что передал в Конгресс свое послание с требованием объявить войну Германии.

Доктор Джордан встал и грустным голосом торжественно заявил:

— Мы все были за мир, но теперь мы должны идти с нашей страной.

Зал заревел. Люди яростно кричали, потрясали кулаками, стучали каблуками в пол Наконец в общем шуме стало возможным разобрать отдельные выкрики:

— Рид!

— Пусть скажет свое слово Джек Рид!

— Очистить платформу для Рида!

Рид не заметил и сам, как оказался на трибуне. Весь натянутый как струна, бледный от волнения, он ждал, пока стихнет шум. Потом очень спокойно, раздельно, тщательно взвешивая каждое слово, произнес перед тысячами людей всего две фразы:

— Это не моя война, и я не буду поддерживать ее. Это не моя война, и я не желаю иметь с ней ничего общего.

Зал бушевал.

В отличие от многих других американских сторонников мира Рид знал на примере нескольких государств еще одну темную сторону войны она приводила в движение самые реакционные силы внутри каждой страны, вела к ограничению и подавлению демократических свобод, к откровенной диктатуре милитаристов.

Джек оказался прав: сразу же после президентского послания в Конгресс один за другим стали поступать антидемократические законопроекты, в том числе и пресловутый билль о шпионаже, по которому в шпионах мог оказаться любой гражданин США, неодобрительно относящийся к политике правительства.

Воспользовавшись пропуском в Конгресс, которым его снабдили влиятельные друзья, Рид проник на заседание комитета, обсуждавшего проект билля, и добился, чтобы его выслушали в качестве свидетеля.

Он произнес страстную получасовую речь, в которой, ссылаясь на свой опыт пребывания в дюжине воюющих стран и американскую конституцию, доказал всю антидемократичность закона о шпионаже.

Прямо в лицо ошеломленным конгрессменам он мужественно и гордо заявил:

— Я не член какой-либо религиозной общины, вообще выступающей против войн, я противник именно этой войны. Я не сторонник взгляда за-мир-любой-ценой, но я не буду участником этой войны. Можете меня расстрелять, если хотите…

Побагровевший от ярости конгрессмен Грин вскочил на ноги и грубо прервал Рида:

— Я думаю, что пора заткнуть рот этому джентльмену!

Конгрессмен Кан, обладавший большей выдержкой, счел необходимым заметить:

— Слава богу, судьба нашей страны не зависит от подобных людей!

Конгрессмен Шалленбергер спросил: может быть, мистер Рид не желает воевать по каким-нибудь личным мотивам?

— Нет, — твердо заявил Джек, — у меня нет побуждения лично уклоняться от окопов. Но я был на пяти фронтах и знаю, что это война несправедливая с обеих сторон, что это война торговцев и нам незачем вмешиваться в нее.

В Вашингтоне Джек встретился с несколькими однокашниками по Гарварду. Преуспевающие молодые люди, успевшие уже обзавестись столами в Капитолии и некоторых других высоких государственных учреждениях, даже не пытались скрыть от него своей неприязни.

Некий щеголеватый сноб, в жизни не слышавший свиста пули, кроме как на охоте, цинично заявил:

— Нужно популяризировать войну. Я бы послал на верную смерть три или четыре тысячи американских солдат. Это пробудило бы страну и подняло патриотизм. — Со снисходительной улыбкой он добавил: — Мы должны благодарить немцев за их зверства. Без них не было бы патриотизма, ведь патриотизм — это общественный гнев, приспособленный для военных целей.

Другой, высказав свое возмущение тем, что немецкая подлодка потопила американский корабль, рассудительно добавил.

— Впрочем, мой пыл несколько поостыл, когда я узнал, что одной из жертв был негр.

Эти люди теперь стали Риду уже не только чужими по духу — врагами. Их ненависть, однако, мало тронула его — он принял ее как должное и был прав. Гораздо горше и больнее было непонимание и упреки со стороны близких, а ему пришлось пройти и через это испытание.

Младший брат Гарри, которого Джек так любил, демонстративно искупая его «вину», записался в волонтеры.

Даже мать, родная мать, которая так им гордилась, добрая, отнюдь не воинственная миссис Рид высказала сыну свое осуждение:

«Мне больно, что сын твоего отца говорит, что не хочет защитить свою страну и свой флаг. Бог видит, я совсем не хочу, чтобы ты воевал за нас, но я не хочу, чтобы ты воевал против нас пером и словом… Я надеюсь, ты поймешь скоро, что большинство твоих друзей и почитателей родились за границей, среди них очень мало американцев по рождению…»

Бедная миссис Рид не понимала, что ее старший сын так решительно выступил против войны именно потому, что чувствовал свою ответственность за судьбу страны не только как социалист, но и как коренной американец.

Письма родных приносили огорчение, письма редакторов день ото дня все более неумолимо заставляли задуматься: как жить дальше? Если говорить конкретнее, на что жить дальше, на какие деньги? Денег у Рида уже не было. Помощь родным и операция поглотили все его старые гонорары, а новые почти не поступали. Разрыв с «Метрополитен» означал потерю прочного и немалого дохода. Впервые после стольких лет славы и больших денег Джеку пришлось искать обыкновенного репортерского заработка. Такой ценой ему пришлось — и это было только начало! — расплачиваться за стойкость убеждений.

Только нью-йоркская «Мэйл», чьи полосы были отнюдь не лучшей сферой приложения таланта Рида, дала в конце концов ему постоянную работу. Но что это была за работа! Иссушающие душу и мозг корреспонденции-однодневки на любую тему, по любому поводу. Бесчисленные интервью с бизнесменами, сенаторами, репортаж с громкого судебного процесса, отчет о скачках и тому подобная ерунда.

С горечью Джек писал Луизе о том, как ему пришлось брать «интервью у какой-то черт-бы-ее-побрал актрисы относительно ее черт-бы-его-побрал брака с каким-то черт-бы-его-побрал чемпионом по боксу».

У Джека осталась только одна отдушина, только один

журнал, куда он мог писать для души, а не за деньги (денег он не давал ни цента), — «Мэссиз».

В июле и августе «Мэссиз» опубликовал две статьи Рида — две пощечины тем, кого он ненавидел. Одна статья называлась «Миф об американской тучности», другая — «Милитаризм в игре». Обе статьи раскрывали темные махинации крупного империалистического капитала. «Миф об американской тучности» завершался вещими словами, обращенными к поджигателям войн: «Терпение народа имеет границы. Берегитесь восстаний!»

Кроме статьи «Милитаризм в игре», Рид поместил в августовском номере «Мэссиз» изложение доклада доктора Вильямса о распространении в американской армии душевных болезней под заголовком: «Свяжите смирительную рубашку для вашего парня-солдата». Этому заголовку суждено было впоследствии стать одним из главных свидетельств, привлеченных прокурором в обвинительном деле против Рида.

Кроме «Мэссиз», нашелся еще один журнал, давший Риду возможность высказать свои взгляды. Этот журнал — «Семь искусств» — был создан двумя годами ранее и ставил своей целью сплотить прогрессивные силы американской литературы. В нем сотрудничали Уолдо Фрэнк, Шервуд Андерсен, Теодор Драйзер, Юджин О'Нейл, Ван Вик Брукс, Джон Дос-Пассос, Карл Сэндберг, Роберт Фрост и многие другие видные писатели.

Рид охотно написал по просьбе журнала две статьи. Одна из них — «Эта непопулярная война» — увидела свет в августе 1917 года, другая лишь… в апреле 1936 года[17].

В опубликованной статье Рид еще раз изложил свои взгляды, высказанные им раньше, на империалистическую войну. От других его статей эту отличает особая глубина суждений, продуманность приводимых фактов и аргументов. Но есть в статье и новый мотив — Рид впервые написал о силе, которой придавал огромное значение для будущего всех народов и которая поддерживала в нем веру, что это будущее прекрасно: «Быть может, самым значительным явлением, подмеченным мной в Европе, была неистребимая живучесть интернационализма, невзирая на войну».

Неизвестно, почему осталась неопубликованной вторая статья Рида — «Почти тридцать». Это удивительный человеческий документ, автобиография и исповедь одновременно. Он поражает честностью и искренностью, благородством стремлений и красотой души. «Почти тридцать» — история духовных исканий молодого человека, порвавшего с прошлым и идущего к своему будущему.

Следует отметить, что эту статью Рид писал в горькую для себя пору, когда он тяжело переживал вступление родной страны в империалистическую войну, мучительно искал в народах силу, способную не только покончить с войной, но и построить новый мир, испытывал глубокое разочарование во многих людях, которым раньше верил.

На его настроении не могли не сказаться долгая болезнь, разлад в отношениях с братом и матерью, наконец, серьезная размолвка с Луизой Брайант. Случилось так, что за полтора года совместной жизни они впервые перестали понимать друг друга. Возможно, было и другое, пробились на поверхность какие-то глубинные течения, существовавшие и ранее, но до поры до времени не дававшие себя знать.

У Луизы были некоторые черты в характере и склонности, делавшие жизнь с нею непростой. А от женщины, решившейся стать подругой такого человека, как Рид, требовалось многое. Размолвка зашла так далеко, что Луиза сочла даже за лучшее уехать на несколько месяцев в Европу.

Автобиографический очерк «Почти тридцать» раскрывает самые глубокие и существенные стороны мировоззрений Рида и его характера, налет грусти в нем, быть может, объясняется теми тягостными чувствами, которые испытывал он летом 1917 года.

«Мне исполнилось двадцать девять лет, и я чувствую, что окончилась определенная часть моей жизни, окончилась моя молодость. В то же время мне кажется, что окончилась и молодость мира, и, конечно, большая война кое-чему нас всех научила. Вместе с тем это начало новой фазы жизни, и мир, в котором мы живем, так стремительно меняет свои краски и мнения, что я едва сдерживал себя, чтобы не размечтаться о прекрасных и пугающих возможностях грядущего времени.

…Я должен снова найти самого себя. Некоторые люди, по-видимому, рано нащупывают свою дорогу, растут естественно, изменяясь понемногу. Я не представляю себе, что будет со мной через месяц. Когда я пытался достичь чего-либо, я терпел неудачу исключительно из-за того, что я плыл по течению, но я нашел себя и с радостью погрузился в новую роль.

…Я люблю людей, кроме пресыщенных и самодовольных, и мне интересно все новое и все старое красивое, что является делом их рук. Я люблю красоту, успех, перемены, но теперь их происходит меньше во внешнем мире, чем в моем сознании.

…Я видел и описал несколько стачек, большинство из них были отчаянной борьбой против голой нужды; и все, чему я был свидетель, только подтверждало первоначально усвоенную мною идею классовой борьбы и ее неизбежности. Всем сердцем я хочу,

чтобы пролетариат поднялся и захватил свои права, — я не знаю, как иначе он может получить их. Политическая помощь приходит так медленно, а возможности мирного протеста и допускаемых законом действий год от году сокращаются. Но я не уверен, что рабочий класс способен осуществить мирную или какую-либо иную революцию, настолько рабочие разобщены и резко враждебны друг другу, настолько плохо их руководство и так еще слепы они в отношении классовых интересов.

Война оказалась страшным разрушителем веры в экономический и политический идеализм. И все же я не могу отказаться от мысли, что из демократии родится новый мир, который будет богаче, лучше, красивее существующего. И я не знаю, чем я должен помочь, пока еще не знаю. Зато я знаю, что мое благополучие построено на несчастье других людей; я сыт, потому что другие голодают; я одет, тогда как другим зимой нечем прикрыть тело; и это отравляет мне жизнь, нарушает мое спокойствие…»

И снова о войне: «Это прекращение жизни и брожения человеческой эволюции. Я жду, жду, пока все это кончится и жизнь возобновится, тогда я найду себе дело».

Но Рид не стал дожидаться, пока окончится война. Он обрел путь, чтобы найти себе настоящее дело. Это был путь за океан — в революционную Россию.

МИССИЯ В РОССИЮ

Когда и почему Рид решил ехать в Петроград?

Первые газетные сообщения о том, что в России свергнут царь и установлена республика, Джек встретил с радостью. Но в отличие от большинства радикалов он сразу задумался: а к чему приведет падение самодержавия? К общим рассуждениям о свободах, которые теперь обретет русский народ, он с самого начала отнесся скептически. И не без основания. Высказывания о необходимости замены Николая чем-нибудь более дельным он слышал в Петрограде в 1915 году от людей, настроенных весьма не революционно.

У него были все основания полагать, что в Петрограде произошла не народная революция, а всего лишь дворцовый переворот, организованный офицерством и крупной буржуазией. Тем более что газеты почти ничего не сообщали, обсуждая главным образом вопрос о том, будет ли Россия продолжать войну с Германией. Сообщения о первых шагах Временного правительства, казалось бы, только подтвердили эту точку зрения Рида.

Постепенно новые и новые события в России все больше привлекали его внимание — по мере того как он убеждался, что дело одним лишь свержением царя, видимо, не ограничится. Этому способствовали и некоторые новые знакомства.

В Нью-Йорке всегда жило много выходцев из России, а к 1917 году здесь образовалась целая колония политических эмигрантов,

принадлежащих к различным партиям. Среди них были и видные революционеры: Коллонтай, Чудновский, Володарский. С некоторыми русскими Рид общался в журналистских кругах и каждую такую встречу использовал для выяснения какого-либо момента в русской политической жизни. К сожалению, эмигранты, как и он сам, не имели достаточной информации о том, что происходит на родине, но все же Рид узнал от них, в общих чертах разумеется, историю революционной борьбы в России за последние годы и взгляды основных политических партий. Именно тогда Джек впервые услышал имя Ленина. Партия большевиков сразу завоевала симпатии Рида уже тем, что была единственной, требовавшей немедленного и справедливого мира для всех народов. А вопрос о войне был в ту пору для него самым надежным пробным камнем. На основании опыта своего путешествия в Россию Рид не сомневался, что русский народ поддержит только ту партию, которая принесет ему мир.

В конце концов он пришел к выводу, что хотя по своим первым результатам русская революция — буржуазная, но по своим движущим силам имеет массовый, народный характер и еще скажет свое решающее слово.

Надо отдать должное Риду — он сразу понял, как только узнал об их создании, что Советы рабочих и солдатских депутатов сыграют в недалеком будущем решающую роль в революции.

Первым американским журналистом, посетившим Петроград без царя, оказался Линкольн Стеффенс. Сразу же после возвращения старого друга в Нью-Йорк Рид поспешил встретиться с ним и засыпать вопросами.

Незаметно для самого себя Рид подошел к мысли, что он должен ехать в Россию, что эта страна является тек местом, где решаются сейчас самые важные проблемы современности.

К тому же Джек был просто рад уехать из Америки, чувствуя, что только так сможет найти выход из беспросветного тупика, в котором он пребывал уже полгода. Ему нужен был свежий ветер…

Совершенно неожиданно эту идею поддержала Луиза, вернувшаяся в июле из Франции. Более того, она предложила Джеку ехать вместе. Луиза успела к этому времени снискать репутацию способной журналистки, и путешествие в Россию, все больше привлекавшую внимание американской прессы, было бы для нее хорошей возможностью показать свои силы. Рид был рад. Он надеялся, что совместная поездка распутает тот клубок взаимных обид и упреков, в который превратились его отношения с женой.

У Рида было одно хорошее и нерушимое правило — приняв решение (даже если это было связано с колебаниями),

осуществлять его с поразительной энергией и быстротой. Так было и на сей раз — он собрался в дорогу за две недели. Собственно говоря, Рид мог бы сделать это и за два дня — если бы… если бы нашлась газета, которая пожелала воспользоваться его услугами специального корреспондента. Газетный синдикат охотно принял предложение Луизы и сделал вид, что не подозревает о существовании ее мужа. Рида бойкотировали, и весьма недвусмысленно. Он обращался в газеты Нью-Йорка, Балтимора, Вашингтона — и отовсюду получал вежливые отказы. О причинах он не осведомлялся.

«Мэссиз», конечно, предоставлял ему необходимые полномочия, но никак не мог взять на себя расходы. Денег в журнале, как всегда, не было. У него тоже.

С большим трудом друзья журнала сколотили неведомыми путями сумму, которой едва-едва хватило бы на поездку — и то при условии жесткой экономии во всем.

Бойкот газетных боссов был не единственной неприятностью, с которой пришлось столкнуться Риду в эти дни. По-видимому, нашлись люди, решившие более действенным путем не допустить его в страну революции. Иначе нельзя объяснить тот факт, что перед самым отъездом — 14 августа — Джек получил вызов в призывную комиссию. Всего лишь восемь месяцев назад он перенес тяжелую операцию. По всем правилам удаление почки, безусловно, освобождало его от военной службы. И все-таки его вызвали на медосмотр. Более того, убедившись, что во рту Рида ровно столько зубов, сколько их полагается от природы, хмурый, бесцеремонный эскулап сказал лишь одно слово: «Годен!» Огромный шрам на пояснице попросту не привлек его внимания. Снова потребовалось вмешательство влиятельных друзей, чтобы отговорить военное ведомство от намерения облачить Рида в солдатскую одежду.

Но и это было еще не все — на этот раз с Ридом пожелал объясниться Государственный департамент США. От него потребовали обещания не участвовать в работе конференции европейских социалистических партий, которая должна была состояться в Стокгольме. Поскольку Рида никто и не уполномочивал представлять в Швеции американских социалистов, он охотно заверил департамент, что не будет этого делать.

Наконец изобретательность властей иссякла. Только тогда мистер и миссис Рид смогли со спокойной душой отплыть в Европу.

Их путь до Петрограда длился почти месяц, включая остановки в Христиании и Стокгольме, где Рид встречался и

беседовал с некоторыми видными социалистами. В Стокгольме он узнал о падении Риги и немедленно поспешил выехать в Петроград, так как прокатился слух, что граница вот-вот будет закрыта.

На последней шведской станции багаж всех пассажиров подвергся тщательному досмотру. Затем маленький неторопливый пароходик переправил их через Балтику в Финляндию. И снова поезд. На станциях Рид впервые увидел революционные прокламации.

В вагонах ходили самые противоречивые слухи о корниловском наступлении на Петроград и якобы самоубийстве Керенского. Щеголеватый артиллерийский капитан уверял Луизу, что улицы города залиты кровью и женщине туда ехать небезопасно. Респектабельный немолодой мужчина делового вида, возвращавшийся из Англии, неожиданно вмешался в разговор: «Так и надо! Давно пора навести порядок!»

Несколько угрюмых солдат на соседних скамьях недобро молчали. Лишь в нескольких часах езды до Петрограда стало известно, что корниловский поход окончился провалом, несмотря на бездеятельность правительства, рабочие и революционные солдаты с большевиками во главе остановили казачьи полки.

Джек и Луиза воспрянули духом. Повеселевшие солдаты-попутчики с удивлением смотрели на двух хорошо одетых иностранцев, так откровенно радовавшихся вместе с ними, что заговор контрреволюции не удался.

В Петроград прибыли в три часа утра На вокзальной площади с трудом уговорили какого-то шофера довезти их до «Англетера» и поехали по пустынным в это раннее время улицам.

В «Англетере» заспанный неразговорчивый портье проводил их в номер. Комната была из разряда тех, которые Рид терпеть не мог: с золочеными плафонами, тяжелыми бархатными драпри и прочей аляповатой роскошью. Над кроватью висело застекленное объявление, запрещавшее под угрозой штрафа в 1500 рублей говорить по-немецки. Однако служитель, пришедший утром в номер осведомиться насчет багажа, обратился к постояльцам именно на этом языке. Джек разъяснил удивленной Луизе, что, насколько он помнит еще по прошлому приезду, законы в России — понятие относительное.

Весь первый день Джек знакомил жену с городом — вернее, заново знакомился с ним сам — столь разительно изменила свой облик та блестящая столица Российской империи, которую он помнил по первому своему приезду.

На главных улицах они встречали множество людей в шинелях, потертых пальто, рабочих тужурках. Раньше этого не

было.

У булочных и мясных лавок тянулись длинные вереницы бедно одетых женщин с кошелками в руках. Они стояли часами, чтобы получить четверть фунта липкого, плохо пропеченного хлеба или микроскопический кусочек синего, жилистого мяса. Это называлось очереди. Раньше их тоже не было.

Трамваи ходили очень редко, поэтому, быть может, тротуары были переполнены прохожими. В магазинах с немногочисленными приказчиками было пусто. Товаров — почти никаких, если не считать огромного выбора цветов, дорогих корсетов на китовом усе, ошейников для собак и накладных волос всех оттенков.

Весь город (и это напоминало Америку) был украшен флагами. Даже в застывшей руке величественной бронзовой Екатерины торчал маленький красный флажок.

На третий или четвертый день Рид и Луиза встретили американца. Они обедали в «Англетере», когда к их столику подошел мужчина примерно одного возраста с Джеком. Это был гигант, длиннорукий, чуть-чуть неуклюжий, с поразительно светлыми и по-детски ясными глазами.

Смущенно улыбаясь, он извинился, что помешал:

— Очень уж хотелось поговорить с соотечественниками, о вашем приезде мне сказал портье. Я-то в Питере уже четыре месяца, меня все знают.

Нового знакомого звали Альберт Рис Вильямс. Он был социалистом и приехал в Россию корреспондентом нью-йоркского «Пост». Оказалось, что у него с Джеком и Луизой много общих знакомых в Нью-Йорке. К тому же он читал обе книги Рида и некоторые его очерки.

Через полчаса все трое были уже друзьями. Вильямс действительно был в Петрограде своим человеком. Он отлично разбирался в обстановке и имел повсюду приятелей: на заводах, в Советах, даже среди кронштадтских моряков (он успел побывать и в Кронштадте). Рид заметил для себя, что знакомцы Вильямса были в основном из лагеря большевиков или им сочувствующих.

Джек спросил Вильямса, какого он мнения о Керенском. Тот ответил короткой русской фразой, полный смысл которой стал ясен Риду лишь через несколько месяцев, когда он несколько овладел русской лексикой.

Вильямс познакомил Джека и Луизу с некоторыми американцами, находящимися в Петрограде. Одному из знакомств особенно обрадовалась Луиза, так как ей надоело быть единственной американкой в городе.

Бесси Битти была худенькой тридцатилетней женщиной с

тяжелой копной густых волос. Она приехала в Россию одновременно с Вильямсом в качестве военного (!) корреспондента сан-францисского «Бюллетеня», а сейчас, в сентябре, только что вернулась из интереснейшей поездки по Волге. Звонким голосом, с интонацией, показывающей, что она не потерпит возражений, Бесси немедленно стала убеждать Рида, что крестьяне в деревнях поддерживают только Советы.

Из других соотечественников самым примечательным был полковник Раймонд Робинс, из миссии Американского Красного Креста, высокий красивый мужчина с орлиным лицом и пытливым, пристальным взглядом. Об этом человеке Рид слышал еще в Штатах. У него была удивительная биография. За свою жизнь Робинс успел побывать рудокопом, фермером, ковбоем, золотоискателем, прежде чем ему повезло и он стал миллионером. В характере Робинса оказалась неожиданная для миллионера черта — он был правдолюб и правдоискатель. Миссия, в составе которой он приехал в Петроград, преследовала цель, ничего общего с Красным Крестом не имеющую, а именно — предотвратить выход России из войны. Робинс ненавидел кайзера и искренне верил, что только Германия угрожает христианской цивилизации (полковник был глубоко верующим человеком). Революцию он считал внутренним делом самих русских и заботился лишь о том, чтобы Временное правительство не заключило мир с Германией. Как трезвый реалист, он, однако, не ставил это правительство ни в грош. Сам выходец из народа, Робинс прекрасно видел тяготение русских рабочих и крестьян к Советам и в душе, хотя это шло против всех его целей и задач, сочувствовал им.

Рид в жизни не встречал человека с более сложным и противоречивым характером. Но Робинс ему нравился.

Робинс и Вильямс обычно ходили в сопровождении Александра Гамберга, выходца из России, много лет жившего в Америке. Сейчас Гамберг работал у Робинса в качестве переводчика и был в этой роли незаменим.

Разумеется, Джек не удовлетворялся той информацией, которую получил от американцев-старожилов. За какие-нибудь две недели он завязал множество связей буквально во всех кругах общества. Его видели в буржуазных салонах, в гостиных крупных промышленников, в правительственных кабинетах. Но чаще всего — на массовых митингах, рабочих собраниях, в Советах. Завязать первые знакомства с рабочими организациями Петрограда (особенно с фабзавкомами) Риду помог Владимир Шатов, будущий начальник строительства Турксиба, и его жена Анна. Впрочем, для Рида он был просто Биллом, потому что знали они

друг друга еще с 1913 года по стачке в Патерсоне. Политэмигрант из России Билл Шатов сыграл видную роль в рабочем движении США. На родину он выехал еще в мае, и Рид присутствовал на проводах. Ставший членом Петроградского военно-революционного комитета, Билл Шатов много сделал, чтобы его старый товарищ как можно быстрее вошел в курс всех русских дел.

В конце сентября Рид уже свободно ориентировался во всех перипетиях классовой борьбы.

«Старый город неузнаваемо изменился, — писал он Робинсону, — там, где царило веселье, — угрюмость, там, где была угрюмость, — смех. Мы находимся в самой гуще вещей… Здесь столько драматичного для описания, что я не знаю, с чего начать. По богатству красок, грозности и величию это заставляет бледнеть Мексику».

Вся логика предыдущей жизни Рида, весь естественный ход эволюции его взглядов привели неизбежно к единственно возможному результату: он принял русскую революцию как свою. Дело русского пролетариата стало его делом. Если в Мексике он был всего сторонним наблюдателем, хотя и сочувствующим, то в России он стал участником революции. Это определило и содержание его писем к друзьям и величайший пафос будущей книги.

С самого начала он сделал безошибочный выбор, отдав душу и сердце большевикам, единственной партии, за которую были народ и будущее. Зоркость Рида, зрелость тех оценок, которые он сделал почти сразу после приезда в Петроград, поражают.

«…Сейчас здесь происходит чистая и ясная классовая борьба, как ее и предвосхитили марксисты, — писал он в те дни. — Так называемые «буржуазные либералы» — Родзянко, Львов, Милюков и др. определенно связали себя с капиталистическими элементами. Интеллигенты и романтические революционеры, за исключением Горького, шокированы революционной реальностью, они или присоединяются к кадетам, или отказались от нее. Ветераны — большинство из них, как Кропоткин, Врешковская… — не симпатизируют нынешнему движению, настоящей политической революции. Политическая революция произошла, и Россия теперь республика. Я верю, что сейчас происходит экономическая революция, которую они не понимают и которой не сочувствуют.

…Звезда большевиков неудержимо восходит. Рабочие и солдатские Советы, которые набрали огромную силу, снова стали подлинным правительством России, а сила большевиков в Советах быстро растет».

Большевистские симпатии Рида не укрылись от взора посла Соединенных Штатов в Петрограде мистера Дэвида Фрэнсиса. В отличие от своего предшественника, с которым Джек в свое время столь мило беседовал в «Астории», этот посол не испытывал перед русским правительством решительно никакой робости. Скорее наоборот. В Петрограде Фрэнсис чувствовал себя настолько по-хозяйски, что даже распоряжался, если это ему требовалось, тайной полицией.

Однажды Рид присутствовал на митинге в цирке «Модерн». Среди ораторов было и несколько американцев. Должно быть, поэтому митинг послал приветствие «всем тем, кто в «свободной» Америке борется за социальную революцию». Один из шпиков, проникших в здание, не преминул донести Фрэнсису, что Джон Рид весьма дружелюбно, как свой, беседовал со многими известными большевиками. Встревоженный посол приказал установить за Джеком постоянную слежку. Шпики, видимо набранные из уголовников, выкрали бумажник Рида. Среди бумаг посол обнаружил рекомендательные письма от некоторых видных американских и европейских социалистов. Встревоженный еще более, он приказал усилить слежку. Какому-то шпику удалось даже познакомиться с Ридом и побеседовать с ним. Разговор был недолгим. Джек заявил, что он социалист, что рабочие могут сами управлять фабриками, что если платить по справедливости, то все доходы должны принадлежать рабочим; что большевики единственная партия в России, у которой есть настоящая программа.

По-видимому, Рид отлично знал, кому будут переданы его слова: так, в конце беседы, вроде бы без видимой связи со сказанным ранее, добавил:

— Кроме того, большевики, когда возьмут власть, вышвырнут всех послов к черту.

В тупом службистском рвении шпик донес о разговоре, слово в слово, Фрэнсису.

Шифрованной телеграммой посол немедленно запросил инструкции из Вашингтона.

Следует отдать должное наблюдательности Фрэнсиса и его шпиков: со многими большевиками Рида уже связывала личная дружба. У него в гостинице часто бывал давний знакомец Вильямса Яков Петерс — молодой синеглазый латыш, примерно одного возраста с Ридом. Быстрый, нервный, решительный, «старый» для своего возраста большевик, Петерс происходил из семьи «серого барона» — латышского кулака, которого ненавидел.

За свою короткую жизнь Петерс успел четыре раза побывать в

тюрьме. Изведал он и эмигрантскую тоску, скитаясь по Франции, Швейцарии, Англии. Яков отлично говорил по-английски, даже с лондонским акцентом. На Рида произвела большое впечатление романтическая история последнего побега Петерса из царской тюрьмы. План побега — крохотный листок бумаги — был закатан в хлебный шарик, который спрятала за щеку мнимая «невеста» Якова — девушка-революционерка. Во время свидания она крепко поцеловала в губы своего «жениха» и передала ему план буквально из уст в уста.

Рид был приятно удивлен, что не только Петерс, но и вообще многие крупные большевики были очень молоды Свердлов, Дзержинский, Подвойский, Чудновский, Антонов были почти его сверстниками, но каждый из них имел за плечами десять-пятнадцать лет подполья, каторги, тюрьмы. Выходило, что все они пришли в революцию совсем юношами, почти подростками. Ленина, которому, как узнал Рид, не было еще и пятидесяти лет, они в разговорах между собой уважительно называли «Старик».

С утра и до позднего вечера Джек был на ногах. Он умудрялся в течение одного дня посетить несколько митингов, взять интервью у трех-четырех политических деятелей (зачастую — противников), побывать на заводе, в театре и обменяться впечатлениями с Вильямсом. Уже подступала ночь, когда в своем номере он мог, наконец, снять чехол с пишущей машинки. Непреложное правило — каждый день написать хоть несколько страничек. Он не стремился по горячим следам глубоко анализировать события или делать политические оценки. Джек считал, что непосредственные впечатления дня, его настроения нужно закрепить на бумаге немедленно, пока не наступило завтра с новым, неповторимым обликом.

Поэтому книга, которую впоследствии написал Рид, ценна для нас не только тем, что со скрупулезностью историка излагает весь ход русской революции, и тем, что с изумительной точностью передает сам аромат эпохи. Точность летописца в его книге неотделима от эмоционального восприятия художника. Прочитать ее — значит самому пережить Октябрь в Петрограде. Вот каким увидел Рид великий город накануне тех десяти дней, которые потрясли мир:

«С тусклого серого неба в течение все более короткого дня непрерывно льет пронизывающий дождь. Повсюду под ногами густая, скользкая и вязкая грязь, размазанная тяжелыми сапогами и еще более жуткая, чем когда-либо, ввиду полного развала городской администрации. С Финского залива дует резкий, сырой ветер, и улицы затянуты мокрым туманом. Над головами — частью из экономии, частью из страха перед цеппелинами —

горят лишь редкие, скудные фонари…

За молоком, хлебом, сахаром и табаком приходилось часами стоять в очередях под пронизывающим дождем. Возвращаясь домой с митинга, затянувшегося на всю ночь, я видел, как перед дверями магазина еще до рассвета начал образовываться «хвост», главным образом из женщин; многие из них держали на руках грудных детей… Я прислушивался к разговорам в хлебных очередях. Сквозь удивительное добродушие русской толпы время от времени прорывались горькие, желчные ноты недовольства…

…В Мариинском шел новый балет с Карсавиной, и вся балетоманская Россия являлась смотреть на нее. Пел Шаляпин. В Александрийском была возобновлена мейерхольдовская постановка драмы Алексея Толстого «Смерть Ивана Грозного». На этом спектакле мне особенно запомнился воспитанник императорского Пажеского корпуса в парадной форме, который во всех антрактах стоял навытяжку в пустой императорской ложе, с которой уже были сорваны все орлы…

Как и всегда бывает в таких случаях, повседневная мелочная жизнь города шла своим чередом, стараясь по возможности не замечать революции. Художники-реалисты писали картины на темы старинного русского быта — о чем угодно, но не о революции. Провинциальные барышни приезжали в Петроград учиться французскому языку и пению. По коридорам и вестибюлям отелей расхаживали молодые, изящные и веселые офицеры, щеголяя малиновыми башлыками с золотым позументом и чеканными кавказскими шашками.

В полдень дамы второразрядного чиновничьего круга ездили друг к другу на чашку чая, привозя с собой в муфте маленькую серебряную или золотую сахарницу ювелирной работы, полбулки; и при этом они вслух мечтали, как бы было хорошо, если бы вернулся царь, или если бы пришли немцы, или если бы случилось что-нибудь другое, что могло бы разрешить наболевший вопрос о прислуге…

А вокруг них корчилась в муках, вынашивала новый мир огромная Россия».

Дамочки, тоскующие по самодержцу, пребывающему в тобольской ссылке, могли вызвать только улыбку. Но были и другие люди, более серьезные и значительные. Они не падали в обморок, когда кондуктор в трамвае называл их «товарищ». Эти люди безошибочно чувствовали, что революция не утихнет после свержения самодержавия, что ее девятый вал сметет со своего пути все эксплуататорские классы.

В России в ту пору были десятки политических партий, больших и малых, почти все они называли или считали себя

«революционными». И Рид поразился классовому чутью представителей крупного капитала, которые самыми опасными своими врагами (следовательно, самыми последовательными революционерами) считали большевиков.

Положение американского корреспондента открывало перед Ридом двери любого особняка. Здесь, в богато обставленных комнатах, никому и в голову не могло прийти, что журналист из США может оказаться социалистом и даже большевиком! С ним были откровенны. Предельно. До цинизма.

Степан Георгиевич Лианозов считался, и не без оснований, одним из самых богатых и влиятельных промышленников в России. Его называли «русским Рокфеллером». Он не бросал слов на ветер — за его спиной стоял весь крупный капитал в России.

Задумчиво помешивая тоненькой серебряной ложечкой остывший чай в стакане, он говорил Риду вполне доверительно и откровенно:

— Поймите следующее: революция — это болезнь. Раньше или позже иностранным державам придется вмешаться в наши дела, точно так же как вмешиваются врачи, чтобы излечить болезнь ребенка. Все нации должны понять, насколько для их собственных стран опасны большевизм и такие заразительные идеи, как «пролетарская диктатура» и «мировая социальная революция»… Впрочем, возможно, такое вмешательство не будет необходимым. Транспорт развалился, фабрики закрываются, и немцы наступают. Может быть, голод и поражение пробудят в русском народе здравый смысл.

Рид записывал слово в слово. Еще бы! Его собеседник излагал ему всю программу русской контрреволюции. Если бы он мог подозревать, кому он все это говорит. Убедившись, что Рид записал все правильно, Лианозов продолжал:

— Что до большевиков, то с ними придется разделываться одним из двух методов. Правительство может эвакуировать Петроград, объявив осадное положение, и командующий войсками округа расправится с этими господами без юридических формальностей. Или если, например, Учредительное собрание проявит какие-либо утопические тенденции, его можно будет разогнать силой оружия…

Теперь для Рида уже не было сомнений, что русская буржуазия не остановится ни перед какими преступлениями, чтобы расправиться с большевиками, даже перед изменой. До какой же степени должна была дойти ненависть этих людей к революции, если они были согласны на иностранное вторжение — вплоть до японской интервенции! — лишь бы «ликвидировать заразу».

В октябре Рид и Вильямс выехали на Северный фронт и провели там три дня. Джек лично встретил офицеров, которые открыто предпочитали военное поражение сотрудничеству с солдатскими комитетами.

Большое впечатление — хотя и несколько комичное — произвела на Рида жалоба случайного попутчика — полкового священника. Духовному пастырю не понравилось, что когда он провозгласил с амвона: «На земле — мир!», солдаты насмешливо, но отнюдь не в шутку подхватили: «Без аннексий и контрибуций!»

Однажды Джек провел вечер в богатой купеческой семье. Во время чаепития за столом собралось одиннадцать человек. Джек спросил, кого они предпочитают, — Вильгельма или большевиков. Десять против одного высказались за Вильгельма.

— И эти лицемеры, — с гневом говорил Джек Вильямсу, — еще смеют называть большевиков «изменниками» и «пораженцами» только потому, что они требуют мира!

Рид видел, что революция быстро приближается к решающей фазе, когда или пролетариат полностью возьмет власть в свои руки, или реакционеры попытаются повторить корниловский заговор, чтобы покончить с большевиками и Советами при помощи штыков и свинца.

В ложе прессы Совета Российской Республики Рид как-то разговорился с маленьким, сгорбленным человечком с морщинистым лицом, с близорукими глазами за толстыми стеклами очков, с неопрятной копной волос на голове и седеющей бородой. Бурцев, разоблачитель знаменитого провокатора Азефа, сильнее, чем некогда царя, теперь ненавидел большевиков.

— Запомните мои слова, молодой человек, — брызгая слюной, говорил он Джеку, — России нужна сильная личность. Пора бросить все думы о революции и сплотиться против немцев. Дураки, дураки допустили, что разбили Корнилова… Корнилов должен был бы победить…

Оживление всех реакционных сил не заслонило, однако, от Джека главное: громадный рост влияния большевиков в массах. И он понимал почему: большевики взяли простые, неоформленные мечты рабочих, солдат и крестьян и на них построили программу своих действий. «В июле их травили и презирали; к сентябрю рабочие столицы, моряки Балтийского флота и солдаты почти поголовно встали на их сторону. И тогда большевики вновь провозгласили столь дорогой массам лозунг: «Вся власть Советам!»

…Как-то Рид и Вильямс отправились в битком набитом поезде на Обуховский военный завод. В громадном недостроенном корпусе состоялся митинг. Вокруг обитой

кумачом трибуны сгрудилась десятитысячная толпа рабочих — напряженная, внимательная, громкоголосая.

Худощавый, с чутким лицом художника Луначарский объяснял, почему Советы должны взять власть:

— Только они могут защищать революцию от ее врагов, сознательно разрушающих страну, разваливающих армию, создающих почву для нового Корнилова.

Другой оратор-большевик сказал:

— Довольно слов. Пора переходить к делу! Нас пытаются взять голодом и холодом, нас хотят спровоцировать. Но пусть враги знают, что они могут зайти слишком далеко! Если они осмелятся прикоснуться к нашим пролетарским организациям, мы сметем их с лица земли, как мусор.

Восстание было неизбежным. Его близость уже чувствовали все. И характерно, что последние дни перед штурмом Зимнего Рид провел в Смольном, ставшем штабом вооруженного восстания. Таким он его и описал.

«При старом режиме здесь помещался знаменитый монастырь-институт для дочерей русской знати, опекаемый самой царицей. Революция захватила его и отдала рабочим и солдатским организациям. В нем было больше ста огромных пустых белых комнат, уцелевшие эмалированные дощечки на дверях гласили: «Классная дама», «IV класс», «Учительская». Но над этими дощечками уже были видны знаки новой жизни — грубо намалеванные плакаты с надписями: «Исполнительный комитет Петроградского Совета», или «ЦИК», или «Бюро иностранных дел»…

В длинных сводчатых коридорах, освещенных редкими электрическими лампочками, толпились и двигались бесчисленные солдаты и рабочие; многие из них сгибались под тяжестью тюков с газетами, прокламациями, всевозможной печатной пропагандой. По деревянным полам непрерывно и гулко, точно гром, стучали тяжелые сапоги…

В южном крыле второго этажа находился огромный зал пленарных заседаний. Во времена института здесь устраивались балы. Высокий белый зал, освещенный глазированными белыми канделябрами с сотнями электрических лампочек и разделенный двумя рядами массивных колонн. В конце зала — возвышение, по обеим его сторонам — высокие, разветвленные канделябры. За возвышением — пустая золоченая рама, из которой вынут портрет императора.

Напротив зала находилась мандатная комиссия съезда Советов. Я стоял в этой комнате и глядел на прибывавших делегатов — дюжих бородатых солдат, рабочих в черных блузах,

длиннобородых крестьян. Работавшая в комиссии девушка, член плехановской группы «Единство», презрительно усмехалась. «Совсем не та публика, что на первом съезде… Какой грубый и отсталый народ! Темные люди…» В этих словах была правда. Революция всколыхнула Россию до самых глубин, и теперь на поверхность всплыли низы. Мандатная комиссия, назначенная старым ЦИК, отводила одного делегата за другим под предлогом, что они избраны незаконно. Но представитель большевистского Центрального Комитета Карахан только посмеивался: «Ничего… когда начнется съезд, вы все сядете на свои места».

Рид был в Смольном, когда огромный солдатский митинг принял резолюцию: «Петроградский гарнизон больше не признает Временного правительства. Наше правительство — Петроградский Совет. Мы будем подчиняться только приказам Петроградского Совета, изданным его Военно-революционным комитетом».

Участь Керенского и его кабинета была предрешена. Уже зная это, 30 октября Джек с Луизой и корреспондентом Ассошиэйтед Пресс интервьюировали в Зимнем дворце премьер-министра.

Давид Соскис, секретарь Керенского, провел американцев в небольшую комнату со стенами, обитыми деревянными панелями, — бывшую личную библиотеку Николая II. Через несколько минут в комнату вошел премьер. Лицо его было неприятного землистого цвета, под глазами набрякли мешки… Во время разговора его рот кривила нервная дрожь.

На всем протяжении беседы — последней беседы премьера с журналистами — Рида не оставляло чувство, что он говорит с человеком, чье дело безнадежно проиграно. Это чувство усугублялось тем, что Керенский говорил с горькой правдивостью, совсем ему не свойственной, словно с глаз его накануне крушения спала пелена. Последние его слова оказались поистине пророческими:

— Весь мир думает, что русская революция кончилась. Остерегайтесь ошибки. Русская революция только еще начинается…

Через три дня видный член петроградской организации большевиков Залкинд предупредил Рида:

— Приходите завтра в Смольный непременно. Будет важное совещание. Имейте в виду, на совещании будет Ленин.

Историческое совещание руководителей большевиков проходило 3 ноября (21 октября) при закрытых дверях. Несколько часов, не сходя с места, Рид терпеливо ждал в коридоре его результатов. Он знал: сейчас решается судьба России. Наконец дверь распахнулась, из комнаты вышел высокий, бледный,

болезненного вида Володарский.

Он спешил и мог уделить Джеку лишь несколько минут, но зато сообщил самое главное:

— Ленин сказал: мы должны действовать 25 октября — в день открытия съезда, так, чтобы мы могли сказать ему: «Вот власть! Что вы с ней сделаете?»

Все последующие дни Рид почти не покидал Смольный. На его глазах буднично, просто, деловито большевики готовились взять власть в свои руки. В день, назначенный Лениным для решительного наступления, Рид ушел из Смольного только в четыре часа утра. Прежде чем лечь спать, записал в блокнот: «Под холодным пронизывающим дождем, под серым тяжелым небом огромный взволнованный город несся все быстрее и быстрее навстречу… чему?..»

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ЭПОХИ

В среду 7 ноября Рид встал поздно, когда в Петропавловской крепости уже ухнула полуденная пушка Досадуя на себя за потерю времени, разбудил Луизу. Наскоро пожевал что-то всухомятку и, на ходу обмотав шею пестрым мохнатым шарфом, выскочил на улицу. Жена догнала его уже в дверях.

У подъезда гостиницы, зябко поеживаясь, прохаживался Вильямс.

— Хэлло, Джек, Луиза! Жду вас уже битый час, — радостно приветствовал он друзей. — В городе творится такое!..

Втроем пошли к центру.

Стоял на редкость, даже для Петрограда в эту пору, промозглый, холодный день. Мелкий косой дождь, казалось, застревал в сером ватном воздухе. На Большой Морской, около наглухо закрытых дверей Государственного банка, высоко подняв набрякшие от дождя воротники шинелей, стояли несколько солдат. За плечами — винтовки.

— Вы чьи, — спросил Рид, — за правительство?

— Нет больше правительства, — весело гоготнул один и выразительно добавил: — Фьюить!

Значит, началось…

Рида немного удивило, что улицы вроде бы выглядели так же, как обычно. Пожалуй, даже спокойнее, чем обычно. Как всегда, громыхали облепленные людьми трамваи. Визгливо выкликала торговка семечками. Откуда-то из подворотни доносились жалобно дребезжащие звуки шарманки.

В глаза бросилась свежая, лепящаяся на стене листовка:

Петроградская городская дума доводила до сведения граждан, что накануне ею создан Комитет общественной безопасности.

Ого! Это что-то новенькое! Рид осторожно отлепил листовку, сунул в карман куртки.

Потом лишь понял — липкий, расползающийся под пальцами листок серой бумаги означал объявление большевикам войны.

Откуда-то навстречу выскочил мальчишка-газетчик в рваной кацавейке. На самые уши нахлобучена старая матросская бескозырка. Пронзительно заверещал:

— Газета «Рабочий путь»! Газета «Рабочий путь»!

Торопливо выхватил из детских рук номер, не глядя сунул керенку. А в передовой грозно:

«Всякий солдат, всякий рабочий, всякий истинный социалист, всякий честный демократ не могут не видеть, что созревшее революционное столкновение уперлось в немедленное разрешение:

Или — или.

Или власть переходит в руки буржуазно-помещичьей шайки…

…Или власть перейдет в руки революционных рабочих, солдат и крестьян…»

И выше афишным шрифтом заголовок: «Вся власть Советам рабочих, солдат и крестьян! Мира! Хлеба! Земли!»

Значит, бой начался…

На углу с Невским попался знакомый меньшевик-оборонец. Рид спросил, правда ли, что произошло восстание. Тот лишь пожал плечами.

— Черт его знает… Может быть, большевики и могут захватить власть, но больше трех дней им ее не удержать. Страной управлять — это, знаете ли, батенька… Может быть, лучше и дать им попробовать — на этом они сами свернут себе шею…

Ответу не удивился. Знакомые песни. Неожиданно мелькнула озорная мысль: «Интересно, а сколько бы продержались меньшевики? Пожалуй, меньше трех дней».

Рассмеялся неудержимо и, не попрощавшись с оторопевшим «тоже социалистом», торопливо зашагал к Исаакиевской площади.

Около Мариинского дворца, где заседал обычно «Временный Совет Российской Республики», — цепь вооруженных солдат. На набережной Мойки баррикада — штабеля дров, бочки, ящики, поваленный набок трамвайный вагон. Возле баррикады серая туша броневика с красным флагом на тупорылой башне. Его пулеметы направлены на крышу Исаакия. И отовсюду, насколько охватывал взор, стягивались ощетинившиеся штыками колонны

матросов и солдат. Урча и чихая, на площадь выкатил грузовик. На переднем сиденье — вооруженные солдаты. Сзади — нахохлившиеся мокрые фигурки членов Временного правительства.

Среди солдат Рид узнал Якова Петерса. Тот приветливо помахал рукой.

— Я думал, что вы переловили ночью всех этих господ! — крикнул Рид.

— Эх, — Петерс досадливо выругался, — большую половину выпустили раньше, чем мы решили, что с ними делать!..

Латышу было явно не до рассказов, и, не теряя времени. Рид направился дальше — к Зимнему.

Окруженная со всех сторон кордонами вооруженных солдат, Дворцовая площадь выглядела какой-то растерянной Сиротливо и беспомощно вздымался к хмурому, неприветливому небу Александрийский столп.

Еще вчера надменно-царственный центр страны, сегодня судьбами истории Дворцовая площадь превратилась в задний двор старой России.

У всех входов часовые — неизвестно чьи. Рид предъявил им мандат Смольного. Никакой реакции. Рид пожал плечами. Значит, придется пускать в ход американский паспорт. В керенском государстве эта пухлая книжища всегда оказывалась каким-то магическим «Сезам, отворись!». На этот раз — тоже. Вильямс только хмыкнул.

Древний швейцар с горемыкинскими бакенбардами, одетый в синюю, расшитую позументом ливрею, почтительно принял плащ и шляпу. Не встречая больше никаких препятствий, американцы поднялись по лестнице. В длинном мрачном коридоре ни души. На стенах темные квадраты — следы содранных гобеленов. Паркет затоптан. На всем печать заброшенности и отчуждения. Возле кабинета Керенского, бесцельно покусывая ус, топтался молодой офицер. При появлении иностранцев он оживился.

Представившись, Рид спросил, может ли он проинтервьюировать министра-председателя.

— К сожалению, нельзя, — ответил офицер по-французски. — Александр Федорович очень занят…

Замявшись, он добавил нерешительно:

— Собственно говоря, его здесь нет…

— Где же он?

— Поехал на фронт. Ему не хватило бензину для автомобиля, пришлось занять в английском госпитале.

— А министры здесь?

— Да, заседают в какой-то комнате.

— Большевики сюда придут?

— Конечно. Я думаю, что с минуты на минуту. Но мы готовы. Дворец окружен юнкерами. Они за той дверью.

— Можно туда пройти?

— Конечно, нельзя. Впрочем… — не окончив фразы, офицер торопливо попрощался, повернулся и ушел.

— Ты думаешь, Джек, он сказал правду? — шепотом спросила Луиза.

— Ты имеешь в виду Керенского? Скорее всего да.

Офицер действительно сказал правду, хотя и не всю. Всю правду о своем председателе не знали даже сами министры.

Еще утром, узнав в штабе округа, что в распоряжении Временного правительства войск очень немного и что отряды ВРК один за другим захватывают ключевые позиции в городе, Керенский спешно уехал из Петрограда. Оставив своим заместителем министра торговли и промышленности Коновалова, Керенский просто бежал в автомобиле американского посольства якобы навстречу вызванным им надежным войскам.

После короткого совещания американцы решили продолжить экскурсию по дворцу. Рид толкнул первую попавшуюся дверь. Она оказалась запертой снаружи.

— Чтобы солдаты не ушли, — с наивной непосредственностью объяснил откуда-то появившийся старик служитель со связкой ключей.

Из-за двери доносились какие-то голоса, порой пьяный смех. Желание познакомиться поближе с защитниками последней цитадели Временного правительства взяло верх над благоразумием, и Рид решительно отворил дверь…

Перед ним простиралась анфилада великолепных комнат, увешанных картинами на батальные темы. Некоторые полотна были продраны насквозь, по-видимому — штыками. Прямо на паркете валялись грязные солдатские тюфяки. И повсюду битые бутылки из-под дорогих французских вин, пустые консервные банки, окурки, следы плевков.

У окон — винтовки в козлах. На подоконниках — амуниция, подсумки с патронами. Затхлый, тяжелый воздух казармы — вонючая смесь застарелого табачного дыма, спиртного перегара, испарений немытых человеческих тел. И в сизом чаду какие-то нереальные, зыбкие фигуры в солдатской форме с красными с золотом юнкерскими погонами.

Качнувшись, одна из фигур — в офицерском мундире — представилась:

— Штабс-капитан Арцыбашев…

Левой рукой офицер вежливо приподнял фуражку, правая у

него была занята откупоренной бутылкой бургундского.

Штабс-капитан был в той степени опьянения, когда способность удивляться утрачивается. Неожиданное появление в этой казарме, украшенной лепными купидонами, иностранцев, в том числе и женщины, он воспринял как нечто совершенно естественное.

Узнав, что перед ним американцы, штабс-капитан доверительно пожаловался на падение из-за революции благородных традиций русского офицерства, вслед за чем без всякой последовательности попросил помочь ему уехать в Америку. И даже записал свой адрес на грязном клочке бумаги.

Юнкера принялись хвастаться:

— Большевики — трусы… Пусть они только сюда покажутся, мы им зададим!..

Заключив из этих слов, что последние защитники Временного правительства чувствуют себя явно не в своей тарелке, Рид со спутниками покинул Зимний дворец. Выйдя на набережную, он расправил плечи и жадно вдохнул всей грудью свежий ветер с Невы…

Было уже почти темно, когда трое американцев зашли в гостиницу, чтобы что-нибудь перекусить. За столом сидели молча, лишь изредка перебрасывались случайными фразами. Каждый пытался привести хоть в какой-то порядок сумбурные впечатления событий дня, уловить связь между ними, нащупать, угадать за кажущимся хаосом закономерность, разгадать в нем железную волю людей, решающих сегодня судьбу России. И не только России.

Возвращаясь из Зимнего дворца, американцы успели узнать от встречных, что еще утром Военно-революционный комитет принял обращение «К гражданам России», в котором сообщал о низложении Временного правительства и переходе всей власти в руки Советов. Позднее Риду стало известно, что написал обращение Ленин.

Солдаты-павловцы, перекрывшие движение по Невскому на Полицейском мосту, после предъявления им мандатов Смольного рассказали товарищам иностранным социалистам, что отряды восставших уже овладели правительственным телеграфом, военным портом, радиостанцией, Главным Адмиралтейством, захватили тюрьму «Кресты» и освободили находящихся в ней политических заключенных.

В то время, пока Рид, Вильямс и Луиза беседовали с юнкерами в Зимнем, дворец был уже окружен. У Николаевского моста, где еще в половине четвертого утра отдала якорь «Аврора», высадился десант кронштадтцев.

Полторы тысячи моряков-гельсингфорсцев, выехавших в Питер по суше, заняли линию железной дороги от Гельсингфорса до Белоострова, закрыв вызванным с фронта Временным правительством контрреволюционным войскам путь к столице.

Отряды красногвардейцев Выборгского района и солдаты Московского полка закрепили за собой Финляндский вокзал, Литейный и Гренадерский мосты.

Отряды вооруженных рабочих с Васильевского острова готовы через Николаевский мост поддержать кронштадтцев. Казачьи части и юнкерские училища надежно блокированы революционными солдатами и красногвардейцами.

Фактически весь город был уже в руках восставших. Сохранившие верность правительству юнкера и георгиевские кавалеры утром перетаскали от главного штаба сложенные там дрова и устроили из них баррикаду вокруг Зимнего дворца, «власть» Временного правительства держалась теперь лишь на штабелях березовых дров…

Троим американцам так и не пришлось пообедать в этот день. Только лишь принялись за суп, как подбежал перепуганный официант, попросил перейти в другой зал, выходящий окнами во двор:

— Будьте любезны, господа, сейчас начнется стрельба…

Рид вопросительно посмотрел на жену… Поняв его без слов.

Луиза встала. Повернулась к Вильямсу:

— Мы с Джеком лучше вернемся на улицу. А как вы, Альберт?

— Разумеется, с вами, — просто отозвался Вильямс, уже направляясь к выходу.

Невский — людской водоворот. На каждом углу под тускло мерцающими вполнакала фонарями — толпа. За бурлящим перекрестком с Садовой Невский словно впал в обычное русло. Как всегда, сияли витрины дорогих магазинов, переливались огнями вывески кинематографов и ресторанов. Фланирующие по тротуарам бездельники демонстративно «не замечали» проезжающие время от времени по мостовой броневики, на которых поверх старых названий «Олег», «Рюрик», «Святослав» краснели огромные буквы «РСДРП». Броневики двигались вниз, к Зимнему.

Джон Рид и его спутники еще не знали, что в 14 часов 35 минут Ленин уже бросил во взорвавшийся овацией Белый зал Смольного знаменитые слова, потрясшие мир:

«Товарищи! Рабочая и крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась…»

Смольный бурлил. К его сверкающему огнями фасаду со всех

сторон стекались все новые и новые отряды вооруженных красногвардейцев, матросов, солдат. В зыбком пламени разложенных во дворе костров тысячами ответных искр отблескивали штыки.

В самом Смольном — гул голосов, лязганье тяжелых подкованных сапог по паркету, бряцание оружия, хриплые выкрики командиров. Рабочие в черных тужурках, солдаты в длинных серых шинелях и высоких, заломленных папахах, матросы в бушлатах, перепоясанных пулеметными лентами. За плечами у каждого — вниз стволом — карабин. У некоторых на поясе гранаты-бутылки. Время от времени сквозь бурлящий людской поток прорывался кто-нибудь из членов ВРК.

Откуда-то появился Луначарский, зажав под мышкой пухлый портфель. Рид попытался его остановить.

— Некогда, некогда, только что окончилось заседание Петроградского Совета, приняты важные решения. — И Луначарский исчез, словно растворился в шинелях, куртках, бушлатах.

— Хэлло, Джек!

Рид оглянулся. Откуда-то из глубины коридора к нему пыталась протиснуться женская фигурка. Бесси Битти! И она здесь! За Бесси едва поспевал Александр Гамберг. Торопливо, перебивая друг друга, принялись выкладывать новости.

— Стойте, стойте, — остановил их Вильямс, — давайте по порядку. Мы весь день мотались по городу и ничего не знаем, что тут происходит.

— Петроградский Совет принял резолюцию, — Гамберг вытащил блокнот, прямо с листа начал расшифровывать стенограмму.

— Совет приветствует победоносную революцию пролетариата и гарнизона Петрограда… Совет выражает непоколебимую уверенность, что рабочее и крестьянское правительство твердо пойдет к социализму… Оно немедленно предложит справедливый, демократический мир всем народам… Совет убежден, что пролетариат западноевропейских стран поможет нам довести дело социализма до полной и прочной победы.

— Конечно, поможет. — Рид торопливо стал переписывать слова обращения в свою записную книжку.

Огромный ярко освещенный зал заседаний Смольного был забит до отказа. Повсюду — на скамьях, стульях, прямо в проходах, даже на возвышении для президиума — сидели люди. В спертом воздухе почти недвижно повисли густые сизые клубы табачного дыма. Зал то застывал в напряженной, тревожной

тишине, то вдруг взрывался яростно и гневно.

За столом президиума лидеры старого ЦИКа: бледные, растерянные, с ввалившимися глазами. Гоц нервно мнет в руке какую-то бумажку… Либер невидяще уставился пустым взглядом куда-то поверх голов… Губы его беззвучно шевелятся.

Словно нехотя, над столом президиума поднялась карикатурная фигурка Дана в мешковатом мундире военврача. Вяло звякнул председательский колокольчик.

— Власть в наших руках, — печально начал Дан, его дряблое лицо свело тиком, — а в это время наши партийные товарищи находятся в Зимнем дворце под обстрелом, самоотверженно выполняя свой долг министров.

Зал заревел яростно, исступленно:

— Долой! Вон! Министры нам не товарищи!

Под свист, улюлюканье, крики делегатов старый президиум очистил трибуну. Его место уверенно по-хозяйски занял новый — четырнадцать большевиков.

Меньшевики протестуют, вскакивают, кричат. Им предлагают места в президиуме — пропорционально числу делегатов. Они не согласны.

— Это неслыханное насилие! — вопит кто-то с места. Бородатый солдат, сидящий рядом с американцами, резко встает и, перекрывая визг протестующих, гневно кричит:

— А что вы делали с нами, большевиками, когда мы были в меньшинстве?

Мартов протолкался к трибуне. Надтреснутым, профессорским голосом назидательно заговорил:

— Гражданская война началась, товарищи. Наша задача — мирное разрешение вопроса…

В зале хохот, злой, непримиримый. И кто-то в ответ:

— Победа — вот единственное решение вопроса! Офицер-трудовик:

— Советы не имеют поддержки в армии, захват власти Советами — преступление, нож в спину революции!

— Предатель! — ревут солдаты. — Корниловец! От штаба говоришь, а не от армии. Мы — за Советы!

Овация. И нет офицера. Словно смыло.

— Мы не можем остаться здесь и взять ответственность за преступление! — истерически кричит делегат-меньшевик.

Группа меньшевиков, эсеров, еще кто-то устремляется к выходу.

— Скатертью дорожка! — несется им вслед. — Дезертиры! Предатели! В мусорную яму истории!

На какое-то мгновение в зале стало тихо, и в следующую же

секунду, словно не выдержав собственной тяжести, тишина раскололась орудийным грохотом. Орудия цитадели царизма — Петропавловской крепости, — молчавшие двести лет, открыли огонь по Зимнему дворцу..

Рид сидел, уткнувшись в блокнот на коленях, стиснутый между Вильямсом и бородатым окопником с изможденным, землистым лицом. Воспаленные глаза солдата, не отрываясь, жадно следили за трибуной. Он не выкрикивал, не вскакивал то и дело с места, как другие делегаты. Лишь по тому, как сжимались в кулаки его тяжелые руки, можно было догадаться, какие мысли будили в нем речи ораторов.

В одну из коротких пауз между выступлениями к Риду наклонилась Луиза. Она с Бесси и Гамбергом сидела на скамье в следующем ряду.

— Тебе не кажется странным, Джек, — шепнула она в самое ухо, — что в зале нет ни Ленина, ни других видных большевиков? Ведь съезд за них…

Тем же шепотом, чуть откинувшись назад, Рид высказал свои предположения:

— Думаю, что сейчас у них есть более неотложные дела. Зимний еще не взят, хотя за него я не поставлю и двух центов против миллиона долларов. Вряд ли есть смысл Ленину терять сейчас время на дискуссии. Съезд все равно пойдет за ним. Пока министры не арестованы, дело нельзя считать завершенным.

Рид был прав. В то время как правые эсеры и меньшевики изливали фонтаны негодования в бессильных потугах привлечь на свою сторону делегатов, в угловой комнате на втором этаже Смольного Ленин руководил восстанием. Каждую минуту отсюда во все концы города спешили на самокатах, мотоциклах, автомобилях нарочные с приказами и распоряжениями ВРК. Уходили в ночь отряды вооруженных.

Задержка взятия Зимнего замедляла проведение в жизнь ленинского плана работы съезда. Одну за другой набрасывал Ильич своим стремительным почерком записки Антонову, Подвойскому, Чудновскому с требованием штурмовать дворец.

Временное правительство, хватаясь даже не за надежду, а за слабый призрак ее, ответило отказом на требование сдаться без боя. В восемь часов вечера Григорий Чудновский доставил в Зимний повторный ультиматум с последним предложением капитулировать.

Руководитель охраны дворца Пальчинский, потеряв от бессильной злобы и отчаяния не только здравый смысл, но и чувство юмора, приказал арестовать парламентера.

Чудновский только пожал плечами — уж он-то, один из

непосредственных руководителей осаждающих, знал, что арест — фикция, такой же мираж, как и то, что человек, приказавший безапелляционным голосом взять его под стражу, считается чуть ли не «генерал-губернатором».

Ему не пришлось даже дожидаться штурма, чтобы выйти на свободу. Зашумели, заволновались юнкера-ораниенбаумцы.

— Позор! Это парламентер! Мы ему дали честное слово!

Из толпы юнкеров выскочил мальчишка-прапорщик.

И грубо, яростно ринулся к Пальчинскому.

— Мы требуем немедленного освобождения парламентера! Для чего вообще нас привели сюда? Умирать за Керенского? Во имя чего?

Чудновского освободили… Час спустя, потеряв всякую веру в правительство, оставили дворец юнкера школы Северного фронта, ораниенбаумцы, михайловцы, казаки, часть женского ударного батальона… Всего около тысячи человек…

Не имея сил вступить в настоящий бой и не имея мужества признать поражение, правительство продолжало упорствовать… Тупо, безнадежно, равнодушное даже к собственной участи.

В 21 час 45 минут, после того как Временное правительство отвергло последнюю возможность избежать напрасного кровопролития, прогремел холостой выстрел с «Авроры».

Выстрел «Авроры»…

Комендор Евдоким Огнев рванул шнур носового шестидюймового орудия. Раскололось с грохотом и пламенем небо над Невой, с протяжным звоном ударилась о палубу крейсера дымящаяся медь стреляной гильзы…

И навсегда запомнила история этот единственный выстрел, не унесший ни одной жизни, но разбивший разом последнюю цепь на России.

Уже пробираясь к выходу из зала и не обращая внимания на толкотню и давку, Джон Рид торопливо дописывал в блокноте: «Непрерывный отдаленный гром артиллерийской стрельбы, непрерывные споры делегатов… Так под пушечный гром в атмосфере мрака и ненависти, дикого страха и беззаветной смелости рождалась новая Россия».

Риду было ясно, что сейчас там, на огромной площади перед Зимним дворцом, происходит кульминационное событие того дня, из-за которого одного стоило пересечь Атлантику.

Подхватив жену и Бесси, он устремился к выходу, ловко используя старые футбольные навыки, прорезая людскую пробку у дверей. Гамберг и Вильямс едва продирались за ним.

У ворот Смольного трясся от работающего мотора огромный армейский грузовик с высокими бортами. Его кузов был уже забит

красногвардейцами и солдатами.

Отчаянно размахивая всеми имеющимися у них документами, пятеро американцев, выкрикивая наиболее подходящие при данных обстоятельствах русские слова, кинулись к машине. По-видимому, их достаточно хорошо поняли, потому что под добродушные шутки и смех всех пятерых мгновенно втащили в кузов. Мотор взревел, и с отчаянным скрежетом в коробке скоростей автомобиль сорвался с места.

Отдышавшись, Рид заметил, что на полу сложены пачки каких-то листовок. Время от времени кто-нибудь из его случайных попутчиков распечатывал очередную пачку и разбрасывал прокламации. Белые листки стремительно разлетались от встречного ветра. Прохожие на лету ловили их. Рид взял одну листовку — на ней было отпечатано воззвание ВРК. Оставив этот экземпляр себе, Рид стал помогать разбрасывать остальные.

На углу Екатерининского канала машина остановилась. Дальше предстояло добираться пешком. На Морской американцы присоединились к колонне красногвардейцев. Когда отряд достиг арки Главного штаба, Рид со своими спутниками успел уже протискаться в передние ряды. Без песен и криков человеческая река хлынула под арку, смяла, сокрушила, разметала дровяные баррикады и покатилась дальше, неудержимо заливая огромную площадь.

Ни одного выкрика — только топот тысяч сапог, стук пулеметных катков, непрерывный треск винтовок, хлопки ручных гранат.

У цоколя Александрийской колонны передовая цепь — человек двести красногвардейцев задержались, а затем, словно ощутив прилив свежих сил, снова кинулись вперед, к ярко сияющему тысячью окон Зимнему.

И наконец:

— Ура-а-а!!!

Грозное, громовое, торжествующее…

Чьи-то черные на фоне ночного неба фигуры метнулись первыми к дворцовой решетке, и вот уже человеческая волна ворвалась в ворота, сорвала двери и, разделившись на отдельные потоки, хлынула на белокаменные лестницы.

В одном из бешено клокочущих водоворотов — пятеро американцев… В руках у Рида сорванная где-то со стены шашка… Вместе со всеми вперед, дальше, к той неведомой еще никому комнате, последней норе уже даже не Временного…

Откуда-то из бокового коридора — Антонов. Худой, взъерошенный, глаза — как угли. За ним — Чудновский. Увлекая

за собой матросов, красногвардейцев, оба комиссара, не обращая внимания на бросающих винтовки юнкеров и офицеров, бежали по бесконечной анфиладе дворцовых комнат.

Рид мгновенно понял: сейчас эти двое совершат то, чего с нетерпением ждет в Смольном Ленин, ждут делегаты съезда, ждет Россия.

— Они идут арестовывать правительство!

И Джон Рид, представитель американской социалистической печати, устремился — за людьми, расчищающими дорогу первому в мире социалистическому правительству.

У порога обширной залы последнее препятствие — неподвижный ряд юнцов с винтовками наизготовку. Они словно окаменели. В глазах, как схваченный на лету крик, отчаяние…

Антонов вырывает у одного винтовку. Юнкер чуть не падает, он и не думает сопротивляться.

Словно не замечая направленных на него штыков, Антонов спрашивает громко, повелительно:

— Временное правительство здесь?

Не дожидаясь ответа, шагнул прямо сквозь шеренгу. Отстал Чудновский, с радостным, торжествующим возгласом рванул на себя за лацканы сюртучка недавнего знакомца — Пальчинского. Гаркнул, вытряхивая душу из помертвевшего от страха генерал-губернаторского тела:

— Ну, вот и ваш черед, господин хороший!

И тут же людская лавина смяла, завертела, отбросила юнкеров, хлынула дальше, в последнее прибежище последнего буржуйского правительства России.

Комната. Небольшая, в трепетных бликах свечей. За длинным столом, сливаясь в зыбкое, трепетное пятно, безликие, призрачные фигуры. Глаза пустые, невидящие.

И Антонов, словно взброшенный на гребне штормовой волны, неожиданно спокойно, буднично:

— Именем военно-революционного правительства объявляю вас арестованными…

Выходят по одному пятнадцать временщиков, держа за фалды друг друга. К ним присоединяют остальных. Вокруг — плотное кольцо караула. Приткнувшись плечом к стене, стенографическими крючками Рид наспех черкает в блокноте фамилии арестованных.

Терещенко — пухлое детское лицо с приказчичьим пробором и неожиданно тучная, бесформенная фигура — в дверях словно очнулся. Насел яростно на конвоира, матроса с «Авроры»:

— Ну и что вы будете делать дальше? Как вы управитесь без нас, без…

— Ладно уже, — отрезал моряк, — управимся! Только бы вы не мешали…

Комната опустела. Из соседних зал доносится зычный голос:

— Товарищи, ничего не брать! Революция запрещает. Это принадлежит народу. Всем очистить помещение!

Рид подходит к длинному столу, покрытому зеленым сукном. Стол завален бумагами, планами, картами. Память цепко замечает: на некоторых листках бессмысленные геометрические чертежи. Заседавшие машинально чертили их, безнадежно слушая, как выступавшие предлагали все новые и новые химерические проекты.

Рид взял один листок на память. На нем рукой Коновалова, словно в насмешку над самим собой:

«Временное правительство обращается ко всем классам населения с предложением поддержать Временное правительство…»

Когда Рид со своими спутниками покинул Зимний дворец, было уже три часа утра. Площадь перед дворцом была заполнена людьми. Солдаты, красногвардейцы, матросы грелись вокруг костров.

Американцы решили вернуться в Смольный, где, по их расчетам, еще продолжалось первое заседание съезда. Рид предложил по пути заглянуть в городскую думу — вторую после Зимнего цитадель буржуазии в Питере:

— Надо посмотреть, что они теперь собираются делать после ареста правительства.

В Александровском зале думы вокруг трибуны толкалось около ста человек. К своему удивлению, Рид узнал среди них и некоторых делегатов съезда — меньшевиков и эсеров, несколько часов назад демонстративно покинувших Смольный.

Но недоумение было недолгим. Поразмыслив, Рид решил, что, — собственно говоря, удивляться нечему. Куда же было деваться Дану, Гоцу, Авксентьеву и другим, как не сюда, в кадетское логово?

Рида поразил контраст между этим собранием и съездом Советов. Там — огромные массы обносившихся солдат, изможденных рабочих и крестьян — все бедняки, согнутые и измученные жестокой борьбой за существование; здесь — меньшевистские и эсеровские вожди, бывшие министры-социалисты. Рядом с ними — журналисты, студенты, интеллигенты всех сортов и мастей. Упитанные, хорошо одетые.

Посещение думы, хотя и кратковременное, не осталось бесполезным для американских журналистов: они явились свидетелями первого после Октябрьского переворота заговора

буржуазии против народа. В их присутствии Комитет общественной безопасности был расширен с целью объединения всех антибольшевистских элементов в одну организацию — пресловутый «Комитет спасения родины и революции».

Дальше оставаться в думе было незачем, и пятеро американцев продолжили свой путь по тревожным петроградским улицам.

Они поспели в ярко освещенный тысячью огней Смольный как раз в ту историческую минуту, когда II Всероссийский съезд рабочих и солдатских депутатов, опираясь на волю громадного большинства рабочих, солдат и крестьян, опираясь на совершившееся победоносное восстание, взял власть в свои руки.

Но день, первый день из десяти, которые потрясли мир, на этом не кончился, хотя одна заря уже сменила другую. И после освещенной багровым пламенем костров ночи, когда пал Зимний, этот день вместил в себя еще одну ночь, когда Смольный, революционный Смольный впервые после победы встретил Ленина.

И Джек Рид стал человеком, на долю которого выпало счастье навеки сохранить для истории облик Ленина-победителя. «… Громовая волна приветственных криков и рукоплесканий возвестила появление членов президиума и Ленина — великого Ленина среди них. Невысокая коренастая фигура с большой лысой и выпуклой, крепко посаженной головой. Маленькие глаза, крупный нос, широкий благородный рот, массивный подбородок, бритый, но с уже проступавшей бородкой… Потертый костюм, несколько не по росту длинные брюки. Ничего, что напоминало бы кумира толпы, простой, любимый и уважаемый так, как, быть может, любили и уважали лишь немногих вождей в истории. Необыкновенный народный вождь, вождь исключительно благодаря своему интеллекту, чуждый какой бы то ни было рисовки, не поддающийся настроениям, твердый, непреклонный, без эффектных пристрастий, но обладающий могучим уменьем раскрыть сложнейшие идеи в самых простых словах и дать глубокий анализ конкретной обстановки при сочетании проницательной гибкости и дерзновенной смелости ума…

…Он стоял, держась за края трибуны, обводя прищуренными глазами массу делегатов, и ждал, по-видимому не замечая нарастающую овацию, длившуюся несколько минут. Когда она стихла, он коротко и просто сказал:

«Теперь пора приступить к строительству социалистического порядка!»

Новый потрясающий грохот человеческой бури…

…Ленин говорил, широко открывая рот и как будто улыбаясь;

голос его был с хрипотцой — не неприятной, а словно бы приобретенной многолетней привычкой к выступлениям — и звучал так ровно, что казалось, он мог бы звучать без конца…

Желая подчеркнуть свою мысль, Ленин слегка наклонялся вперед. Никакой жестикуляции. Тысячи простых лиц напряженно смотрели на него, исполненные обожания.

…От его слов веяло спокойствием и силой, глубоко проникавшими в людские души. Было совершенно ясно, почему народ всегда верил тому, что говорит Ленин.

…Неожиданный и стихийный порыв поднял нас всех на ноги, и наше единодушие вылилось в стройном, волнующем звучании «Интернационала».

…Могучий гимн заполнял зал, вырывался сквозь окна и двери и уносился в притихшее небо.

…А когда кончили петь «Интернационал»… чей-то голос крикнул из задних рядов: «Товарищи, вспомним тех, кто погиб за свободу!» И мы запели похоронный марш, медленную и грустную, но победную песнь, глубоко русскую и бесконечно трогательную.

Ведь «Интернационал» — это все-таки напев, созданный в другой стране. Похоронный марш обнажает всю душу тех забитых масс, делегаты которых заседали в этом зале, строя из своих смутных прозрений новую Россию, а может быть, и нечто большее…

Вы жертвою пали в борьбе роковой,
В любви беззаветной к народу.
Вы отдали все, что могли, за него,
За жизнь его, честь и свободу.
Настанет пора, и проснется народ,
Великий, могучий, свободный.
Прощайте же, братья, вы честно прошли
Свой доблестный путь благородный.

Во имя этого легли в свою холодную братскую могилу на Марсовом поле мученики мартовской революции, во имя этого тысячи, десятки тысяч погибли в тюрьмах, в ссылке, в сибирских рудниках. Пусть все свершилось не так, как они представляли себе, не так, как ожидала интеллигенция. Но все-таки свершилось — буйно, властно, нетерпеливо, отбрасывая формулы, презирая всякую сентиментальность, истинно…»

Эти строки не мог написать сочувствующий наблюдатель. Они могли родиться только под пером участника Великой революции. И Джон Рид стал им, быть может осознав это в тот счастливейший миг, когда вместе с русскими рабочими и

крестьянами приветствовал Ленина.

…В холодном, плохо протопленном номере гостиницы, уложив в постель падающую с ног от усталости Луизу, Джон Рид снял чехол с пишущей машинки.

Заложив в каретку лист чистой бумаги, привычно опустил пальцы на клавиатуру. Медленно, тщательно взвешивая каждое слово, стал печатать. Под сухой треск «Ундервуда» рождались строки, из которых предстояло узнать Америке о потрясении мира:

«Свершилось…

Ленин и петроградские рабочие решили — быть восстанию, Петроградский Совет низверг Временное правительство и поставил съезд перед фактом государственного переворота. Теперь нужно было завоевать на свою сторону всю огромную Россию, а потом и весь мир. Откликнется ли Россия, восстанет ли она? А мир, что скажет мир? Откликнутся ли народы на призыв России, подымется ли мировой красный прилив?

Было шесть часов. Стояла тяжелая и холодная ночь. Только слабый и бледный, как неземной, свет робко крался по молчаливым улицам, заставляя тускнеть сторожевые огни. Тень грозного рассвета вставала над Россией».

«ТОРЖЕСТВЕННО КЛЯНУСЬ!..»

В Петрограде спокойно. Рид отметил этот факт не случайно. Не нужно было обладать даром пророка, чтобы предсказать, какой вой поднимется в зарубежной прессе о «большевистской анархии», как только телеграфные провода разнесут весть о социалистической революции по свету. И Джек подробно описывал: беспорядков, грабежей и драк в городе нет. Круглосуточно улицы обходят патрули из вооруженных солдат и красногвардейцев. На стенах — объявления, лаконичные и решительные:

«Граждане!

Военно-революционный комитет заявляет, что он не потерпит никаких нарушений революционного порядка…

Воровство, грабежи, налеты и попытки погромов будут строго караться…

Следуя примеру Парижской коммуны, комитет будет безжалостно уничтожать всех грабителей и зачинщиков беспорядков…»

Обыватели распустили по городу слух, подхваченный всеми контрреволюционерами: в Петропавловской крепости большевики творят расправу над арестованными министрами и юнкерами. Вместе с думской комиссией Рид едет в крепость. Джек свидетельствует, арестованные министры Временного правительства содержатся вполне гуманно. Они получают тот же паек, что и стража.

Юнкеров же, как и ударниц, большевики вообще распустили по домам под честное слово, что они никогда не выступят против

народа. Бывшие «будущие офицеры» ответили на это почти немедленно мятежом…

Потом по городу прокатился другой, более серьезный слух: о приближении казачьих полков Керенского. На улицы вышли тысячи рабочих с винтовками: красный Петроград в опасности!

Рид и Вильямс кинулись в Смольный. Перед воротами стоял автомобиль с заведенным мотором. К его крылу прислонился совсем высохший и потемневший за эти бессонные ночи Антонов. Около машины расхаживал взад-вперед рослый матрос с густой, разбойничьего вида бородой, крутя в руках огромный револьвер. Глаза у него были неожиданно ясные. Рид уже знал, кто это, — Павел Дыбенко, балтиец, большевик. Он прибыл в город с эшелоном кронштадтских моряков.

Американцы уговорили комиссаров взять их с собой в Пулково, где ожидалось наступление казаков. На повороте к заставе у автомобиля лопнула шина.

— Что делать? — спросил Антонов.

— Реквизировать другой автомобиль, — предложил Дыбенко.

Как по заказу, подкатил роскошный «рено» с греческим флажком на радиаторе. Дыбенко поднял руку с револьвером:

— Стой!.. Вам придется уступить нам машину.

Господин европейского вида стал протестовать:

— Именем греческого короля…

Дыбенко некогда было слушать…

— Военная необходимость. Именем греческого пролетариата!

Американцы, проявив интернациональную солидарность, помогли комиссару освободить машину.

Рид после этой поездки еще несколько раз посетил фронт, пережив уйму приключений. Один раз его чуть не расстреляли красногвардейцы, приняв за шпиона. Объясняться с ними он не мог из-за взаимного незнания языка. Джек стал свидетелем разгрома казаков Керенского под стенами Петрограда, контрреволюционного мятежа, когда офицеры и юнкера на день захватили телефонную станцию, бойкота государственных служащих, отказывающихся служить Советам. Он видел, как переодетые провокаторы-офицеры стреляли с чердаков в прохожих и как кронштадтцы разогнали толпу хулиганов, пытавшуюся разгромить винные склады.

Рид всюду поспевал и везде успевал. Захваченный тысячью дел, он тем не менее ни на минуту не забывал, что он журналист, и пользовался каждым случаем, чтобы обогатить свои материалы к будущей книге. Рид умудрился собрать за эти немногие недели почти полные комплекты газет, выходивших в Петрограде, множество прокламаций всех партий, различных листовок,

приказов, объявлений, афиш. Большинство этих бесценных для историка документов он просто содрал со стен и круглых афишных тумб, стоявших в те времена на перекрестках улиц. Однажды Рид едва приволок, домой целую бумажную плиту из шестнадцати плакатов самых противоположных партий, наклеенных один на другой.

— Вот, одним махом заполучил всю русскую революцию, — объяснил он, чрезвычайно довольный собой, жене.

Луиза только покачала головой. Интересно, как Джек думает везти в Америку эти горы бумаги?

Пришло известие из Москвы, что юнкера зверски расстреляли в Кремле революционных солдат и в городе идут жестокие бои. Обыватели сразу разнесли, большевики до камня разрушили первопрестольную, Кремль сожжен, соборы разграблены. Опровергнуть слухи было нелегко: Николаевская железная дорога бездействовала из-за саботажа Викжеля[18], не признававшего Советскую власть. И весь обывательский Петроград ужаснулся: «Большевики бомбардировали Кремль! Вдребезги разбита святая святых русской нации!»

Клевете поверили многие. На заседании Совнаркома заплакал Луначарский и подал в отставку: «Не могу вынести этого разрушения красоты и традиции!»

Петроградский ВРК с помощью рядовых железнодорожников овладел Николаевским вокзалом и отправил в Москву несколько эшелонов моряков и красногвардейцев.

Эти события взволновали Джека. Комментируя их, он написал: «В сущности, Петроград, хотя он вот уже двести лет является резиденцией русского правительства, все же так и остался искусственным городом. Москва — настоящая Россия, Россия, какой она была в прошлом и станет в будущем. В Москве мы сможем почувствовать истинное отношение русского народа к революции».

15 ноября, заручившись пропуском в Смольном, Рид с женой выехали в Москву. В занесенной снегом первопрестольной столице маленькие извозчичьи санки доставили их в гостиницу «Националь». Все стекла были выбиты, по номеру гулял ледяной ветер. На пустынной Тверской булыжная мостовая была разворочена, попадались воронки от снарядов.

Позавтракав в вегетарианской столовой (над входом надпись: «Я никого не ем!»), Рид отправился в Московский Совет, занявший импозантный генерал-губернаторский дворец на Скобелевской площади.

В роскошном парадном зале десятки женщин-работниц прямо на полу шили из красных и черных полотнищ знамена для

похорон жертв революции. У многих на глазах были слезы…

За письменным столом в углу зала сидел человек средних лет, в очках, одетый в старенькую черную блузу. Познакомились. Это оказался Михаил Рогов, один из руководителей Московского Совета.

Он внимательно выслушал американца, хмыкнул язвительно:

— Ну и брехуны!.. Москва стоит, как стояла. Повреждения есть, конечно, но их залатаем. А вот людей… людей не вернешь. Наших много полегло. Завтра хороним утром. Приходите.

Потом добавил возмущенно:

— А эти-то каковы? Меньшевики и эсеры? Предлагают хоронить наших вместе с юнкерами…

Рид обошел за день город, сколько мог. И убедился, Рогов прав: Москва жива!

Утром древняя столица хоронила своих героев. Почтить их память пришел и американский социалист Джон Рид.

Через Иверские ворота уже текла густая людская река, заполняя Красную площадь. Джек заметил, что, проходя мимо Иверской часовни, никто не крестился, как раньше. С зубцов Кремлевской стены спадали огромные полотнища кумача с надписями: «Мученикам авангарда мировой социалистической революции» и «Да здравствует братство рабочих всего мира!» Оркестр играл «Интернационал».

Потом понесли гробы бесконечной вереницей. Грубо сколоченные ящики из неотесанных досок, покрытых красной краской. За гробами, плача, шли женщины: матери, жены, сестры, дочери…

Траурная процессия шла до вечера. Один за другим в длинные ямы, вырытые вдоль Кремлевской стены, опустили пятьсот гробов. Наконец по ним гулко застучала земля…

«Зажглись фонари. Пронесли последнее знамя, прошла, с ужасной напряженностью оглядываясь назад, последняя плачущая женщина. Пролетарская волна медленно схлынула с Красной площади…

И вдруг я понял, что набожному русскому народу уже не нужны больше священники, которые помогали бы ему вымаливать царство небесное. Этот народ строил на земле такое светлое царство, какого не найдешь ни на каком небе, такое царство, за которое умереть — счастье!..»

Вернувшись в Петроград, Рид на несколько дней засел за машинку и написал серию статей для нью-йоркской социалистической газеты «Колл» («Призыв») и «Мэссиз». Одна из них называлась: «Красная Россия — триумф большевиков».

«Впервые в истории, — писал Рид, — рабочий класс взял

государственную власть для своих собственных целей и намерен удержать ее. И, как каждый может видеть, в России нет силы, которая могла бы бросить вызов власти большевиков. И тем не менее… только что родившаяся революция пролетариата окружена страхом и ненавистью. У пролетарской революции нет других друзей, кроме пролетариата».

Последняя фраза применительно к самому Риду отнюдь не противоречива. К этому времени Джек считал себя не другом революции, а ее прямым участником. Все сомнения, неуверенность, о чем он писал в «Почти тридцать», исчезли, растаяли после выстрела «Авроры». Рид обрел себя окончательно и навсегда. Сочувствующий исчез, его место занял убежденный революционер. В Мексике он, правда, участвовал в партизанской войне, но лишь из симпатий к правому делу и для полноты впечатлений. Это участие не требовало ломки всего его мировоззрения, идеалов, привязанностей. Участие в русской революции означало окончательный и бесповоротный разрыв с миром, в котором он родился и вырос, полный переход на сторону рабочего класса, признание коммунистической идеологии своей собственной.

Описание событий уже не удовлетворяло Джека, он стал искать прямой работы на Советскую власть. И такая работа нашлась.

При Федерации иностранных групп РКП(б) было создано Бюро прессы. В его состав вошли литераторы и агитаторы, иностранцы по происхождению. Бюро занималось подготовкой и распространением печатных изданий, переводом на иностранные языки советских декретов, а также агитационной работой среди солдат империалистических держав, в частности среди многочисленных военнопленных. Вильямс вспоминал позднее: «Большевики не имели тогда Красной Армии, которая могла бы выступить против немцев, не было у них и артиллерийских батарей. Зато у них имелись батареи линотипов и печатных станков, которые косили ряды немецких солдат смертоносной шрапнелью пропаганды».

О создании Бюро Джек узнал от Бориса Рейнштейна и уже на следующий день предложил свои услуги, которые и были незамедлительно приняты.

Худой, длинноусый, мрачноватый на вид Борис Рейнштейн был весьма примечательной фигурой. Он родился в Ростове и работал там же в аптеке. Еще юношей участвовал в революционном движении, не раз был арестован. В 1901 году, когда ему было тридцать три года, приехал в Нью-Йорк и вступил в Социалистическую рабочую партию. Узнав о революции,

вернулся на родину.

Рейнштейн стал руководителем маленькой группы американцев в Бюро, в которую, кроме него, вошли Рид и Вильямс. Это было настоящее дело, значение которого трудно переоценить.

Бюро выпускало три газеты: на немецком, венгерском и румынском языках, множество плакатов и листовок, несущих слова большевистской, ленинской правды о коммунизме, войне и мире, Советской власти.

Десятки тысяч газет, плакатов и листовок разбрасывались с аэропланов над немецкими окопами, нелегально провозились за границу, распространялись среди военнопленных.

Основным считалось немецкое издание — газета «Факел», через двенадцать номеров переименованная в «Народный мир».

Рид и Вильямс внесли в содержание и оформление газеты американский размах и изобретательность, отдали почетной работе весь свой журналистский талант и опыт.

Они задумали целую серию небольших, но броских, общепонятных плакатов, которую назвали «Русская революция в картинках».

Один из выпущенных ими плакатов изображал здание бывшего германского посольства, на фасаде которого развевалось красное знамя. Надпись на плакате:

«Посмотри на это огромное знамя. На нем слова знаменитого немца. Бисмарка? Гинденбурга? Нет. Это призыв бессмертного Карла Маркса к международному братству: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

Это не просто украшение германского посольства. Русские подняли его с самыми серьезными намерениями, бросив вам, немцам, те самые слова, которые подарил всему миру Карл Маркс семьдесят лет назад.

Наконец-то основана настоящая пролетарская республика! Но эта республика не будет в безопасности до тех пор, пока рабочие всех стран не завоюют государственную власть.

Русские крестьяне, рабочие и солдаты скоро направят послом в Берлин социалиста. Когда же немцы пошлют интернационалиста-социалиста в это здание германского посольства в Петрограде?»

Другое фото изображало солдата, срывающего с дворца императорских орлов. Надпись:

«На крыше дворца солдат срывает ненавистную эмблему самодержавия. Внизу толпа сжигает этих орлов. Солдат в толпе объясняет, что свержение самодержавия — это только первый шаг в развитии социалистической революции.

Свергнуть самодержавие — нетрудно. Самодержавие покоится лишь на слепом повиновении солдат. Стоило русским солдатам прозреть — и самодержавия не стало».

Страстная и доступная каждому, эта большевистская пропаганда разлагала кайзеровскую армию, революционизировала германских рабочих и крестьян, одетых в солдатские шинели. Это признал даже сам Макс Гофман, немецкий генерал и злейший враг Советской власти: «Большевики подорвали моральное состояние нашей армии и принесли нам поражение и революцию, ведущую нас к гибели».

Те два месяца, что Рид работал в Бюро международной революционной пропаганды (оно называлось и так), он был безмерно счастлив. Ни одна работа еще не давала ему столь полного морального удовлетворения, хотя и отнимала двадцать четыре часа в сутки.

Было одно-единственное обстоятельство, омрачавшее его жизнь: полное отсутствие каких-либо писем с родины. Он отправил в «Мэссиз» уже несколько корреспонденции, две-три телеграммы с просьбой прислать деньги и инструкцию. Никакого ответа! Рид еще не знал, что в Соединенных Штатах уже начался первый поход реакции против демократии. Конгресс принял законы военного времени, и власти бросили клич, «Наполняйте тюрьмы!» Первым объектом разбойничьих налетов полиции стала ИРМ — единственная рабочая организация США, последовательно и непримиримо выступавшая против войны. Ей вменили в вину «измену родине, шпионаж, саботаж, призыв к восстанию» и прочее. 28 сентября тысячи уоббли были арестованы. Среди них Большой Билл — Хейвуд.

Затем власти запретили «Мэссиз». Весь состав редакции (в том числе заочно и Джон Сайлас Рид) был привлечен к суду на основании того самого закона о шпионаже, против которого Рид выступал в свое время перед комиссией Конгресса.

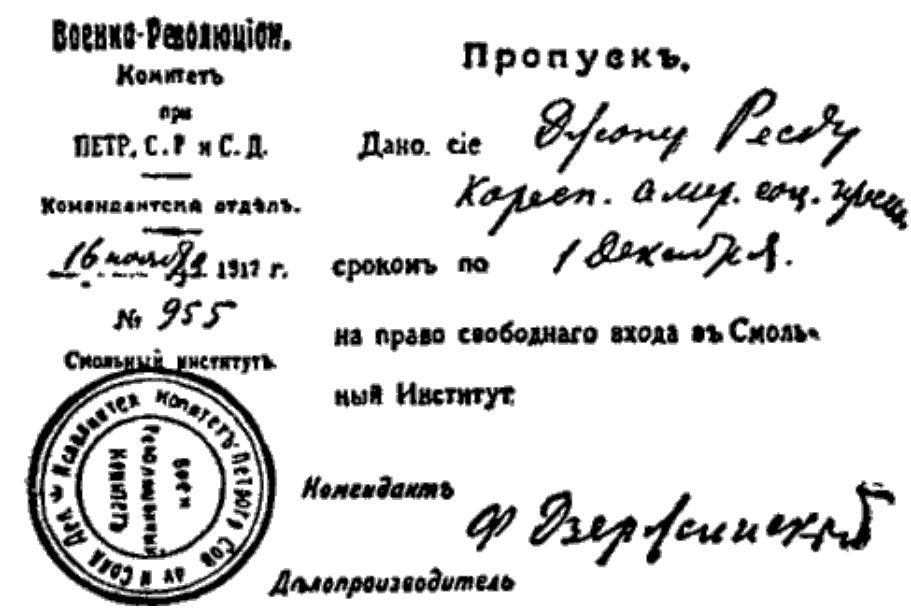
Затем произошло невероятное для революционного Петрограда: Рид обнаружил, что за ним следят. Ошибки быть не могло. Каждое утро, когда Джек отправлялся на работу со своей квартиры на Троицкой улице (куда он с Луизой перебрался из дорогого «Англетера»), за ним, как приклеенный, неотступно следовал маленький, плюгавый человечек с незапоминающейся внешностью. По-видимому, мистер Фрэнсис продолжал уделять особое внимание одному из своих соотечественников. Но дело было не только во Фрэнсисе. В Петрограде появилась еще одна особа, которой не давал покоя мятежный журналист.

Эдгар Сиссон, бывший редактор херстовской «Космополитен», приехал в Россию в качестве заместителя председателя

иностранного отдела Комитета общественной информации США. На самом деле этот прилизанный, еще молодой блондин занимался сбором разведывательных данных для тех кругов в США, которые уже подумывали о вооруженной интервенции.

Впервые Джек познакомился с этим малоприятным господином, когда с группой других вооруженных сотрудников патрулировал возле здания Комиссариата иностранных дел, где помещалось и Бюро. Тогда Сиссон пытался сделать ему из-за этого выговор. Джек попросту послал его к черту. Но Эдгар Сиссон был как раз тем человеком, которому соответствующие учреждения в США поручили слежку за Ридом, Вильямсом и другими американскими гражданами, находящимися в России… [19]

Идея будущей книги все больше захватывала Рида. Вчерне он уже составил ее план, сделал наброски отдельных глав, даже написал предисловие, которое, когда книга была действительно написана, в нее как раз и не вошло. Он по-прежнему посещал множество митингов и собраний, особенно если знал, что будет выступать Ленин. Каждодневно, конечно, бывал в Смольном, куда у него был постоянный пропуск за подписью одного из крупнейших руководителей большевиков — Феликса Дзержинского.


Военно-Революціон. Комитетъ при ПЕТР. С. Р и С. Д. Комендантскій отдѣлъ. 16 ноября 1917 г. № 955 Смольный институтъ

Пропускъ.

Дано. сіе Дорогому Реду Корреспонд. Амер. соц. газеты

сроком по 1 Декабря.

на право свободнаго входа въ Смольный Институтъ

Комендантъ Ф Дзержинскій

Дѣлопроизводитель

Пропуск на право входа в Смольный, выданный Д. Риду.

Вместе с Вильямсом Джек присутствовал в январе 1918 года на том митинге в Михайловском манеже, после которого

контрреволюционеры устроили первое покушение на вождя революции.

В тот день Ленин выступал перед солдатами, отправляющимися на фронт. В здании собралось несколько тысяч человек: солдаты, матросы, рабочие. Когда председатель первого Советского правительства, сопровождаемый Подвойским и сестрой Марией Ильиничной, появился в дверях, огромное здание словно раскололось от аплодисментов и приветственных возгласов.

Ленин подошел к большому, неуклюжему, как доисторический ящер, броневику, легко ступил на крыло, потом на радиатор, на башню. Зал стих… Тысячи чутких, внимательных глаз в полумраке манежа не отрывались от человека, говорящего с башни грозной боевой машины о светлом будущем, когда не будет никаких войн, а все люди станут братьями.

Ленин окончил свою речь. И снова взрыв оваций. Десятки дружеских рук помогли ему сойти на землю. Потом произошло неожиданное. Увидев в толпе Вильямса, Подвойский громко объявил:

— А сейчас выступит американский товарищ…

Вильямс растерялся. Тысячи людей выжидательно молчали Ленин ободряюще пожал Вильямсу локоть и быстро сказал на ухо:

— Вы плохо знаете язык? Говорите по-английски, я буду переводить.

— Нет, я буду говорить по-русски, — ответил Вильямс. Ленин взглянул на американца с нескрываемым любопытством. Но решимость Вильямса ему понравилась.

Высказав весь запас хорошо знакомых фраз, оратор споткнулся на чем-то и смущенно умолк.

— Какого слова вам не хватает? — живо спросил Ленин.

— Enlist…

— Вступить, — быстро подсказал Владимир Ильич.

Так с помощью Ленина (неоднократной) Вильямс благополучно закончил свою речь и был вознагражден теплыми приветствиями.

Спустившись на землю, американец тут же дал обещание как следует взяться за изучение русского языка…

…Когда машина Ленина отъехала от манежа, ее кузов пробили четыре пули. Громадный швейцарец социалист Фриц Платтен, сидевший рядом с Владимиром Ильичем, успел пригнуть его, голову книзу… Одна из пуль попала Платтену в руку.

Рид был потрясен всем происшедшим. Вильямс тоже, хотя он знал уже давно, что против вождя революции плетется зловещая

сеть заговоров. Он невольно вспомнил, как один богатый купец совершенно серьезно сказал ему, что заплатит миллион рублей в любой валюте тому, кто убьет Ленина.

Что же касается разговора об изучении русского языка, то он имел любопытное продолжение. 18 января 1918 года открылось первое и последнее заседание Учредительного собрания. Того самого, чьей бесславной деятельности положил конец, матрос-большевик Анатолий Железняков одной-единственной фразой:

— Караул устал, прошу разойтись по домам.

Заседание проходило бурно. Порой дело едва не доходило до рукопашной. Рид и Вильямс сидели на балконе, стиснув зубы; нервы их были напряжены до предела.

Ленин сидел в первом ряду первой ложи, и лицо его выражало полную безмятежность. Порой он явно скучал. Потом он встал, прошел к трибуне, сел на покрытую ковром ступеньку. Изредка он поднимал голову и окидывал рассеянным взглядом зал.

Вильямс и Рид скатились по лестнице и подошли к Ленину. Волнуясь, Рид спросил Владимира Ильича, что он думает о ходе заседания. Ленин ответил что-то безразличным тоном. Потом, в свою очередь, поинтересовался, как идет работа в Бюро.

— Материалы печатаем тоннами, — ответил Вильямс, — и регулярно переправляем через линию фронта.

Ленин сразу оживился, заулыбался. Пригласил в ложу.

— Ах да, — неожиданно спросил он, — а как подвигается дело с русским языком? В состоянии ли вы понимать все эти речи?

— В русском языке так много слов… — уклончиво ответил Вильямс.

— В том-то и дело, — заметил Ленин. — Им нужно заниматься систематически. С самого начала вы должны овладеть основами языка. Я расскажу вам о своем методе.

Вильямс вспоминал впоследствии:

«Вкратце метод Ленина сводился к следующему: сначала выучить все существительные, выучить все глаголы, выучить все причастия и прилагательные, выучить все остальные слова, выучить всю грамматику — орфографию и синтаксис, а затем непрерывно всюду и со всеми практиковаться. Как нетрудно заметить, метод Ленина был не столько оригинальным, сколько многосторонним. Словом, это был его метод борьбы с буржуазией применительно к овладению языком — браться за дело самым решительным образом. И разговор о нем увлек Ленина.

Он сидел, перегнувшись через барьер ложи, и говорил, подчеркивая слова выразительными жестами. Глаза у него

блестели. Наши коллеги-репортеры сгорали от зависти. Они думали, что Ленин в этот момент разоблачает преступления оппозиции, или выдает нам тайные планы Советов, или, может быть, разжигает в нас революционный пыл. В подобный критический момент, несомненно, такую вспышку энергии у главы великого Русского государства могли вызвать только подобные темы. Но наши коллеги заблуждались. Глава Советского правительства просто-напросто излагал свой взгляд на методику изучения иностранного языка, с удовольствием воспользовавшись возможностью отвлечься за дружеской беседой».

Узнав о предстоящем суде над «Мэссиз», Рид немедленно решил вернуться в Америку. Он не допускал и мысли, чтобы товарищи приняли на себя ответственность и за него, чтобы буржуазная печать злословила по его адресу. Он уже мысленно представлял заголовки в херстовских газетах: «Перед угрозой тюрьмы Джек Рид скрывается за спиной большевиков».

Он посоветовался с друзьями: американскими и русскими. Все единодушно признали, что сейчас его долг — вернуться в Штаты и рассказать американскому народу о русской революции. Рид хотел, однако, задержаться в Петрограде еще на несколько дней, чтобы присутствовать на III съезде Советов. О предстоящем отъезде Рида узнали в Комиссариате иностранных дел. Его спросили.

— А как вы провезете через кордоны и границы все ваши чемоданы с бумагами и газетами? Они ведь поопаснее гремучей ртути. Их конфискуют при первом же таможенном досмотре.

Чтобы обеспечить сохранность и неприкосновенность бесценного груза, американского гражданина Джона Сайласа Рида возвели в ранг советского консула в Нью-Йорке.

Рид, очень гордый этим назначением, ходил по Питеру и говорил всем знакомым:

— Вы слышали? Я — консул. Имею право заключать браки. Терпеть не могу брачную церемонию! Буду просто говорить жениху и невесте: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

20 января Джек проводил в далекий путь, на родину, жену. Луиза Брайант получила в качестве охранной грамоты удостоверение дипломатического курьера, что действительно избавило ее в дороге от многих затруднений.

Через два дня открылся III Всероссийский съезд Советов. Рейнштейн, Рид и Вильямс получили приглашения и пропуска на все заседания. Между собой друзья решили, что на съезде выступит только Вильямс. Но когда Вильямс, передав делегатам

приветствия от имени американских социалистов, сошел с трибуны, Рид понял, что он тоже должен сказать несколько слов. Они жгли ему грудь, эти слова. Не высказав их, он не мог уехать…

Рейнштейн встал и сказал громко по-русски:

— Товарищи делегаты! Товарищ Джон Рид — американский социалист. На днях он возвращается на родину, чтобы предстать перед лицом буржуазного суда. Он просит слова…

И Джон Рид растерялся, как не терялся, должно быть, никогда в жизни. Тысячи делегатов: матросы из Кронштадта, рабочие с Путиловского и Гужона, бородатые крестьяне из северных губерний, солдаты-окопники стоя приветствовали его бурными аплодисментами! Быть может, только единицы из них знали его лично, но это не имело значения. Для делегатов, собравшихся в этот зал со всех концов революционной России, он был представителем борющихся рабочих далекой Америки. Они не знали его, но они хорошо знали, каким мужеством нужно обладать, чтобы добровольно предстать перед судом буржуев.

Джон Рид поднял голову… В зале стало тихо. Медленно, уверенно, тщательно взвешивая каждое слово, Джон Рид произнес всего несколько фраз:

— Я торжественно клянусь, что, вернувшись в царство капитала, расскажу всем правду о победе пролетариата в России.

Я расскажу о героях и мучениках революции и о новом государстве, которое вы строите… И я торжественно клянусь отдать себя всего делу рабочего класса!..

Когда он кончил говорить, снова вспыхнула овация. И Джон Рид видел собственными глазами, как вместе с другими делегатами ему аплодирует Ленин…

В начале февраля Джон Рид выехал из Петрограда, но только 28 апреля сошел на берег в Нью-Йоркском порту. Едва лишь сделал несколько шагов по родной американской земле, как на плечо ему легла тяжелая рука…

Двое… Высоких, угрюмых, с бычьими загривками и колючими глазами. Блеснули значки за отворотами пиджаков.

— Вы нам нужны, мистер Рид.

Восемь часов одиночества в полутемной комнате с единственной мебелью — деревянной скамьей и урной для окурков. А там, за стеной, двое и еще другие, новые, роются в его вещах. Наконец:

— Можете идти…

Слова бесполезны. Газеты, листовки, блокноты — все до последнего листка остается у этих, с бычьими шеями. А у него —

только то, что в сердце, что нельзя отнять…

АМЕРИКА РАЗЛЮБЛЕННАЯ И ЛЮБИМАЯ

Джон Рид опоздал на первый суд над «Мэссиз» ровно на один день. Он должен был поспеть вовремя, но американский консул в Христиании не дал ему визу — по указанию Государственного департамента. Причина была ясна: правительство не желало, чтобы американский социалист представлял в США интересы Советской страны, чье правительство оно не признавало за законное[20]. Когда визу, наконец, дали, Риду пришлось больше месяца ждать первого судна, следующего в Нью-Йорк.

В стране царила военная истерия. Неистовствовала патриотическая горячка. Толпы вооруженных хулиганов линчевали уоббли, сжигали помещения ИРМ, мазали по ночам желтой краской дома граждан, о которых было известно, что они не одобряют войну. Рабочих, отказывавшихся подписываться на займы «свободы», вышвыривали с работы. В Чикаго уже начался процесс над сто одним активистом ИРМ, в том числе и Биллом Хейвудом.

«Мэссиз» был официально запрещен. С большим трудом удалось наладить выпуск журнала под новым названием — «Либерейтор» («Освободитель») Судебное обвинение было предъявлено Джону Риду, Максу Истмену, Флойду Деллу,

Мериллу Роджерсу, Арту Юнгу, Джозефине Белл, Генри Глинтенкампу. Им приписывали заговор с целью мятежа в армии и флоте, публикацию статей и рисунков, направленных против призыва новобранцев. Первая часть обвинения была отведена судьей, но вторая осталась. Обвиняемым по закону о шпионаже грозили двадцатилетнее заключение и штраф в десять тысяч долларов.

Основанием для обвинения служили следующие материалы:

— статья Истмена о мужестве людей, выступающих против войны;

— подборка писем с введением Делла;

— белые стихи Джозефины Белл, посвященные анархистам;

— отрывки из статьи о росте психических болезней в армии с придуманным Ридом заголовком: «Свяжите смирительную рубашку для вашего парня-солдата»;

— рисунок Глинтенкампа, изображающий, как с живого солдата снимают мерку для гроба;

— рисунок Юнга «Дьявольский оркестр», изображающий, как, осыпаемые золотым дождем, пляшут под звуки оркестра, которым дирижирует Сатана, капиталист, издатель, политикан и проповедник.

Первый процесс над «Мэссиз» продолжался восемь дней в битком набитом зале. Реакционеры неистовствовали. Нанятые ими оркестры непрерывно играли под окнами суда патриотические марши, чтобы экзальтировать толпу, воинствующие молодчики с шовинистическими плакатами пикетировали здание.

По иронии судьбы и причинам, гораздо более глубоким, чем это думалось Риду в то время, из шести обвиняемых ко дню суда только половина продолжала разделять те убеждения, за которые их судили. Истмен, Делл, издатель Роджерс уже не осуждали войну. Джозефина Белл в счет не шла, так как против нее обвинение было снято по занятной причине.

Прочитав ее «поэму», судья спросил защитника:

— Вы называете это стихами?

— Так они названы в обвинении, ваша честь.

— В таком случае обвинение снимается.

Все восемь дней шел спор между обвиняемыми и обвинителями о конституционных правах. Рассчитывать на них, однако, не приходилось: в состав жюри входили буржуа, известные своим отрицательным отношением к социализму и пацифизму.

На одном из заседаний флегматичный Арт Юнг, которому надоели все эти разговоры, преспокойно заснул и пробудился

только тогда, когда прокурор стал трясти его за плечо.

Арт раскрыл глаза и как ни в чем не бывало спросил:

— Что вам угодно?

Прокурор потребовал объяснить, что означает его рисунок. Арт сказал, что его рисунок не нуждается в объяснении. Прокурор, однако, настаивал: почему дирижирует именно Дьявол. Арт только пожал плечами:

— По определению генерала Шермана война — это ад. Естественно, что дирижирует там Сатана.

Первый процесс окончился ничем. Как ни подтасовывали состав присяжных, среди них нашелся один человек, отказавшийся признать редакторов «Мэссиз» виновными.

Вот какие новости узнал Джек в первый же нью-йоркский вечер. Самому ему пришлось рассказывать друзьям о том, что он видел, гораздо дольше. Однажды его спросили: чему в конечном счете его научила революция? Рид ответил:

— Я понял, что класс, владеющий частной собственностью, лоялен только по отношению к этой своей собственности и никогда не пойдет навстречу рабочему классу ни в чем. Что массы рабочих способны не только мечтать о счастье, но в силах превратить эти мечты в действительность.

Рид обнаружил, что, несмотря на шпиономанию, клевету о большевиках, особенно разнузданную после заключения Брест-Литовского мира, люди труда в Америке жаждут узнать правду о русской революции. Буквально на другой день после приезда он написал статью в первомайский номер «Колл», а затем в «Либерейтор». В этих статьях он разоблачал бредовые измышления желтой прессы о зверствах большевиков, подчеркивал, что Советы борются с германскими империалистами так же, как и со своими собственными.

Но статьи эти никак не могли удовлетворить Рида. Клятва, которую он дал перед лицом съезда Советов, требовала от него большего. Он решил по примеру русских большевиков выступать на рабочих митингах и собраниях с рассказами о революции.

Первое публичное выступление Рида состоялось уже 9 мая. В течение следующих двух недель он прочитал пять лекций; причем не только в Нью-Йорке, но и в Вашингтоне и Бостоне. На этих лекциях побывали тысячи людей, и каждый из них унес с собой частицу ленинской правды.

1 июня Рид должен был говорить в Филадельфии. Но когда он приехал в город, оказалось, что власти запретили собрание. Возле закрытых дверей зала толпилось около пятисот возмущенных горожан. Что ж, Рид понимал, что раньше или позже ему попытаются заткнуть рот, и был готов к этому. Он стал

говорить прямо на улице. Появилась полиция. Дюжий молчаливый сержант ловко выбил из-под ног Джека ящик, служивший импровизированной трибуной.

Рид протестующе заявил, что он не нарушил никакого закона. В ответ его мгновенно вбросили в полицейскую машину и доставили в участок. Это был его первый арест после возвращения. Через год он потерял им счет.

За «нарушение порядка» на Джека наложили штраф — 1500 долларов. Прокурор увеличил сумму до 5 тысяч. К счастью для Рида, нашелся честный судья, который отменил штраф как незаконный.

С промежутками всего в два-три дня Рид выступил в Бронксе, Ньюарке, Бруклине, Детройте. В Бронксе послушать его пришло несколько тысяч рабочих, главным образом выходцев из России. Рид говорил два часа подряд и закончил свою речь по русски: «Да здравствует социалистическая революция!»

Лекции и речи отнимали много времени и энергии, но приносили подлинное моральное удовлетворение. И все же Джек сожалел, что не может приступить к осуществлению своей главной задачи — книге. До сих пор Государственный департамент, несмотря на все хлопоты, отказывался вернуть его бумаги. Луиза Брайант успела составить из своих очерков книгу — «Шесть красных месяцев в России», неглубокую, но яркую, а Рид… Чертовски плохо обстояло дело с деньгами двери редакций при его приближении плотно закрывались

9 июня Рид писал Стеффенсу

«Я произнес много речей о России, завтра выезжаю в Чикаго и Детройт, чтобы выступить там, начал большую серию статей для газетного синдиката. но газеты боятся к ним притронуться, некоторые мне вернули, когда их уже было начали печатать. Когда «Кольерс» взял статью и вернул назад, Освальд Виллард сказал мне, что журнал запретят, если он будет публиковать Джона Рида!

У меня контракт с Макмилланом на издание книги, но Государственный департамент отобрал все мои бумаги, когда я вернулся домой, и по сей день отказывается вернуть мне что-либо, хотя и обещает сделать это «после тщательного просмотра». Это тянется уже больше двух месяцев.

Я до сих пор не имею возможности написать ни одного слова для величайшей в моей жизни повести и одной из величайших во всем мире. Я заперт. Может быть, вы знаете что-либо относительно того, когда мои бумаги будут возвращены мне. Если я не получу их в ближайшее время, будет поздно. Макмиллан не издаст книгу.

Недавно я был арестован в Филадельфии за попытку произнести речь на улице, и в сентябре меня будут судить по обвинению в «побуждении к бунту, побуждении к грабежу и разбою и побуждений к мятежным суждениям».

…С моей почкой неладно… Мать ежедневно присылает мне письма с угрозой покончить самоубийством, если я буду продолжать позорить имя семьи. Мой брат на следующей неделе отправится во Францию. Я верю, что интервенция в Россию провалится».

Интервенция… 24 мая 1918 года в Мурманском порту бросил якорь крейсер американского флота «Олимпия». Бряцая снаряжением, на берег сошел батальон морской пехоты.

Теперь даже самые завзятые оптимисты считали, что вторжение в Россию крупных контингентов американских войск — вопрос дней. Протестующие попадали под действие все тех же законов о шпионаже.

Риду было по-настоящему больно и стыдно за родную страну, начавшую свою историю сто пятьдесят лет назад восстанием против иноземного владычества и дошедшую теперь до позорной роли международного полицейского.

Его обвиняют в том, что он «плохой патриот»?

Рид принял вызов:

— Если у нас сажают в тюрьму людей, которые протестуют против интервенции в России и защищают республику рабочих в России, я буду счастлив и горд тем, что буду привлечен к суду…

Юджин Дебс, один из немногих руководителей Социалистической партии, оставшийся верным своему интернациональному долгу, выступил 16 июня в Кантоне с резкой антивоенной речью. Его гневные слова стали мгновенно известны тысячам людей во всех штатах. Дебсу предъявили обвинение в измене родине, ему угрожали линчеванием. Дебс продолжал хладнокровно выступать…[21]

Джон Рид и Арт Юнг демонстративно поехали в городок Терр-Отт, штат Индиана, где жил Дебс, и провели у него в гостях День благодарения[22]. «Патриоты» называли Дебса предателем. Рид, вернувшись в Нью-Йорк, написал очерк «С Джином Дебсом в день четвертого июля», в котором заявил, что Дебс бесстрашный и непоколебимый человек, горячо любящий свой народ.

После встречи с Дебсом Рид выступил еще на нескольких митингах, и все они оканчивались одинаково — вмешательством полиции, арестом, очередным штрафом.

Потом Рид и Юнг поехали в Чикаго, где уже четыре месяца продолжался процесс над Большим Биллом и его товарищами — уоббли. В результате этой поездки Джек написал, должно быть,

свой самый лучший очерк — «Социальная революция перед судом».

…Большой внушительный зал: мрамор, бронза, позолота. Над одним из окон — цитата из Великой хартии: «Ни один свободный человек не может быть схвачен, взят под стражу, лишен… свободы либо объявлен вне закона, изгнан или каким-нибудь другим образом ущемлен в своих правах, кроме как по судебному приговору или же по законам страны».

На возвышении — кресло судьи. Слева от него — места для свидетелей обвинения и присяжных. За перегородкой, отделяющей суд от публики, — длинный стол для корреспондентов. Их десятки, не только американских, но и иностранных. Среди них Джон Рид и Арт Юнг.

За огромным столом сидит маленький, высохший человек с пергаментным, изможденным лицом. Как угли, горят глаза, перекошена щель — рот. Это судья Лэндис. Говорят, судья справедливый человек. Это он оштрафовал на тридцать девять миллионов долларов «Стандард ойл компани». И не его вина, что ни один из этих миллионов не был выплачен. Судья демократичен: он распорядился не вставать при своем появлении, разрешил подсудимым снимать пиджаки, ходить по залу и читать газеты. По его указанию около скамьи подсудимых ставят плевательницу, чтобы те могли жевать табак.

Рид записывает в блокноте: «На долю этого человека выпала историческая роль — судить социальную революцию. И он выполняет ее как джентльмен».

Судья стучит молотком по столу, и в зал вводят подсудимых. Их девяносто с лишним. К ним присоединяются их товарищи, выпущенные до суда под залог.

Юнг быстро зарисовывает подсудимых, судью, присяжных.

На первом листе ватмана энергичными, выразительными штрихами — портрет Большого Билла с лицом, напоминающим обветренную скалу.

Рид торопливо испещряет стенографическими крючками свой блокнот: «Что же до подсудимых, то я не думаю, чтобы когда-либо в истории можно было наблюдать подобное зрелище. Их сто один человек — лесорубы, сельскохозяйственные рабочие, горняки, журналисты. Сто один человек, верящий, что богатства всего мира принадлежат тем, кто их создает, и что рабочие всего мира должны завладеть тем, что им принадлежит.

Сотня сильных людей… Все они люди широких просторов, среди них есть твердые, как скала, подрывники, есть лесорубы, жнецы, портовые грузчики — словом, парни, исполняющие самую тяжелую работу на земле. С ног до головы их покрывают рубцы,

следы изнурительного труда, и раны, полученные в борьбе с ненавистным обществом. Люди эти не боятся ничего… Трудно было бы собрать во всей Америке группу в сто один человек, более достойную олицетворять социальную революцию».

От первого до последнего удара судейского молотка процесс проходил, как одна из битв классовой войны.

Иронические вопросами Билл Хейвуд довел прокурора Небекера до белого каления. Потеряв выдержку, прокурор стал злобно выкрикивать:

— Карл Маркс — отец зловреднейшей теории, в которой корни ИРМ нашли себе благодатную питательную среду! Система наемного труда установлена законом, и всякое сопротивление ей есть сопротивление закону. Там, где господствует закон, человек не имеет права на революцию!

Тут даже судья Лэндис, к удовольствию подсудимых, резонно заметил:

— Ну, это зависит от того, сколько людей может закон привлечь на свою сторону.

Наступил черед свидетелей обвинения. Они были явно не на высоте. Шерифы и охранники с угольных копей в Пенсильвании по простоте душевной рассказали, как они арестовывали членов ИРМ и разгоняли их митинги, не имея на то полномочий. Да и слишком уж выразительно выглядели эти минотавры с грубыми, зверскими лицами. Слишком явно, хотя и невпопад, пытались они угадать, что нужно от них прокурору.

Сорвался один из главных козырей обвинения. Накануне процесса власти широко разрекламировали приезд в Чикаго бывшего губернатора Аризоны Тома Кэмпбелла, якобы располагающего чемоданом документов в доказательство того, что ИРМ находилась на содержании у кайзера. Целый месяц Кэмпбел ждал, когда его вызовут в суд для дачи свидетельских показаний. Когда этот день, наконец, пришел, Кэмпбелл неожиданно объявил через газету, что пресловутый чемодан у него украл на вокзале член ИРМ, переодевшийся носильщиком!

Было от чего морщиться судье Лэндису, а Большому Биллу с веселой ухмылкой подмигивать Джону Риду.

Сотни людей пожелали дать показания в пользу подсудимых.

Молодой Фрэнк Роджерс с горечью и гневом рассказал о пожаре на шахте «Спекюлэйтор», где сгорели заживо сотни людей, так как компания не хотела прорубить ходы в перемычках. Рабочий-электрик в Бьютте Билл Дэнн дал показания о зверском линчевании уоббли Фрэнка Литтла. Раньше чем повесить Фрэнка, изуверы долго глумились над ним, перебили ноги, вырвали глаза, пять километров волокли на веревке за автомобилем…

До последнего момента Хейвуд пытался спасти организацию, хотя прекрасно понимал, что суд — это лишь инсценировка для разгрома ИРМ. И все-таки он решил бороться. Вместе с юристами он разработал тактику защиты, целью которой было доказать, что ИРМ не является тайной заговорщической организацией. Но защитники увлеклись. Они дошли до утверждения, что ИРМ ничего не имела против войны. Со скамьи подсудимых послышался негодующий ропот. Нет! Они не хотят спасать свою свободу ценой отказа от убеждений, ценой вечного позора перед лицом международного рабочего класса! Большой Билл вскочил с места и резко прервал защитника:

— Это не так! Я не хочу, чтобы присяжные и подсудимые могли подумать, что я сочувствую войне! Я ее ненавижу! Что может дать война стране? Ничего, кроме калек, вдов и сирот… Мы не имеем ничего общего с войной. Наше дело — защищать интересы рабочих. Капиталисты на войне загребают бешеные барыши, а на долю рабочих остаются смерть, нищета, слезы жен и детей.

Хейвуд говорил четыре часа, говорил так, как может говорить только человек, до последней клетки тела убежденный в своей правоте и сознающий, что, быть может, это его последняя речь.

Прокурор молчит. Молчит судья. Молчат, потупив глаза, присяжные. Стараясь не пропустить ни слова, записывает речь старого боевого товарища Джек Рид.

— …Это не суд, а глумление над правосудием!

Большой Билл садится. Он кончил Его речь — лебединая песнь Индустриальных рабочих мира. Джек Рид наклоняется к Арту Юнгу.

— Мне, только что вернувшемуся из России, эта сцена кажется до странного знакомой, как будто я уже наблюдал раньше. Теперь я вспомнил процесс ИРМ в зале федерального суда в Чикаго напомнил мне заседание Всероссийского съезда Советов в Петрограде. Я никак не могу себя заставить поверить, что эти люди находятся под судом.

Рид на минуту задумывается, собираясь с мыслями, заканчивает твердо:

— Они не раболепствуют, не выглядят запуганными — наоборот, они уверены в себе, преисполнены человеческого достоинства. Совсем большевистский революционный трибунал. Знаешь, Арт, у меня на мгновение мелькнула мысль, что на моих глазах Центральный исполнительный комитет американских Советов судит судью Лэндиса за… ну, скажем, за контрреволюцию!..

Обо всем этом Джон Рид рассказал на страницах своего

очерка в сентябрьском номере «Либерейтор»[23].

Этот номер «Либерейтор» — последний, под которым стоит подпись Джона Рида как члена редколлегии журнала. Макс Истмен, старый друг по старому «Мэссиз», все больше шел на компромиссы и уступки. «Либерейтор» постепенно, но неуклонно превращался в обычный журнал либеральной интеллигенции. Как ни труден был Риду этот шаг, он не мог поступить иначе. Его письмо к Истмену полно искреннего сожаления и грусти. Но решение твердо и бесповоротно. Он остается другом журнала, по возможности даже автором, но просит не считать его больше ответственным за общее направление издания. Это был один из уроков, взятых Джеком у большевиков в принципиальных вопросах не идти на уступки никому, даже близким.

И снова полоса публичных выступлений. И снова аресты, слежка, штрафы. Общая сумма его «долгов» дяде Сэму уже достигла двенадцати тысяч долларов и продолжала непрерывно возрастать.

Потом был новый суд над «Мэссиз». На этот раз Рид не опоздал на скамью подсудимых. Он произнес на суде одну из самых ярких речей в своей жизни о кровавой империалистической войне, о международной рабочей солидарности, о позоре, павшем на Америку после интервенции в Сибири и Архангельске, о социализме.

Голоса присяжных разделились. Это спасло Джека Рида от решетки. Второй процесс, как и первый, окончился ничем. После нескольких месяцев разлуки Рид встретился с Вильямсом. Несколько часов они засыпали друг друга бесконечными «а помнишь?»

Вильямс, оказалось, пережил за это время немало. Когда немцы начали наступление на Петроград, он организовал отряд из добровольцев-иностранцев и выступил с ним на фронт. Когда немцев отбросили, Вильямс проехал через всю огромную Россию до самого Владивостока, испытал множество приключений и, наконец, вернулся в США.

— Путь у нас был разный, а результат один, — закончил Альберт свой рассказ. — У меня тоже отобрали бумаги, все до одной.

Как и Рид, Вильямс разъезжал по штатам с лекциями о Республике Советов За полгода он умудрился прочитать их более ста пятидесяти! Рид только ахнул.

7 ноября Вильямс и Рид вместе участвовали в большом рабочем митинге Специально по этому поводу они даже выпустили брошюру под названием «Один год революции» Должно быть, это было первое зарубежное издание, посвященное

юбилею Октября.

Последние месяцы 1918 года были полны событий. Сиссон, вернувшийся из России, опубликовал свои «документы». Все буржуазные газеты ухватились за эти неуклюжие фальшивки. Рид разоблачил их в печати.

Эптон Синклер выступил с путаными, полными сомнений и колебаний заявлениями о русской революции Рид послал Синклеру открытое письмо, в котором разъяснял, что ни один социалист (Джек теперь уже официально входил в партию, в ее левое крыло) не может сомневаться в «великолепии большевистской мечты и в возможности ее практического осуществления».

Левое крыло Социалистической партии все более обостряло свои отношения с правым руководством. И Рид понимал, что это прямое следствие русской революции и распространения большевистских идей. Группа латышей-социалистов в Бостоне стала даже на собственные деньги издавать новый журнал под названием «Революционный век». Первым редактором журнала стал Луи Фрейна, порывистый, нервный, не всегда уравновешенный, один из самых популярных лидеров партии. Фрейне было всего двадцать четыре года, но за его плечами уже был десятилетний революционный стаж. Он родился в Неаполе. Когда малышу было два года, его отец эмигрировал в Нью-Йорк в поисках работы. Жил, конечно, в районах трущоб. В шесть лет Луи стал зарабатывать на хлеб классическим способом — продавая газеты. Кем только ему впоследствии не пришлось работать! Фрейна был самоучкой, что не помешало ему стать одним из самых образованнейших людей в Социалистической партии. Правда, Фрейна был порядочным путаником, но это объяснялось, по-видимому, не отсутствием систематического образования, а бурным, эксцентричным темпераментом. Фрейна обладал недюжинным талантом, и впоследствии Ленин называл его произведения крайне полезными[24].

Узнав о создании по-настоящему боевого, революционного журнала, Рид принял в нем самое горячее участие. Вскоре он стал одним из редакторов и основным автором.

Все эти месяцы Рид непрерывно разъезжал из штата в штат, из города в город. И всюду его сопровождали новые друзья: томики Маркса и Энгельса, немногие статьи Ленина, которые мог достать. Он собрал также всю литературу о рабочем движении в Америке. Под стук колес, ночами в номерах дешевых гостиниц Рид штудировал марксизм. Он изучал теорию через призму практического революционного опыта, приобретенного в России.

Статьи Рида, опубликованные в бостонском журнале,

показывают, насколько далеко он ушел в понимании классовой борьбы, насколько глубоко усвоил революционную науку. Мечтая о социалистической революции, Рид уже не ограничивался страстным репортажем, горячим призывом к борьбе, но трезво и научно анализировал движение, видел его сильные и слабые стороны.

Сейчас, спустя десятки лет, мы понимаем, сколь верны и проницательны были его многие суждения.

18 декабря 1918 года Рид писал с горечью, но надеждой:

«Американский рабочий класс политически и экономически самый отсталый во всем мире. Он верит в то, что читает в капиталистической прессе. Он верит, что система наемного труда создана богом. Он верит, что Самюэль Гомперс и АФТ защищают его.

Когда у власти демократы, он верит обещаниям республиканцев, и наоборот. Он верит, что законы о труде означают то, что в них сказано Он предубежден против социализма.

…Надо делать социалистов путем изучения социализма боевого, революционного, интернационального. Так, как это делают русские большевики и германские спартаковцы».

В ноябре произошло чудо — иначе это нельзя назвать. Неудержимая пробивная сила Рида победила: он добился от чиновников из Государственного департамента, чтобы ему вернули драгоценные бумаги! Джек ворвался в свою маленькую квартиру на Паттин-плэйс и, хохоча как сумасшедший, закружился в диком индейском танце, подбрасывая к потолку старый, бурый чемодан. Луиза выскочила из кухни и с изумлением взирала на мужа, в которого словно вселился бес.

Подбросив чемодан в последний раз, Джек прижал его к груди и повалился на диван, счастливо бормоча что-то под нос.

— Ты получил свои бумаги?! — Луиза и верила и боялась «сглазить».

— Получил! — Рид уже был на ногах. — Получил!.. И теперь держитесь!..

Это была неистовая работа. Джек сидел за машинкой с утра и до — словом, до того часа, когда утихомиривался за окном грохочущий, ревущий, заливающийся гудками машин Нью-Йорк. В этот самый час на улицах появлялись первые разносчики молока и хлеба.

Потом Рид запихнул все материалы в чемодан и умчался в горы, в маленький домик над Гудзоном. Сюда к нему приехал единственный человек, чье присутствие не мешало ему работать, — Альберт Рис Вильямс.

Вильямс не мог ему мешать он сам писал книгу. Ему было трудно: мучил острый радикулит. Порой Вильямс сваливался со стула, боль выжимала слезы из глаз. Тогда он писал лежа. Если Вильямсу становилось совсем невмоготу, Рид отрывался от «Ундервуда», раздувал тяжелый чугунный утюг и гладил другу спину. Однажды он сказал:

— Видел бы Ленин, как пишутся книги о его революции!..

И расхохотался. Вместе с ним неудержимо смеялся и больной.

Через неделю Рид вернулся в город — потребовались кое-какие дополнительные материалы. Чтобы укрыться от всех, кто мог бы оторвать его от дела, он снял комнату на Шеридан-сквер.

Макс Истмен встретил его случайно на улице, небритого, отощавшего, с красными от недосыпания глазами. Он страшно спешил. Едва поздоровавшись, быстро заговорил:

— Ради бога, Макс, никому не говорите, где я. Я пишу русскую революцию. Пишу день и ночь. По тридцать шесть часов подряд. И я придумал название. Сейчас я должен выпить кофе. До свидания, и никому не говорите!

Рид написал книгу меньше чем за месяц! В это невозможно поверить. С таким исступлением, быть может, только Гойя творил свои офорты. Это был взрыв творческой энергии, неповторимый, невероятный, но единственно адекватный тем событиям, которые решился описать Джон Сайлас Рид.

«Эта книга — сгусток истории…» Точнее определить нельзя. Это сделал сам Рид. Этими словами начинается его бессмертное творение, эпос величайшей революции.

В этой книге — сплав кропотливости ученого и вдохновения художника, объективность свидетеля и страстность участника, неслыханная героика и жестокая обыденность, кристальная простота и высочайший пафос.

Риду не пришлось переписывать ни одной страницы. Когда он вынул из машинки последний лист бумаги, ему оставалось только дать книге ее крылатое название: «Десять дней, которые потрясли мир». В середине января 1919 года неведомый нью-йоркский рабочий чуткими, умелыми пальцами набрал его на верстатке.

Гораций Ливрайт, единственный нью-йоркский издатель, решившийся превратить рукопись в книгу, хорошо понимал, на что он идет и чего ему следует ожидать. Он знал, что делает, когда велел снять с рукописи несколько копий. Почти все они одна за другой были конфискованы. И все-таки книга увидела свет, чтобы стать настольной у рабочих всего мира.

Это произошло 18 марта 1919 года. На первом экземпляре,

еще пахнущем типографской краской, Рид написал: «Моему издателю Горацию Ливрайту, едва не разорившемуся при печатании этой книги».

Второй экземпляр неведомыми путями проник через толстые стены Левенвортской тюрьмы и очутился в руках громадного, грузного человека в полосатой куртке с номером «13106» на спине — Билла Хейвуда.

Никто не сможет проследить судьбу остальных книг. Известно только, что их видели во всех странах света, на всех параллелях и меридианах…

Сдав рукопись издателю, Рид не позволил себе и недельного отпуска. Снова стучали на стыках рельсов скорые поезда, катили по гудроновым лентам старенькие «фордики»; что ни утро — новый город, что ни вечер — новый полицейский участок. Жадные глаза тысяч рабочих, бешеные овации в честь русской революции, гневное: «Вернуть наших парней из России!»

Джек потерял счет речам, докладам, митингам. Каждый вечер ему приходилось по полчаса полоскать горло, и все равно он не мог избавиться от непроходящей хрипоты. Он уже не обращал внимания на истерические вопли херстовских газет, анонимные угрозы, требования линчевать «большевистского агента», штрафы, аресты.

Один раз какая-то неумная газетенка снисходительно объяснила, что Рид не настоящий американец и поэтому его выступления не выражают мнений и настроений коренного населения страны. Тогда на митинге в Бруклине (вокруг трибуны — сотня полисменов) Джек заявил:

— Моя семья, обе ее ветви, прибыла в эту страну в 1607 году. Один из моих предков — Патрик Генри, который подписывал Декларацию независимости; другой мой предок был генералом под командованием Джорджа Вашингтона; еще один — полковником армии северян в гражданской войне. Я избиратель и гражданин Соединенных Штатов, и я требую права критиковать их как угодно… Я критикую это государство, потому что оно недемократично… Я утверждаю, что Советское государство в настоящее время более демократично, чем наше…

Пропагандистская деятельность Рида в конце концов привлекла внимание так называемого «Оверменовского комитета». Это была организация, воспылавшая фантастическим намерением: ни больше ни меньше, как привлечь к ответственности Октябрьскую революцию! Это не был безответственный частный комитет из потерявших рассудок «патриотов», решивших положить свой живот на алтарь борьбы с «большевистской заразой». Нет, это высокое учреждение было

создано Сенатом Соединенных Штатов Америки и состояло из одних сенаторов. Председательствовал в нем, разумеется, тоже сенатор — Ли Овермен.

В феврале и марте комитет вызвал в Вашингтон всех лиц, которые были в России в 1917 году, и подверг их строгому допросу. Показания дали десятки людей, начиная от преподобного мистера Саймонса, бывшего настоятеля методистской церкви в Петрограде, и кончая престарелой «бабушкой русской революции» Катериной Брешко-Брешковской. День за днем стенографы комитета записывали со скрупулезной точностью потоки измышлений о большевиках и Советской власти. Здесь было всё — и наивная благоглупость и расчетливая клевета.

И вдруг в чинном, респектабельном зале заседаний комитета словно взорвалась бомба. На трибуну один за другим выходили Луиза Брайант, Джон Рид, Бесси Витти, Альберт Рис Вильямс, полковник Раймонд Робинс.

Это были разные люди, с разными точками зрения. Но все они говорили правду, одну только правду…

Первой допрашивали Луизу Брайант.

Здание Сената США, комната 116, 20 февраля 1919 года, четверг, 2 часа 30 минут после полудня. Заседание продолжалось и на следующий день. За столом комиссии — сенаторы Овермен, Кинг, Уолкотт, Нельсон, Стерлинг, Юм. Луиза нервничает, она чувствует себя подсудимой, и это выводит ее из себя. Она дерзит… Да, она из католиков. Верила в учение Христа, но не в христианскую религию.

Кинг. Участвовали ли вы в собраниях большевиков?

Брайант. Только в качестве корреспондента.

Уолкотт. Участвовал ли ваш муж в пропагандистской деятельности советских органов?

Брайант. Мой муж делал все, чтобы максимально продвинуть дело революции в Германии… Он работал в России в отделе пропаганды… Такого рода пропаганда не была ни для кого секретом.

Ее грубо прерывают. Луиза взрывается:

— Я здесь не в качестве подсудимой! Я свободная американская гражданка и вправе рассчитывать на вежливое обращение.

В публике волнение, шум, свист, аплодисменты. Сенатор Уолкотт требует удалить всех из комнаты, кроме стенографисток и репортеров. Сенатор Овермен удовлетворяет его требование. Исключение делается только для мужа допрашиваемой — Джона Рида. Луиза берет себя в руки.

Кинг. Когда вы покинули Россию, вы имели при себе паспорт, выданный большевистским правительством?

Брайант. Да, удостоверение курьера.

Кинг (читает). «Дано представителю американской демократии, интернационалистке, товарищу Луизе Брайант…»

Брайант. Верно.

Сенаторы пытаются вытянуть из Луизы сведения, компрометирующие ее и мужа. Она отвечает осторожно, взвешивая каждую фразу. Подчеркивает, что она — лишь свидетель, который хочет, чтобы между Америкой и Россией были хорошие отношения. Сенаторам не нравится, что большевики в документах называют ее «товарищем». Луиза объясняет:

— Это не имеет значения. В России всякого, кто не враг, называют товарищем, Как во времена французской революции все люди именовались «гражданами»…

Кинг. А официального представителя нашей страны назвали ли бы «товарищем»?

Брайант. Конечно. Мистера Робинса также называли «товарищем».

Кинг. А мистера Фрэнсиса?

Брайант. Мистер Фрэнсис не пользовался популярностью у русских и не представлял в их глазах Америку. А полковник Робинс — другое дело… Все русские видели в полковнике Робинсе истинного представителя Америки…

И снова вопросы, бесконечные вопросы. Внешне безобидные, но за каждым — ловушка. Иногда неприкрытая, в зависимости от «тонкости» вопрошающего.

Сенатор Кинг снова возвращается к документу о представлении Луизе прав дипкурьера.

— Следовательно, вы возвратились в Америку как официальный посланец большевиков?

Брайант. Ни в коем случае. Дело в том, что существовала только одна возможность пересечь линию фронта — в качестве курьера. Вот почему такие удостоверения выдавались многим американцам.

Овермен. Вы говорили, что ваш муж находился на службе у большевистского правительства…

Брайант. Да.

Овермен. Какое ему выплачивалось жалованье?

Брайант. Такое же, как всем… 50 долларов в месяц.

Овермен. Плюс то, что удавалось «прихватывать» на стороне?

Брайант. Там нельзя ничего «прихватить». В России, сенатор, очень опасно что-нибудь «прихватывать».

Уолкотт. Однако прихватили же они дворцы и особняки?

Брайант. Откуда вы знаете? Ведь вы там не были, а я была.

Уолкотт. У нас есть свидетельские показания о том, что они живут в роскошных дворцах и разъезжают в дорогих автомобилях.

Брайант. Не знаю никого, кто бы жил во дворце, после того как к власти пришли Советы.

Юм. Разве в период вашего пребывания там не было случаев убийства на улицах?

Брайант. Нет.

Юм. Видели вы людей, умиравших от голода?

Брайант. Нет.

Юм. Советское правительство выдавало продовольствие только тем, кто его поддерживал и был связан с ним, а всех остальных обрекало на голодную смерть?

Брайант. Это неправда.

Луиза пытается рассказать о разрухе, о том, что недостаток продовольствия в России объясняется не Советской властью, а долгой войной. Это сенаторов не интересует. Им нужно другое.

Овермен. Разве вы не знаете, что красногвардейцы врываются в квартиры, грабят дома?

Брайант. Нет, сэр.

Луиза не только отвечает на вопросы, она пользуется малейшей возможностью, чтобы высказать свою точку зрения, — как-никак в зале присутствуют журналисты, возможно, что хоть что-то из сказанного ею появится в газетах. Как американка, убежденная в праве всех народов на самоопределение, она резко высказывается против интервенции.

— Мы должны отозвать войска из России, так как установление дружественных отношений явилось бы благом для обеих стран.

Это уже нетерпимо. С угрозой в голосе Нельсон перебивает Луизу:

— Хотите ли вы, чтобы большевистская власть утвердилась в России?

Брайант. Я считаю, что это дело самих русских.

И снова бесконечные, тупо повторяющиеся вопросы о «красном терроре». Вопросы только по форме, а по существу — попытки заставить свидетельницу подтвердить белогвардейскую клевету на Советскую власть. Луиза не поддается на провокации. Она напоминает сенаторам, что и американцы завоевали независимость путем вооруженной революции против английского короля и не смущались, когда нужно было уничтожать реакционеров.

Беседа переходит на пресловутый «закон о национализации женщин», якобы существующий в России. И тут все почтенные

сенаторы оживляются. На Луизу сыплется град вопросов, главным образом касающихся пикантных подробностей. Любопытство уважаемых джентльменов к «клубничной» теме переходит за грани приличия С чувством собственного достоинства Луиза заявляет: «закон» — фальшивка, выдуманная анархистами, Советская власть уважает, и не на словах, а на деле, права женщин. Она рассказывает, что женщины в России пользуются равными правами с мужчинами, получают ту же плату за ту же работу, имеют отпуск по родам. Она говорит о женщинах, занимающих видное положение в партии большевиков и Советском государстве, напоминает, что в Конгрессе США только одна женщина и неизвестно, когда появится вторая.

— В Америке существует предубеждение против России: все, что делают русские, у нас объявляется преступным и аморальным. Вот против этого я и хотела заявить свой решительный протест.

Это заявление не встречает ни малейшего понимания со стороны комиссии. Следуют новые вопросы.

Юм. Были ли убийства на улицах?

Брайант. Нет. Один только раз я видела убитого на улице. Это было во время контрреволюционного мятежа. Во время взятия Зимнего дворца было очень мало убитых. Еще я видела, как в Петрограде снайпер-провокатор убил прохожего.

Нельсон. Большевики не хотели воевать с немцами?

Брайант. Хотели. И отбросили немцев. Разве вы не знаете, что они просили помощи у США, чтобы отказаться от Брест-Литовского договора?

Нельсон. Нет.

Брайант. Что, Робинс имел документ от Ленина?

Нельсон. Никогда не слышал.

Брайант. А я видела!

Сенатор молчит…

Луиза Брайант говорит о свободе печати в России, о позоре интервенции, о диктатуре пролетариата, о советской демократии.

Нельсон. Что вы можете сказать о документах Сиссона?

Брайант. Полковник Робинс имел их задолго до появления Сиссона и показывал их мне как любопытные образцы фальшивок.

Уолкотт. Но вы не можете этого знать!

Брайант. Нет, я знаю! И писала об этом, когда эти «документы» стали публиковать!

Заседание подходит к концу. Луиза произносит свои заключительные слова:

— Я считаю Советское правительство настоящим

правительством России. Русские хорошо относятся к Америке, и мы не должны вмешиваться в их дела.

В тот же день после обеденного перерыва комиссия приступила к допросу Джона Сайласа Рида. Его подводят к присяге, и тут — первое замешательство. Рид отказывается принести присягу. Причины? Во-первых, он не принадлежит к какой-либо религии; во-вторых, он привык, что его честное слово — достаточная гарантия. Сенаторы бесятся, хотя в душе каждый из них понимает, что присяга еще ни разу не смутила ни одного лжесвидетеля.

Джек остается невозмутим. Он помнит другую присягу: торжественную клятву перед III съездом Советов отдать все свои силы делу борьбы за социализм. Этот допрос — тоже борьба. Рид к нему готов, он знает, что и о чем будет говорить. Разумеется, не этим людям, осмелившимся судить большевизм, а для стенограммы, для очередного тома протоколов сенатской комиссии, который попадет во все библиотеки страны.

Бесконечные идиотские вопросы о его происхождении (сенаторам не к чему придраться. Джек — чистокровный американец из старой, вполне добропорядочной семьи), о поездках на фронты, о путешествии в Россию. Затем:

Юм. Участвовали ли вы в политической деятельности, когда были в России?

Рид. Да, мою деятельность можно назвать политической.

Юм. Вы ведь выступали а России с речами?.. На Третьем съезде Советов рабочих и солдатских депутатов?

Рид. Да.

Юм. Ваша политическая деятельность, очевидно, не ограничилась этим?

Рид. Я был членом Бюро интернациональной пропаганды при комиссаре по иностранным делам.

Юм. В течение какого времени вы были связаны с этой организацией?

Рид. Примерно два месяца.

Он подробно останавливается на деятельности Бюро, потом рассказывает о положении в России накануне Октябрьской революции. Категорически заявляет, что гражданскую войну развязали не большевики, а корниловцы, разоблачает ложь о кровопролитии, учиненном большевиками при взятии Зимнего. Об «учредилке» замечает, что, по его сведениям, она финансировалась полковником Томсоном из Американского Красного Креста. Голод? В нем повинны не большевики, он, как и разруха, начался еще при Керенском. Грабежи? Они действительно были. При Керенском. Большевики навели порядок

за пять дней. Разнузданность? Ложь! Большевики спустили в Неву на четыре миллиона долларов вина, хранившегося в подвалах Зимнего дворца. Свобода печати? В Петрограде выходят газеты даже оппозиционных партий.

Вслед за Луизой Брайант Рид разоблачает нелепые россказни о «голоде» как результате перехода власти к Советам, подробно рассказывает о тех усилиях, которые прилагают большевики, чтобы обеспечить население всем необходимым. Он подробно описывает для примера положение дел на одном предприятии в Сестрорецке, которое управляется самими рабочими.

— Когда оно перешло в руки рабочих, производственные расходы уменьшились на пятьдесят процентов, рабочий день сократился с одиннадцати с половиной до восьми часов, а выпуск продукции увеличился на сорок пять процентов. Но это далеко не все. Рабочие взяли в свои руки также городское самоуправление, проложили канализационную систему, которой до того времени не было, выстроили трехэтажную школу и больницу.

Уолкотт. Выходит, что Советское правительство более умело и рационально организовало производство, чем прежнее правительство России?

Рид. Да, безусловно! Я считаю, что капиталистическое правительство вообще не способно хорошо организовать производство.

Затем следует длинный спор между Ридом и Юмом о праве народа изменять форму правления методами, не предусмотренными конституцией. Подтекст этого спора ясен: Рида пытаются уличить в призыве к «насильственному свержению существующей власти». Рид отклоняет навязываемую ему точку зрения: все, что достижимо в рамках закона, не нуждается в насилии. Но и воля большинства не должна узурпироваться меньшинством только потому, что так было когда-то записано в законе.

Для Юма это слишком сложно, ему нужно зацепиться за привычный ярлык, и он спрашивает с надеждой Рида, не разделяет ли тот взгляды анархистов.

Рид. Нет. Анархия — это отрицание всего на свете.

Юм. Я имею в виду полное упразднение государственной власти.

Рид. Нет, таких воззрений у меня не было. Я решительно против анархии.

Уолкотт. Считаете ли вы необходимой национализацию промышленности и земли в нашей стране подобно тому, как это было сделано Советским правительством в России?

Рид. Я бы высказался в пользу национализации

промышленности и земли, но остается вопрос о методе. У меня никогда не возникало мысли о том, что национализация не может быть осуществлена мирным путем. Я и сейчас думаю, что, если большинство населения нашей страны будет за национализацию, народ своего добьется.

Уолкотт. Законным конституционным путем!

Рид. Любым путем, который может обеспечить достижение цели.

Уолкотт. Для этого нам пришлось бы изменить конституцию.

Рид. Нам не понадобилось менять конституцию для того, чтобы без объявления войны послать войска в Россию… Нам не понадобилось менять конституцию в той ее части, где говорится, что свобода слова не может быть ни ограничена, ни отменена, однако нередко она и ограничивается и отменяется…

Юм. Не высказывались ли вы публично в пользу революции в Соединенных Штатах, подобно революции в России?

Рид. Я всегда выступал за революцию в Соединенных Штатах… Под революцией я понимаю глубокие социальные изменения…

Юм. Не создается ли после ваших речей впечатление, что вы пропагандируете насильственное свержение власти?

Рид. Возможно… Я считаю, что воля народа должна в конечном итоге осуществиться, воля громадного большинства народа будет осуществлена.

Уолкотт. Знаете ли вы, мистер Рид, что под словом «революция» в обычном смысле подразумеваются конфликты, насилие и применение оружия?

Рид. К сожалению, все глубокие социальные изменения сопровождались насилием… Я считаю, что воля народа будет выполнена, и, если народ не добьется своей цели мирным путем, он сделает это при помощи силы. Хотя мирный путь еще никогда не приводил к цели, я считаю, что он вполне возможен… Если я в самом деле говорил что-либо выходящее за рамки закона, я готов нести за это ответственность. Да, я революционный социалист!

Уолкотт. Говоря «революционный социалист», вы, очевидно, подразумеваете свержение существующей — как вы ее называете, капиталистической — системы мирным путем?

Рид. Мирным путем или любым иным путем, но лишь тогда, когда массы будут подготовлены к этому. Я хочу сказать, что всякий, кто предлагает свергнуть правительство большинства ради меньшинства, совершает преступление, потому что такой переворот привел бы лишь к бессмысленному, бесцельному пролитию крови.

Снова разгорается отнюдь не схоластический спор о законности «противозаконной» пропаганды социалистов. Рид, пожав плечами, терпеливо разъясняет для него очевидную истину:

— Форма законов и форма государственной власти должны соответствовать времени, характеру народа, условиям его жизни; этим требованиям должны отвечать и правительства, по крайней мере демократические правительства…

На этом двухдневный допрос Джона Сайласа Рида оканчивается.

Следующий свидетель — Альберт Рис Вильямс. И опять сотни вопросов. В каждом ответе Вильямса — вера в революцию, уважение к русскому народу.

Уолкотт. Свидетели, недавно выехавшие из России, определяют количество большевиков в три процента населения.

Вильямс. Нетрудно произвести подсчет. С фронта вернулось двенадцать миллионов солдат. Половина их возвратилась с винтовками. Это шесть или восемь миллионов ружей. И вот, если бы в России существовало широкое и глубокое антисоветское движение, эти винтовки были бы использованы силами, стремившимися сокрушить Советскую власть. Но каждый раз, когда возникала новая угроза Советской власти, эти миллионы винтовок и штыков вставали на защиту Советов.

Бурное столкновение в «Оверменовском комитете» было отнюдь не последним в ожесточенной борьбе, которую Рид вел в те дни с самыми реакционными и власть имущими силами в стране. Снова — в который раз! — ему пришлось иметь дело с пресловутым «законом о шпионаже» — предвестником «охоты за ведьмами» наших дней. Произошло это при следующих обстоятельствах.

15 января 1919 года, на 142-м году независимости Америки, американский гражданин Моррис Цуккер был признан федеральным судом Бруклина виновным сразу по четырем пунктам оного «закона». Цуккер, выступая на митинге протеста против нападений солдат на собрания социалистов, сделал в числе прочих следующие высказывания, которые ему и поставили в вину:

«Америка сегодня становится тем, чем в давно минувшие дни была Россия…»

«Когда здесь, в Америке, из рук у нас вырывают красное знамя, то добиваются лишь того, чтобы оно еще крепче западает нам в душу…»

«Друзья мои, признаюсь, я требовал освобождения от воинской обязанности в Америке, но если бы я был в Германии

или России, я был бы только горд сражаться на переднем крае…»

«Да, мы боремся за власть…»

«В следующий День благодарения мы отпразднуем признание Соединенными Штатами красного знамени как знамени демократии…»

Помощник прокурора Бачнер в обвинительной речи потребовал самого тяжкого наказания для Цуккера, дабы пресечь распространение большевизма.

В газете «Революционный век» Рид выступил со статьей в защиту не только самого Морриса Цуккера, но и высказанных им социалистических убеждений.

Прокурор Бачнер демагогически заявил на суде, что якобы «не было случая, чтобы исконный американец выступил с протестом против закона о шпионаже».

— Это ложь и клевета! — опровергает Джон Рид утверждение прокурора.

Он напоминает читателям, что исконный американец Юджин Дебс выступал против закона о шпионаже, так же как выступал против него исконный американец Билл Хейвуд. И далее поддерживает все крамольные высказывания Морриса Цуккера, потому что они выражают точку зрения всех подлинных социалистов.

«Запрещение политических собраний, цензура над политическими взглядами, высказываемыми в печати, произвол в отношении арестов, безответственное запугивание полиции — все это действительно напоминает условия царской России. И почему, собственно, такое сравнение следует считать бунтарским в наше время, когда союзнические армии поддерживают в России силы, стремящиеся восстановить царизм?»

«Когда здесь, в Америке, из рук у нас вырывают красное знамя….» И это правда…»

«Доктор Цуккер сказал, что гораздо охотнее сражался бы в революционных войсках социалистической республики, чем в войсках, набранных по призыву капиталистического государства. Какой социалист, независимо от того, где он живет, не согласится с ним?

…Наша страна была когда-то убежищем для угнетенных всего мира. В 1848 году они прибывали из Германии, Австрии, Польши, Богемии, из царской России, из Ирландии, угнетенной властью помещиков, из Южной Италии, стонущей под гнетом предрассудков и нищеты, из Азии, находящейся под турецким игом… И тем не менее, когда разразилась война, большинство этих людей отказались от американского гражданства, умышленно отвергли его многочисленные «привилегии»… Это

происходит потому, что их безжалостно эксплуатируют, морят голодом, избивают, лишают человеческого облика американская индустриальная система вообще и ее агенты, американская полиция и американский суд в частности».

«Да, — сказал доктор Цуккер, — мы боремся за власть…» Это правда. Рабочие Соединенных Штатов стоят в настоящее время лицом к лицу со звериной силой, обнаженной силой класса капиталистов, которая даже не снисходит до того, чтобы подчиняться закону… Нас все еще окружают и терзают полуофициальные, получастные штрейкбрехерские и шпионские организации… которые теперь, когда нет больше предлога для преследования «германских агентов», всю свою энергию переносят на «пресечение распространения большевизма».

Власть у этих организаций есть. Власть — это единственное оружие, с помощью которого капиталистический класс сохраняет свою гегемонию, власть экономического террора… власть полиции и полицейских учреждений, выражаемая уголовными судами».

И Джон Рид делает решительный вывод:

«Когда весь правящий класс нашей страны в конце войны, которая и велась будто бы лишь для того, чтобы «расчистить путь демократии во всем мире», начинает с предельным цинизмом укреплять свою собственную жестокую власть за счет рабочих… что же, скажите на милость, остается нам, кроме упразднения этого класса?»

Бурные события развернулись в ту пору в Социалистической партии, особенно после того, как из Москвы пришла весть о создании III Коммунистического Интернационала. Борис Рейнштейн от имени американских социалистов подписал манифест о его образовании.

В партии назрел раскол. Все более и более порывая с оппортунистами в руководстве, выкристаллизовывалось Левое крыло с двумя главными центрами — в Нью-Йорке и Кливленде. В первом ведущей фигурой стал Джек Рид, во втором — Чарльз Рутенберг, спокойный, выдержанный человек с высоким лбом и глубоко посаженными строгими глазами, Рутенбергу было уже под сорок. Социализму он отдал больше половины своей жизни. Именно Рутенберг был главным автором манифеста, принятого на съезде Социалистической партии в 1917 году и ставшего программой борьбы против войны и политики классового сотрудничества. Манифест прошел на съезде голосами рядовых делегатов, невзирая на все уловки правых лидеров. Пропаганда манифеста в печати и на улицах стоила Рутенбергу года тюрьмы.

После первого же серьезного разговора Рид и Рутенберг[25]

убедились в полной общности взглядов. Нью-йоркская организация опубликовала манифест, написанный главным образом Ридом, «основанный на коммунистическом учении в том виде, как оно воплотилось в принципах и тактике большевистской партии в России и группы «Спартак» в Германии.

Нью-йоркская организация заявила о своем намерении вести в Социалистической партии широкую пропаганду в целях превращения ее в партию революционного социализма. Низовые организации, общегородские организации и организации Штатов одна за другой принимали манифест Левого крыла. Приняли его также федерации выходцев из России, Венгерская, Южнославянская и другие федерации.

Партийное руководство… ответило на это… исключением из партии всех организаций, принявших манифест Левого крыла[26] … Критика левых в адрес официальной верхушки партии становилась все более серьезной и резкой… Постепенное укрепление пролетарской диктатуры в России, убийство Либкнехта и Люксембург в Германии очень подорвали позиции реакционных социалистов в Америке и необычайно усилили Левое крыло.

В начале весны левые стали агитировать за созыв чрезвычайного съезда Социалистической партии в целях пересмотра ее политики и тактики. Партийная бюрократия всеми средствами пыталась отсрочить или сорвать этот съезд, но в конце концов волна требований, прокатившаяся по всей стране, заставила ее отступить, и открытие съезда было назначено на 1 сентября 1919 года.

Той же весной путем референдума были проведены выборы руководящих органов партии, закончившиеся колоссальной победой Левого крыла и поражением всей старой руководящей верхушки Социалистической партии».

Эти сжатые, скупые строки превосходно передают, что произошло в Социалистической партии США. Их автор — Джек Рид. Написаны они были им через полгода в Москве специально для Владимира Ильича Ленина.

Победа Левого крыла действительно была колоссальной. Левые завоевали двенадцать из пятнадцати мест в национальном исполкоме. Рид, Фрейна, Рутенберг и Вагенкнехт были избраны международными делегатами партии.

Все эти месяцы, заполненные напряженной борьбой сразу на несколько фронтов, Рид был подобен динамо-машине высокого напряжения. Все, что он успел сделать, не поддается даже простому перечислению. Достаточно сказать, что он совершил еще одно лекционное турне по тихоокеанскому побережью США,

выиграл судебный процесс в Филадельфия, написал несколько важных статей (в том числе ядовитый памфлет на Гомперса) и основал в Нью-Йорке журнал «Коммунист», первый номер которого вышел 19 апреля.

Рид вернулся в Нью-Йорк накануне 21 июня, когда открылась национальная конференция Левого крыла. Все девяносто четыре делегата единодушно провозгласили, что целью Левого крыла является революционная рабочая борьба в Америке за экспроприацию капиталистической собственности и ликвидацию классового общества.

Но по вопросам тактики, к сожалению, возникли серьезные разногласия. Одна часть делегатов — меньшая — считала, что левые должны немедленно порвать с Социалистической партией и создать Коммунистическую.

Джон Рид выступил против.

— Большинство социалистов, — сказал он, — поддерживают Левое крыло. Нужно революционизировать Социалистическую партию, используя это обстоятельство, вышибить правых и превратить партию в Коммунистическую. Если этого не удастся сделать, тогда нужно рвать.

Большинство делегатов поддержало Рида. Однако достигнуть соглашения не удалось. Трудно сейчас судить, кто был более прав — группа Рида, предлагавшая выждать некоторое время, или сторонники немедленного отделения, во главе которых позднее стал Рутенберг. Пожалуй, предпочтение следует отдать точке зрения Рида, поскольку она предполагала более гибкие действия, имевшие целью привлечь в Коммунистическую партию как можно больше рядовых социалистов.

После конференции левых в Нью-Йорке у Рида появилась возможность сделать передышку. Вместе с Луизой, только что вернувшейся из большой поездки по стране с лекциями о Советской России, он уехал на две недели на побережье, чтобы хоть немного отдохнуть.

Национальная конференция Социалистической партий открылась 30 августа в Чикаго в Машинист-Холле. Правые руководители решили предпринять любые меры, чтобы не допустить в помещение левых и удержать власть в своих руках.

Они пошли даже на прямое мошенничество — аннулировали фактически полномочия делегатов и роздали только «надежным» особые белые карточки, без предъявления которых никого в зал не впускали.

Сторонники Рида — числом 52 — собрались накануне в бильярдной Машинист-Холла, чтобы обсудить положение. Все они были избраны в свое время на конференцию, но белых

карточек, разумеется, почти ни у кого не было.

В конце концов Рид заявил, положив конец спорам:

— Чтобы попасть в зал, нужно пойти и войти в него.

Риду и его друзьям удалось прорваться в зал, хотя для этого им пришлось воздействовать на контролеров у дверей отнюдь не парламентскими методами.

Адольф Гермер, национальный секретарь, и Джулиус Гербер, секретарь нью-йоркского отделения, потребовали, чтобы Рид и другие левые немедленно очистили зал.

В ответ Рид попрочнее уселся на скамье. Началась потасовка. Убедившись, что собственными силами справиться с левыми не удается, Гербер вызвал на помощь… полицию! Это было великолепно! «Социалистическая» конференция под защитой полисменов! Рид хохотал до упаду до тех пор, пока в зале не появились два дюжих сержанта.

Более откровенно разоблачить себя перед рабочими Гербер и Гермер не могли…

К сожалению, обе группы делегатов Левого крыла так и не смогли преодолеть разногласия и прийти к соглашению.

31 августа, в шесть часов вечера, 81 делегат от 21 штата заслушал доклад Джона Рида. 2 сентября они объявили об образовании Коммунистической рабочей партии Америки

1 сентября была создана Коммунистическая партия Америки во главе с Чарльзом Рутенбергом.

Потребовались месяцы жестокой классовой борьбы, неслыханных по размаху забастовок, беспощадных полицейских преследований, чтобы обе партии поняли, сколь пагубно их расхождение для рабочего движения, сколь жизненно важно для будущего страны их объединение. Это объединение должно было произойти обязательно, и это действительно произошло спустя полгода после того, как Джон Рид уехал из Америки, разлюбленной и любимой, говоря его собственными словами. Уехал, чтобы никогда уже не вернуться на родину…

Обе компартии были через несколько месяцев объявлены вне закона, фактически уйти в подполье они были вынуждены почти на другой день после своего рождения.

Рид очень переживал раздвоение американских коммунистов, тем более что лично он питал глубокое уважение к Чарльзу Рутенбергу и другим товарищам из КПА.

Собственно говоря, между обеими партиями не существовало абсолютно никаких расхождений по принципиальным вопросам. Расхождение возникло из-за наилучшего способа образования партии, а коль скоро партии уже возникли, что препятствовало их объединению?

Все эти соображения Джек высказал Арнольду Финкельбергу, старому социалисту и другу Рутенберга. Этот высокий красивый рабочий, всегда удивительно подтянутый и жизнерадостный, был старым членом РСДРП, агентом «Искры», лично знавшим Ленина. После поражения революции 1905 года он был вынужден эмигрировать из России в Штаты.

Выслушав Рида, Финкельберг дружески хлопнул его по плечу.

— Чарльз тоже считает, что наша размолвка только на руну общим врагам. Но спор зашел слишком далеко. Я думаю, что надо посоветоваться с людьми, которые разбираются в революции лучше нас с вами.

Рид уже и сам пришел к выводу, что, поскольку обе партии стоят на платформе Коммунистического Интернационала, нужно просить товарищей из Коминтерна стать третейскими судьями в их споре.

В конце сентября Джон Рид как международный делегат партии, избранный еще на июньской конференции, покинул Соединенные Штаты Америки.

Он слишком хорошо знал, что на содействие Государственного департамента в получении заграничного паспорта ему, одному из лидеров американских коммунистов, рассчитывать не приходится.

С фальшивой морской книжкой на имя кочегара Джима Гормли он нелегально пересек Атлантику, скрываясь от пограничной стражи, прошел через несколько границ и в начале ноября, побывав несколько раз на краю гибели, очутился в красном Петрограде.

БОРЬБА ДО ПОСЛЕДНЕГО ДЫХАНИЯ

Шинели, шинели, шинели… Русские — толстого серого сукна, английские — тонкие, зеленые, ношеные-переношенные за две войны и две революции. Изредка мелькнет в толпе потертая кожанка или потерявшее от времени цвет некогда дорогое пальто. Куда девались щеголеватые тонкие поддевки, респектабельные котелки, шубки на куньем меху? Сгинули, исчезли, забились в щели арбатских и замоскворецких переулков.

С утра до вечера бродил Джон Рид по древней и юной столице Республики Советов. Кривые, горбатые улочки, редкие белокаменные особняки среди посеревших от времени деревянных домишек, пустые глазницы магазинных витрин на Петровке и Кузнецком, заржавленные трамвайные рельсы… И вдруг — всплеск радости, уже привычной, но всегда неожиданной: взлетев на каменный холм, замер в буйной языческой красе храм Василия Блаженного. Кремль — тяжелая кирпичная гряда, словно застывшая волна каменного моря, стремительные громады башен с золотыми царскими орлами, еще не сброшенными со своих насестов. И — алый стяг над Совнаркомом.

И мысли сразу — туда, за кремлевские зубцы, в скромную квартиру в бывшем здании Судебных установлений. К Ленину. К Ильичу. Рид выговаривал «Ильитш».

Первая встреча — в рабочем кабинете Председателя Совнаркома. Кроме Ленина, за столом — несколько работников

Коминтерна. Слушают внимательно, не перебивая. Ленин сидит, чуть склонив набок голову, подбородок прижат к груди. Изредка он поднимает глаза, и Рид умолкает — сейчас его спросят о самом главном, что он упустил! — но Ленин только кивает головой. Джек неожиданно замечает, что на Ленине тот же костюм, что был и два года назад, уже тогда потертый. Почему-то стало неловко: вспомнил, как сшил однажды на Бродвее дорогое пальто.

После доклада, уже в дверях, Ленин на секунду задержал американца.

— Что вы делаете вечером? Ничего? Тогда милости прошу — заходите-ка ко мне. Часиков в десять?

Время до десяти тянулось мучительно долго. Можно было, конечно, заняться чем-нибудь, но Рид не мог, просто не мог! Нужно так много сказать Ленину, о стольких вещах посоветоваться, ничего не забыть! И не увлекаться — у Ленина такой усталый вид… Положение в стране трудное. Каждая минута Председателя Совнаркома расписана.

…Который час? Рид по привычке поднимает руку — и опускает. Часов нет. Заложены в нью-йоркском ломбарде перед отъездом. Останавливает первого прохожего — еще только восемь. Джек шагает дальше…

Наконец пора! И вот они сидят за кухонным столом, покрытым старенькой, местами аккуратно заштопанной скатертью. Неровно светит единственный пузырек-лампочка. Надежда Константиновна ставит перед ними стаканы с чаем. Рид пьет по-русски — не вынимая ложечки.

— Кушайте. — Надежда Константиновна пододвигает тарелку с хлебом.

Рид машинально берет кусок. На полпути ко рту рука его останавливается: он вспоминает, что Ленин получает тот же паек, что и все служащие.

Ленин быстро спрашивает:

— Вам не нравится наш хлеб? Я слышал, что в Америке почти не едят ржаного хлеба, все больше пшеничный. А я вот не смог бы без ржаного. Наши крестьяне в деревнях умеют печь очень вкусный хлеб в русской печи, Очень вкусный!

Он весело, заливисто смеется. Рид тоже смеется. Улыбается уголками рта Крупская. Она тоже любит ржаной хлеб. Когда он выпечен из хорошей чистой муки, без примесей.

Отставив пустой стакан, Ленин спрашивает.

— Так как же это получилось, что у вас вдруг сразу оказалось две партии?

Рид рассказывает подробно, не скрывая разногласий, споров,

расхождений. Ленин — не додумаешь, что минуту назад смеялся: сосредоточен, весь в мысли и внимании.

Дослушав, встал, сделал два шага по малюсенькой кухне. Сказал просто и дружески:

— Нужно объединяться. И чем быстрее, тем лучше. Единство коммунистов — непременное условие успешной деятельности партии. Это архиважно. Обе партии стоят на позициях Коминтерна. Значит, разногласия могут и должны быть преодолены.

И Риду становится совестно. В душе он уже ругает себя: неужели не могли сами понять это? Непременно требовалось советоваться… А почему бы нет, раз были сомнения? Ведь они товарищи! И на душе потеплело.

Ленин подходит к Джеку, кладет ему руку на плечо, заговорщически щурится и снова весело смеется.

— Так вы говорите, что товарищи социалисты вывели вас со съезда с полицией? Ну-ну!..

Рид виделся с Лениным часто. Владимир Ильич всегда был рад ему и никогда не отказывал в приеме. Вечерние беседы стали регулярными. Они говорили обо всем: о мировом рабочем движении, о международном империализме, о Шаляпине, о детской беспризорности, о процессах Хейвуда и Муни. Однажды Ленин изумил Рида своими познаниями в области физиологии.

По просьбе Ленина Рид написал для него записку о рабочем и коммунистическом движении в Америке. Потом — большую статью об этом же в журнал «Коммунистический Интернационал».

Риду отвели номер в хорошей гостинице близ Кремля, но уже через неделю он сбежал оттуда и поселился в обычном рабочем домике на Грузинах — тогда окраине города. Ленин одобрил, сказал:

— Это лучший путь, чтобы узнать Россию и русскую жизнь…

Узнать Россию… Это было главное, из-за чего Рид решил задержаться здесь на несколько месяцев. После «Десяти дней» Рид хотел написать еще две книги о самой удивительной стране в мире. Первая — о ходе революции вплоть до заключения мира с Германией — должна была называться «От Корнилова до Брест-Литовска». Вторую Рид представлял как книгу художественных очерков о строительстве нового общества. Для нее тоже уже было придумано название — «Дым революции»[27].

Рид изучал революционную Россию в едва ли не самую трудную для нее зиму. Только что поистине героическими усилиями народа были разгромлены Колчак и Деникин. Страна была обескровлена и обезлюдена. На воротах сотен фабрик и заводов ржавели амбарные замки. Некому было стоять у станков,

некому убирать хлеб. Та самая костлявая рука голода, на которую еще два года назад возлагали свои надежды господа лианозовы (Рид помнил доверительные беседы с ними возле уютных каминов!), грозила удушить то, что не смогли убить пули белогвардейцев и интервентов.

И все же новая Россия жила и боролась! И с каждым днем Рид все более убеждался с радостью и гордостью, что она непобедима!

Он познакомился с несколькими интереснейшими ребятами и девчатами — московскими комсомольцами. Они поразили его своим оптимизмом и энтузиазмом. Полуголодные, плохо одетые, они говорили о мировой революции и коммунизме со страстью и убежденностью. Никто из них не сомневался, что коммунизм будет построен в самом недалеком будущем.

Еще Рида поразила тяга этих юношей и девушек к знаниям, фанатическая, доходящая до подлинной самоотверженности. Все они много работали, выполняли бессчетное множество комсомольских и партийных поручений, дни, положенные на отдых, проводили на воскресниках, когда нужно было — охотились вместе с чекистами за бандитами и заговорщиками. Рид только диву давался, как его друзья находят время и энергию овладевать премудростями алгебры и ставить пьесы Шиллера в рабочих клубах.

Никому и в голову не приходило относиться к Риду как к иностранцу. И это трогательное доверие было для него дорого и важно. Собственно говоря, в этом молчаливом признании не было ничего удивительного: он жил той жизнью, что и они, в таком же невзрачном домишке, ел ту же водянистую кашу, так же мерз, так же, как и они, по десять-двенадцать часов подряд ремонтировал старенькие «овечки» в гулких, пронизываемых декабрьскими ветрами пролетах паровозного депо.

К Риду привыкли. Его уже хорошо узнали и в среде революционной интеллигенции. Этому он был во многом обязан Луначарскому, первому наркому просвещения, которого знал еще с октябрьских времен. Он познакомился с талантливым и интереснейший человеком — рабочим поэтом Демьяном Бедным, пользовавшимся огромной популярностью среди пролетариев.

В конце декабря Джек поехал в Серпухов и в бывшем здании Дворянского собрания выступил перед рабочими с рассказом об Америке. Встретили его очень хорошо: долго аплодировали, засыпали десятками вопросов. Никто из присутствовавших в зале еще не читал «Десяти дней», но все знали, что этот высокий красивый американец написал самую правдивую книгу о революции, что ему грозит на родине тюрьма, что к нему дружески относится Ленин.

Потом Рид совершил поездку на Волгу, специально, чтобы узнать настроение людей, живущих в маленьких провинциальных городках и деревнях. Он убедился, что, несмотря на все трудности и неполадки, крестьяне горой стоят за Советскую власть и большевиков.

Вернувшись в Москву, Рид попросил Ленина дать ему возможность познакомиться поближе с деятельностью государственных учреждений и, конечно, такое разрешение получил.

Его поразили титанические усилия, которые прилагала Советская власть, чтобы улучшить жизнь трудящихся, обеспечить медицинское обслуживание, ликвидировать малограмотность, ее забота о детях. Он ознакомился с деятельностью «страшной» ЧК, о которой ходили на Западе самые дикие домыслы, и убедился, что, в сущности, это самое гуманное учреждение, какое только можно представить, ибо только для охранения безопасности миллионов рабочих и крестьян выкорчевывало оно занозы контрреволюции. Рид не забыл записать в своей записной книжке, что председатель грозной ЧК Дзержинский уделяет не меньше внимания беспризорным детям, чем вылавливанию бандитов и шпионов.

В этой связи Рид не мог не вспомнить свой спор с Элтоном Синклером летом 1918 года. Ссылаясь на некоторые ошибочные высказывания Горького, Синклер утверждал тогда, что террор и жестокость — непременные спутники революции, так как есть непременные проявления характера народа.

Рид любил и уважал и Горького и Синклера, но согласиться с подобными суждениями никак не мог. «Большевистская революция была самой бескровной революцией в истории, — писал он Синклеру. — Большевики были тверды в своей эффективной решимости создать диктатуру пролетариата, — они не были ни жестокими, ни кровожадными. Во время революции русские, с точки зрения западного человека, оказались удивительно снисходительны и мягки».

Теперь Рид еще раз убедился, насколько он был прав, и искренне радовался, что не ошибся в своей первой оценке Советской власти.

Подошло время возвращаться на родину. Этого требовали многие обстоятельства. Исполком Коминтерна, учтя все, рекомендовал обеим компартиям США объединиться. В самой Америке тем временем развернулись события, заставившие Рида поторопиться с отъездом.

В конце сентября разразилась самая грандиозная стачка в истории Америки. Бастовало 365 тысяч сталелитейщиков в 50 городах 10 штатов. Порвав фактически с боссами АФТ, стачкой

руководили левые деятели Чикагской федерации труда. Возглавлял их скромный и решительный рабочий средних лет, пользующийся в народе такой же популярностью, как и Хейвуд и Рутенберг. Его звали Вильям Фостер.

Это была хорошая весть для Рида. Но были и плохие. Реакционеры открыли настоящий крестовый поход против всех прогрессивных элементов. По стране прокатилась волна арестов и облав. Обе компартии были запрещены. Свыше ста их активных деятелей, в том числе и Рид, преданы суду и осуждены.

Джек не мог больше позволить себе оставаться вне борьбы и одного дня.

Перед отъездом он в последний раз побывал у Ленина. Разговор зашел о «Десяти днях». Ленин уже прочел книгу в американском издании. И Рид почувствовал, что отношение Ленина к нему и до того хорошее стало еще более теплым. Тому могла быть только одна причина: книга понравилась. Рид был счастлив.

Крупская разделяла мнение мужа. И это тоже радовало. Обычно сдержанная в оценках, Надежда Константиновна на сей раз не скупилась на похвалу.

— Кажется почти чудом, — сказала она в присутствии Джека, — что иностранец мог написать книгу, которая с поистине волшебной силой передала самый дух революции…

Как-то еще раньше Рид в разговоре сказал Владимиру Ильичу, что небольшое предисловие, написанное — руководителем большевиков, могло бы во много раз повысить интерес к книге в передовых кругах Америки, в первую очередь среди рабочих. Ленин тогда ничего не ответил: видимо, не хотел давать поспешного обещания. Но теперь он сам вручил онемевшему от радости Риду листок бумаги, исписанный характерным стремительным почерком:

— Это вам. Для американских товарищей.

Джек развернул листок, но от волнения не мог различить ни строчки. Махнув рукой, он бережно сложил драгоценную бумагу, спрятал в бумажник и, блаженно улыбаясь, только повторял по-русски:

— Спасибо, спасибо… спасибо…

Дома, аккуратно расправив листок, Рид прочитал при тусклом свете керосиновой лампы строки, придавшие отныне его книге крылья:

«Прочитав с громаднейшим интересом и неослабевающим вниманием книгу Джона Рида: «Десять дней, которые потрясли весь мир», я от всей души рекомендую это сочинение рабочим всех стран. Эту книгу я желал бы видеть распространенной в

миллионах экземпляров и переведенной на все языки, так как она дает правдивое и необыкновенно живо написанное изложение событий, столь важных для понимания того, что такое пролетарская революция, что такое диктатура пролетариата. Эти вопросы подвергаются в настоящее время широкому обсуждению, но прежде чем принять или отвергнуть эти идеи, необходимо понять все значение принимаемого решения. Книга Джона Рида, без сомнения, поможет выяснить этот вопрос, который является основной проблемой мирового рабочего движения.

Н. Ленин».

Несколько раз по слогам перечитал страницу[28], вдумываясь в каждое слово. Понял, что в эту ночь уже не уснет. Накинул на плечи тужурку, обмотал шею шарфом и шагнул, стараясь не скрипеть половицами, в морозную московскую ночь…

…Как же все это произошло? Он сам ошибся в чем-то или предательство? Вспомнил коротенького человечка на сходнях судна, зябко кутавшегося в брезентовый плащ. Похоже, что позже именно его он видел в коридоре полицейского управления в Або. Может быть, обознался? А если нет? Что может знать о нем этот человек? Впрочем, финской полиции и так все ясно. В первый момент после того, как его схватили в трюме корабля, идущего в Швецию, он еще надеялся, что удастся сохранить инкогнито. Но бумаги, все бумаги тоже попали им в руки: личные документы, морская книжка на имя Джима Вормли, печатные материалы Коминтерна, записные книжки, немного денег — их ему собрали американцы, находившиеся в Москве.

— Вы Джон Рид, американский журналист и коммунист, — безапелляционно заявил полицейский офицер на первом же допросе.

Потом — тюремная камера. Сырые, холодные стены в мокрых потеках, грязный цементный пол, мутное окошко высоко под потолком, железная койка. Вместо стены в коридор — решетка. Тюрьма — гибрид российского каменного мешка с американской железной клеткой.

Что-то будет дальше?..

А было — вначале неудачная попытка пробраться через Латвию. Он ехал в теплушке. Прямо на полу, подложив железный лист, жгли костер. Видел на станциях умирающих от тифа и трупы замерзших красноармейцев. Потом, когда поезд стал окончательно, несколько километров шел пешком. Пройти через линию фронта не удалось. Тогда-то и решил попытаться уйти морем в Швецию. И вот арест в Або и эти три стены… Заключенный № 42.

Потом начались непонятные вещи. Его держали в камере, не вызывая ни на какие допросы. По-видимому, они просто не знали, что с ним делать. Обвинение предъявили на первых порах нелепое и чепуховое — в контрабанде. Скорее всего они ждали инструкций от американского правительства. Но из США никаких инструкций не поступало. Деятели Госдепартамента играли в хитрую игру, прикидываясь, что ничего не знают об аресте в Финляндии американского гражданина Джона Сайласа Рида.

Безусловно, одного-единственного заявления посла США было бы достаточно, чтобы финские белогвардейцы немедленно освободили Рида. Но в Вашингтоне никто не был заинтересован, чтобы этот бунтарь и коммунист когда-либо смог вернуться в Америку. Там откровенно рассчитывали, что маннергеймовцы расправятся с ним таким же образом, как расправлялись с рабочими Гельсингфорса. Разумеется, Госдепартамент не мог дать финским властям такого прямого указания и рассчитывал на их догадливость. А они как раз оказались недогадливыми — вернее, слишком нерешительными — и тоже выжидали.

В этом выжидании был определенный расчет: Рид таял с каждым часом. Его содержали в отвратительных, антисанитарных условиях, кормили одной только сырой соленой рыбой. Для него, тяжелого почечного больного, эта пища была ядом. Уже через неделю у него начались мучительные боли, тело покрылось язвами и гнойниками, суставы распухли. Потом Джек обнаружил, что у него шатаются все зубы во рту.

Стало ясно: расстреливать его не будут, судить тоже. Просто-напросто дадут умереть «своей смертью». Понял он также, что ждать этого момента не слишком долго.

Рид знал уже особенность своего характера, он волновался лишь в ожидании опасности, но никогда не пасовал, когда встречал ее лицом к лицу.

Что же, надо играть теми картами, какие выпали при раскладе. Рассчитывать на козырного туза в колоде не приходилось.

В начале марта к нему смог прорваться первый посетитель — известная финская либеральная деятельница Айна Мальмберг.

— Что я могу сделать для вас, Рид? — спросила она.

— Сообщите репортерам о моем аресте.

Айно так и сделала. Через несколько дней американские газеты сообщили об этом в утренних выпусках. Друзья узнали о его судьбе, но Госдепартамент с иезуитским лицемерием опроверг это сообщение.

Тогда Рид рискнул на фантастически изобретательный шаг. И через ту же Айно Мальмберг за океан отправилась новая

телеграмма.

10 апреля 1920 года американские газеты поместили ее на первых полосах как сенсацию: «Джон Рид казнен в финской тюрьме!»

Разразился скандал. В правительство посыпались сотни гневных протестов. Заговор молчания провалился. Уже через четыре дня Госдепартамент вынужден был объявить, что Рид жив и действительно содержится в заключении в Финляндии.

29 апреля финские тюремщики вынуждены были разрешить узнику № 42 переписку.

Первые письма Рида к жене:

«Финны меня информировали, что я содержусь в тюрьме по требованию правительства США… Я не хочу никакой помощи от американского правительства… Если на финские власти не подействуют другие пути, чтобы добиться решения, я объявляю голодовку».

Рид спешит сообщить Луизе то, что считает очень важным:

«Передай Горацию, что большой шеф высоко оценил мою книгу». Гораций — это Ливрайт, издатель «Десяти дней». «Большой шеф» — Ленин.

Угроза голодовки подействовала.

19 мая Рид пишет Луизе:

«Финны попросили американского посла Макгрудера дать мне паспорт. Если он сделает это, что практически невозможно, то финское правительство предложит мне покинуть страну в 24 или 48 часов.

Я попросил, если мне велят оставить страну, разрешения поехать в Эстонию».

Почему в Эстонию? Рид узнал, что Советское правительство предприняло энергичные действия для его освобождения и возвращения в Россию, поскольку двери в Америку, по-видимому, перед ним будут плотно закрыты. По указанию Ленина соответствующие советские органы предложили Гельсингфорсу обменять Джона Рида на двух финских профессоров, арестованных в свое время за участие в антисоветском заговоре.

Говорят, что Ленин сказал так:

— За Рида можно отдать целый университет…

Советский представитель в Ревеле Гуковский должен был в случае благоприятного решения вопроса дать Риду пропуск на проезд в Россию.

Рид переслал ему следующую записку:

«Дорогой товарищ Гуковский, меня скоро освободят здесь из тюрьмы, и я желаю возвратиться в Советскую Россию через Эстонию. Я уже обратился за разрешением к эстонскому

правительству. Пожалуйста, сделайте, что можете, чтобы помочь мне.

С братским приветом

Джон Рид».

25 мая Рид узнал, что финские власти допустили американских агентов к его бумагам. Теперь уже он был уверен на все сто процентов, что в американском паспорте ему откажут, и сам отменил запрос Макгрудеру. Вся надежда была только на возвращение в Россию.

Но между тем дни шли за днями, а от эстонских властей — никакого ответа.

30 мая Рид пишет жене:

«Американский посол ничего не ответил о паспорте, но финским властям он сказал, что не видит никаких оснований выдать его…»

О запросе эстонскому правительству:

«…По какой-то странной причине никакого ответа не приходит, хотя теперь прошло 10 дней с тех пор, как я обратился за разрешением».

Приписка от 31 мая:

«Все еще ни слова из Эстонии».

Приписка от 2 июня:

«Все еще ни полслова. Это ужасно — ожидать так день за днем, да еще спустя три месяца. Не могу ни читать, ни заниматься чем-нибудь…»

И в тот же день, в восемь часов вечера, наконец, радостное:

«Сию минуту пришла весть! Я отправляюсь в Ревель субботним кораблем из Гельсингфорса, или, м. б., я буду должен подождать до вторника. Во всяком случае, я еду! Это последнее письмо моей любимой из этого места! Жди вестей от меня, дорогая!

Твой любящий Джек».

4 июня Рид получил из эстонского консульства желанное удостоверение, дающее право на проезд. 5 июня на пароходе «Виола» он отплыл в Ревель.

Худой, осунувшийся, с отеками под глазами, он медленно поднялся по трапу — и не поверил своим ушам: на палубе гремела революционная песня «Красное знамя»! А через минуту Рид очутился в крепких объятиях веселых смуглолицых людей. Своих! Это были итальянские рабочие, следующие в Россию на II конгресс Коминтерна.

В конце июня Джон Рид уже был в красном Петрограде,

солнечном, радостном, оживленном, готовом встретить братьев-коммунистов из многих стран мира. Каждый день прибывали делегаты. Но некоторым так и не удалось прибыть в Республику Советов — одних арестовали в пути, других убили. Один член ИРМ, с которым подружился Рид, переплыл «зайцем» Тихий океан, а потом прошел пятьсот миль по пустыням Маньчжурии, чтобы попасть на конгресс!

Рид очень плохо чувствовал себя все это время, хотя и был счастлив. Сохранился его портрет тех дней, сделанный знаменитым петроградским художником Бродским. На нем изображен тяжело больной человек, от того Рида, каким он был еще полгода назад, только глаза: глубокие, широко раскрытые, спокойные.

Быть может, по контрасту с тяжелой зимой и тюрьмой, но никогда еще Рид так остро не ощущал, как прекрасна жизнь в стране будущего.

Он пишет в «Либерейтор» радостную статью «Советская Россия сегодня». Это статья о весеннем пробуждении, об улицах в цветах, о рабочих спектаклях, о том, что снова дымят заводские трубы. И о детях.

«Это прежде всего — страна для детей. В каждом городе, в каждой деревне у детей имеется своя общественная столовая, где они получают питание в бóльшем количестве и лучше, чем взрослые. Только Красная Армия питается так же хорошо. Их бесплатно одевают, для них строят школы и создают детские колонии в особняках бывших помещиков, рассеянных по всей территории России, для них спектакли и концерты, огромные помещения великолепных государственных театров, набитые детворой от оркестра до галерки. К их услугам бывшие помещичьи усадьбы. Сотни тысяч детей проводят там посменно лето. Улицы полны счастливой детворой».

У Рида было много забот — подготовка к конгрессу занимала все его время. О здоровье ему просто некогда было думать. Захваченный всеобщим энтузиазмом, он не замечал того, что заметил зоркий глаз Бродского…

23 июня он написал Луизе: «Мы не должны быть врозь следующую зиму. Здесь сейчас замечательно. Ожидаются великие события. Я не могу сейчас говорить больше, кроме того, что люблю тебя».

19 июля 1920 года во Дворце Урицкого торжественно открылся II конгресс Коминтерна. Сотни тысяч питерских рабочих под красными знаменами залили улицы города — колыбели революции.

Оркестры гремели «Интернационал». На Стрелке Васильевского острова, у подножия бывшей Фондовой биржи для делегатов конгресса был устроен грандиозный спектакль под девизом «К мировой коммуне!». Четыре тысячи рабочих и красноармейцев воскресили под петроградским небом незабываемые события Парижской коммуны и штурма Зимнего. Был даже повторен исторический выстрел «Авроры».

— Ты должен написать об этом статью, — сказал Риду Луи Фрейна, тоже делегат конгресса.

— Статью? Я напишу об этом книгу! — ответил Рид, потрясенный до глубины души.

Конгресс продолжался больше двух недель. Вначале в Петрограде, затем в Москве, в Кремле.

Джона Рида, представителя американского коммунистического движения, делегаты избрали в состав сразу трех комиссий конгресса: по национальному и колониальному вопросам, по профессиональному движению, по редактированию переводов резолюций.

На конгрессе присутствовали представители обеих компартий США. И именно Джон Рид сделал первый шаг к объединению американских коммунистов. По предложению Рида, единодушно одобренному его соотечественниками, уже на третьем заседании в президиум поступило следующее заявление, встреченное аплодисментами всего зала:

«В соответствии с постановлением Исполнительного Комитета Коммунистического Интернационала, а также с потребностями самого американского коммунистического движения необходимо объединить обе коммунистические партии. Вследствие этого мы приветствуем образование объединенной Коммунистической партии, составленной из Коммунистической рабочей партии (Communist Labor Party) и из значительной части Коммунистической партии (Communist Party). Но это объединение не полное.

Ввиду необходимости полного объединения американского коммунистического движения мы, делегаты Коммунистической партии и Коммунистической рабочей партии, пришли к соглашению:

1. Выступать на конгрессе в качестве единой группы…»

Джон Рид выступал на конгрессе несколько раз. Особенно интересна и важна его речь о положении негров в США. Рид произнес ее по прямой просьбе Ленина. Его гневные, бичующие слова до сих пор остаются грозным обвинением расистам:

— …Положение негров, особенно в южных штатах, ужасно. Они лишены всех политических прав…Негры не могут ездить в

одном вагоне с белыми… жить в одних и тех же квартирах…На Юге негр вообще бесправен и не пользуется защитой закона. Белые могут безнаказанно убивать негров. «Великое достижение» белых Юга — это линчевание негров. Это убийство, совершаемое толпой, причем обычно негра обмазывают нефтью, подвешивают к телеграфному столбу и затем сжигают. Все население города — мужчины, женщины, дети — сбегаются на это зрелище и уносят домой «на память» клочки одежды и мяса замученного негра.

И в заключение убежденный призыв:

— Коммунисты не должны стоять в стороне от движения негров за социальное и политическое равноправие, которое теперь, в момент роста расового самосознания, широко распространяется среди негритянских масс. Коммунисты должны использовать это движение, чтобы показать бессодержательность буржуазного равенства и необходимость социальной революции, не только освобождающей рабочих от рабства, но и являющейся единственным средством освобождения негров, как угнетенного народа.

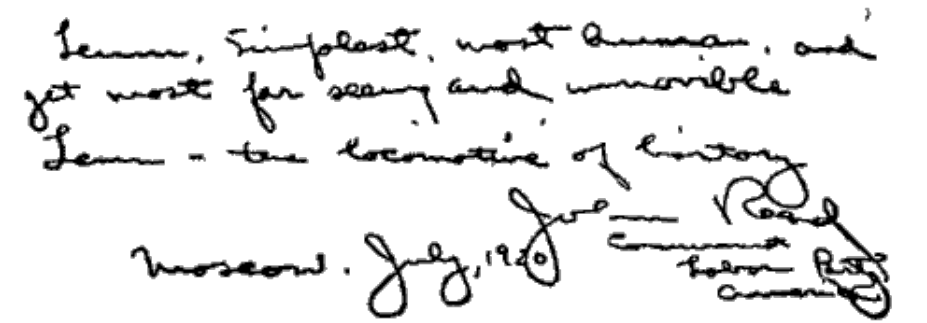
К сожалению, у Рида были и не совсем правильные выступления на конгрессе. Как и некоторые другие западные делегаты, он не успел глубоко разобраться в только что увидевшей свет книге Ленина «Детская болезнь «левизны» в коммунизме». Рид разделял многие «левацкие» грехи, о которых писал Владимир Ильич. В этом, правда, не только вина Рида, но и его беда — почти годовой вынужденный отрыв от американского рабочего движения.

Ленин писал, что для завоевания масс трудящихся коммунисты не должны чуждаться работать даже в реакционных профсоюзах. Очень эмоциональный и экспансивный, Рид не мог даже и представить, что, допустим, он или Хейвуд могут иметь что-либо общее с АФТ, с Гомперсом! Он считал, что АФТ настолько прогнила, что преобразовать ее в революционную организацию нельзя. И не учитывал, что оставить АФТ «в покое», создать, допустим, новый революционный профсоюз — значит оставить миллионы рабочих, рядовых членов АФТ, под влиянием буржуазной идеологии, в подчинении профсоюзных боссов, купленных монополиями.

Для того чтобы понять до конца гениальные ленинские идеи, переболеть «детской болезнью» левизны», требовалось время. Ленин понимал это, да к тому же он и не любил людей, соглашающихся слишком быстро, полагающихся лишь на авторитет вождя. Ленин знал, что подобные «убеждения», увы, зачастую недорого стоят. Рид не был упрямцем, но не был и лицемером. Он говорил искренне, то, что думал. Из самой логики

рассуждений Рида видно, что еще немного раздумий над событиями последнего времени — и он непременно придет к признанию правоты Ильича.

А о том, что Ленину Рид верил беспредельно, свидетельствует хотя бы такой факт. На заключительном заседании конгресса, когда зал бушевал в овации, Рид с двумя соседями — американцем и австралийцем — ринулись в президиум, пробились сквозь толпу, забившую проход, к Владимиру Ильичу и, к изумлению и восторгу зала, мгновенно подняли его на плечи и так вынесли с трибуны…



Факсимиле записи Д. Рида о В. И. Ленине (Москва, июль 1920 года). «Ленин — такой простой, такой гуманный и в то же время такой дальновидный и непоколебимый. Ленин — локомотив истории».

Часом ранее Рид узнал, что конгресс оказал ему величайшую честь, избрав в состав Исполнительного Комитета Коммунистического Интернационала.

Случайный эпизод неожиданно дал знать Риду, что здоровье его висит на волоске — факт, с которым сейчас, в дни наивысшей активности, он никак не хотел считаться.

В Деловой двор на Варварской площади, где жили делегаты, пришел как-то страстный любитель спорта Подвойский и предложил… провести футбольный матч: «Сборная конгресса — московские курсанты». Предложение было принято с восторгом.

Джон Рид, памятуя свои былые успехи в студенческие годы, конечно, немедленно записался в команду.

Необычайный матч (первый международный в истории советского спорта) состоялся 1 августа в Сокольниках, на «диком» поле. Настоящих стадионов тогда в Москве еще не было. Как ни старались коминтерновцы, но возраст и отсутствие спортивной формы сказались. Они проиграли с крупным счетом. Единственный ответный гол в ворота москвичей забил Вильям

Галлахер, будущий руководитель английских коммунистов.

После матча Риду стало совсем плохо… С горечью он вынужден был признать, что тяжелая операция и финская сырая рыба довели его до края могилы. Но думать о смерти он не мог, не желал. И, словно споря с судьбой, безоговорочно принял предложение поехать в Баку, чтобы принять участие в первом съезде народов Востока. А на следующий день получил письмо из Стокгольма от Луизы: «Через неделю буду в Москве».

Рид ее не дождался: открытие конгресса было назначено на 1 сентября, времени было в обрез, чтобы сложными кружными путями добраться до Баку, почти отрезанного от Советской России.

Первый конгресс народов Востока собрал около двух тысяч делегатов тридцати двух национальностей. На нем обсуждались самые жизненные вопросы, волнующие миллионы людей, столетиями находившихся под колониальным игом.

Джона Рида вместе с его попутчиками — венгром Бела Куном и англичанином Гарри Квелчем — приняли с почетом. Он выступил перед огромной аудиторией с пламенной речью, в которой разоблачил колониальную экспансию Соединенных Штатов.

Обратный путь в Москву был тревожен и опасен. Пассажирам раздали винтовки — отбиваться от бандитов, нападавших на поезда. По нескольку раз в день вспыхивала перестрелка. Неугомонный Рид уговорил однажды коменданта поезда позволить ему принять участие в погоне на тачанках и последующем разгроме одной из бесчисленных банд.

В Москве Рида встретила жена. Луизе, как женщине, запретили в Стокгольме проезд в Россию. Она вынуждена была пересечь границу в мужской одежде. Рид был счастлив безмерно. Ему казалось, что вернулся вновь их медовый месяц. Вдвоем они бродили целыми днями по московским холмам, ходили в театры, картинные галереи, музеи. Каждый вечер их приглашал в гости кто-нибудь из советских руководителей.

Луиза привезла Джону письмо от матери — первое за последние годы, по-настоящему обрадовавшее его.

«Делай, как считаешь правильным, — писала миссис Рид, — это все, что мы можем в этом мире. Если не считать страха за твою личную безопасность, все, что ты делаешь, в моих глазах правильно».

Перед отъездом в Россию Луизу просили взять интервью у Ленина. И Рид по ее просьбе написал Владимиру Ильичу записку:

«Деловой двор. 20 сентября 1920 г.

Дорогой товарищ Ленин!

Моя жена Луиза Брайант нелегально приехала сюда из Соединенных Штатов в качестве представительницы влиятельных газет, которые выступают за признание Советской России…

…Ей поручено ежедневно посылать радиотелеграммы, и несколько сообщений она уже передала. Я помогаю ей в получении материала, и мне думается, что для нас важно максимально использовать это средство распространения информации. Луиза Брайант, разумеется, постоянно сотрудничает с американскими коммунистами, и ей можно полностью доверять…

Я считаю, что было бы очень важно предоставить ей возможность встретиться с Вами и взять у Вас интервью, чтобы передать его в Америку именно сейчас, когда там неистовствует антисоветская пропаганда и вся политическая печать изобилует нападками на Советскую Россию…

Прошу Вас поручить кому-нибудь позвонить мне по телефону (Деловой двор, номер семь) и дать мне знать, можно ли устроить эту встречу.

С братским приветом

Джон Рид».

Рид не успел получить ответ на это письмо. 25 сентября он слег, чтобы уже не встать. Последнее его письмо проникнуто заботой о Советской стране. Последняя фраза последней статьи посвящена ей же: «Несмотря ни на что, революция живет, горит ярким пламенем, и его языки лижут пока еще огнеупорный кризис европейского общества».

Врачи сочли вначале — инфлуэнца, свирепствующая в ту пору в Европе. Рид шутил. Он всегда подсмеивался над манией американцев лечиться. Потом ему стало совсем худо. Луиза бросилась в Кремль, к Ленину.

Рида немедленно положили в Мариинскую больницу, приставили опытную сиделку, знающую английский язык. Здесь-то и определили: брюшной тиф, состояние, учитывая здоровье, безнадежное. Его, быть может, можно было спасти, но в стране не было лекарств, даже хлороформа. «Санитарный кордон» Антанты оправдывал свое название, не пропускал в Советскую Россию даже медикаменты.

17 октября 1920 года, за пять дней до своего тридцатитрехлетия, Джон Рид, пролетарский писатель, член Исполкома Коминтерна, умер…

Недавно впервые опубликован документ, потрясающий своей человечностью, о его последних днях, о том, как до последнего дыхания Джон Рид боролся со смертью и умер не побежденный ею. Этот документ — письмо Луизы Брайант в Америку.

«Я не в состоянии поверить, что Джек умер, что он сию минуту не войдет в эту комнату.

Джек болел двадцать дней… Тиф невозможно описать: больной тает на ваших глазах и умирает в судорогах или в безумном бреду. Проведя дни и ночи в таком аду, нельзя остаться прежним человеком.

Утром 15 сентября он с шумом ворвался ко мне в комнату. А через месяц его не стало…

Только одну неделю провели мы вместе, пока он не слег. Мы были невероятно счастливы, что, наконец, нашли друг друга. Мне показалось, что он стал старше, печальнее, добрее и восприимчивее к прекрасному. Его одежда превратилась в лохмотья. На него произвели такое впечатление страдания, которые он видел вокруг, что он ничего не хотел для себя. Я была потрясена и чувствовала, что едва ли смогу подняться до той вершины самоотречения, которой он достиг. У него еще были свежи воспоминания об ужасных испытаниях, перенесенных в финской тюрьме. Он мне рассказал о своей камере, темной, сырой и холодной.

Иногда ему казалось, что он умирает, и тогда он писал на полях книг и где попало маленькие стихотворения:

Думая и мечтая,
Днем и ночью, и опять днем,
Не могу выкинуть из головы горькую мысль,
Что мы потеряли друг друга —
Ты и я…

Мы вместе побывали у Ленина… Мы ходили на балет и на «Князя Игоря», побывали в старых и новых картинных галереях.

Его снедало желание поскорее вернуться домой. Я видела, что он устал и болен, что у него наступает полный упадок сил, и пыталась уговорить его отдохнуть. Русские мне говорили, что иногда он работает по 20 часов в сутки. В самом начале болезни я попросила его обещать мне, что перед отъездом он отдохнет, так как возвращение домой означало снова тюрьму, а я чувствовала, что этого он уже не перенесет. Я помню, он как-то странно посмотрел на меня и сказал:

«Моя дорогая, маленькая, любимая, я сделаю все, что только смогу, для тебя, но не проси меня стать трусом…»

…О его болезни я едва ли смогу что-нибудь написать. Это было сплошное страдание. Я только хочу, чтобы вы все знали, как он боролся со смертью. Если бы не эта борьба, он умер бы на много дней раньше. Старухи санитарки из крестьянок

пробирались в церковь, молились за него и ставили свечу за спасение его жизни.

…За пять дней до смерти у него отнялась правая сторона. Он уже не мог говорить… И вот пришел день, когда он, уже обряженный, лежал в гробу в Доме союзов и ему оказывали военные почести. У гроба неподвижно стояли четырнадцать солдат, их штыки сверкали, а на их военных фуражках были красные звезды коммунизма.

Джек лежал в большом серебряном гробу, весь в цветах, а вокруг развевались знамена…

…Когда мы тронулись в путь, было холодно, небо хмурилось, шел снег. Помню, как плакали люди, развевались знамена и военный оркестр все снова и снова играл похоронный марш… На Красной площади я старалась быть мужественной…

…Я не помню, что говорили ораторы. Я помню только их прерывистые голоса. Потом я почувствовала, что они умолкли, а знамена начали низко склоняться…

…Но после того дня, когда все эти люди хоронили со всеми почестями нашего доброго Джека Рида, я много раз бывала на Красной площади. Я бывала там в будни, днем, когда вся Россия спешит, когда спешат лошади, запряженные в сани с колокольчиками, крестьяне со свертками и солдаты, с песнями идущие на фронт. Однажды несколько солдат подошли к могиле. Они сняли шапки, и один из них с уважением сказал: «Хороший был парень! Он пересек весь земной шар из-за нас. Это был один из наших…» Через минуту они вскинули винтовки за плечи и пошли своей дорогой…»

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЖОНА РИДА

1887, 22 октября — В поместье Седар-Хилл в окрестностях Портленда (штат Орегон, США) родился Джон Сайлас Рид.

1896–1904 — Рид учится в частной школе — Портлендской академии.

1904–1906 — Учение в закрытой подготовительной школе в Мористауне, штат Нью-Джерси.

1906–1910 — Учение в Гарвардском университете. Знакомство с Линкольном Стеффенсом.

1910, 9 июля — Джон Рид, окончив университет, отправляется в четырехмесячное путешествие по Европе. По возвращении поселяется в Нью-Йорке. Начало его карьеры профессионального журналиста.

1912, осень — Участие Рида в журнале «Мэссиз».

1913, апрель — Знакомство с Вильямом Хейвудом. Участие в стачке в Патерсоне.

7 июня — Рид ставит в Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке спектакль о событиях в Патерсоне.

Декабрь — апрель 1914 — Рид — корреспондент в революционной Мексике при армии Панчо Вильи.

1914, апрель — Рид возвращается в США. Расследует обстоятельства зверской расправы властей над шахтерами-стачечниками и пишет очерк «Война в Колорадо». Выступает против планов американской интервенции в Мексике.

3 июля — Рид окончил работу над книгой «Восставшая Мексика».

28 июля — Начало мировой империалистической войны.

16 августа — Джон Рид отправляется в Европу в качестве военного корреспондента журнала «Метрополитен». Провозглашение лозунга «Это не наша война!».

1915, январь — Возвращение в Америку. Конфликт с «Метрополитен». Выступления против войны в Европе и интервенции США в Мексике.

Апрель — ноябрь — Рид в Восточной Европе вместе с художником Б. Робинсоном.

5 декабря — Знакомство с Луизой Брайант. Начало совместной жизни с ней.

1916, весна — лето — Рассказы Рида «Капиталист» и «Ночь на Бродвее», Выход книги «Война в Восточной Европе».

1917, январь — февраль — Разрыв Рида с «Метрополитен».

Выход в свет сборника стихов «Бубен».

Апрель — август — Вступление США в мировую войну. Бойкот Рида со стороны ведущих газет и журналов.

Сентябрь — Участие в журнале «Семь искусств». Приезд в Россию. Знакомство с Альбертом Рисом Вильямсом. Знакомство и дружба с большевиками.

7 ноября — Октябрьская социалистическая революция. Рид — свидетель последних часов Временного правительства и участник штурма Зимнего дворца.

1917, ноябрь — 1918, февраль — Рид совершает поездку в Москву и на фронты, активно участвует в работе Бюро международной революционной пропаганды, встречается с Лениным.

1918, 28 апреля — Прибытие в Нью-Йорк.

1 июня — Первый арест Рида в Филадельфии.

Июль — Рид присутствует в Чикаго на судебном процессе ИРМ. Пишет знаменитый очерк «Социальная революция перед судом».

3 сентября — Начало второго суда над «Мэссиз». Рид выходят из состава редколлегии «Либерейтор».

7 ноября — Рид и Вильямс выпускают брошюру «Один год революции». Рид — один из редакторов журнала «Революционный век». Начало работы над книгой «Десять дней, которые потрясли мир».

1919, январь — Рукопись книги поступила в типографию. Полоса публичных выступлений. Борьба с правыми оппортунистами в Социалистической партии. Образование Левого крыла.

21 февраля — Допрос Джона Рида в «Оверменовском комитете».

18 марта — Выход в свет книги «Десять дней, которые потрясли мир».

21 июня — Рид участвует в работе национальной конференции Левого крыла.

1 сентября — Создание Коммунистической партии Америки.

2 сентября — Создание Коммунистической рабочей партии Америки.

1919, ноябрь — 1920, март — Рид в Советской России. Встречи с Лениным. Поездки по стране. Работа в Коминтерне. Неудачная попытка вернуться в США.

1920, март — июнь — Арест в Финляндии. Тюремное заключение.

Июнь — сентябрь — Освобождение и возвращение в Советскую Россию. Участие в работе II конгресса

Коммунистического Интернационала. Избрание в Исполком Коминтерна. Поездка в Баку на съезд народов Востока.

1920, 17 октября — Смерть.

24 октября — Похороны Джона Рида в Москве, на Красной площади, у Кремлевской стены.

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

Рид Джон, Десять дней, которые потрясли мир. С предисловиями В. И. Ленина и Н. К. Крупской. М., 1957.

Рид Джон, Восставшая Мексика. М., 1959.

Рид Джон, Избранные произведения. М., 1957.

Неизвестные письма Джона Рида. Журнал «Иностранная литература», 1961, № 10.

Рид Джон, Коммунистическое движение в Америке. Журнал «Иностранная литература», 1957, № 11.

Reed J. S., The War in Eastern Europe. N.-Y., 1916.

Фостер У., Октябрьская революция и Соединенные Штаты Америки». М., 1958.

Фостер У., Очерки политической истории Америки. М., 1963.

Foster W., History of the Communist Party of the United States. N.-Y., 1952.

Флинн Элизабет Герли. Своими словами. М., 1962.

«II Конгресс Коммунистического Интернационала. Стенографический отчет». М., 1930.

Бойер Р. О. и Морейс Г. М., Нерассказанная история рабочего движения в США. М., 1957.

Вильямс Альберт Рис, О Ленине и Октябрьской революции. М., 1960.

Гиленсон Б., Я видел рождение нового мира. Журнал «Вопросы литературы», 1961, № 11.

Дангулов Савва, Ленин разговаривает с Америкой. М., 1963.

Драбкина Елизавета, Черные сухари. Повесть о ненаписанной книге. М., 1963.

Зубок Л., Очерки истории США. 1877–1918. М., 1956.

Крамов И., Джон Рид. М., 1962.

Лаврецкий И. Р., Панчо Вилья. М., 1962.

Ованесьян С., Подъем рабочего движения в США в 1919–1921 гг. М., 1961.

Фонер Ф., История рабочего движения в США. М., т. 1, 1949; т. 2, 1958.

Beatty Bessie, The Red Heart of Russia. N.-Y., 1918.

Bruant Louise, Six Red Months in Russia. N.-Y., 1918.

Hicks Granville, John Reed. The Making of a Revolutionary. N.-Y., 1936.

Steffens Lincoln, Autobiography. N.-Y., 1931.

Young Art, On my Way. N.-Y., 1928.

Иллюстрации

1. Джек Рид — нью-йоркский репортер.

2. Линкольн Стеффенс.

3. Большой Билл — Вильям Хейвуд.

4. Франсиско (Панчо) Вилья.

5. Красногвардейцы. Петроград, 1917.

6. Охрана Смольного в Октябрьские дни.

7. В. А. Антонов-Овсеенко.

8. Н. И. Подвойский.

9. Г. И. Чудновский.

10. В. Володарский.

11. В. И. Ленин.

12. А. В. Луначарский.

13. А. М. Коллонтай.

14. Штурм Зимнего дворца.

15. Баррикады в Москве, на Остоженке. Октябрь, 1917.

16. А. Р. Вильямс *(второй слева)* и другие участники интернационального отряда.

17. Б. Рейнштейн.

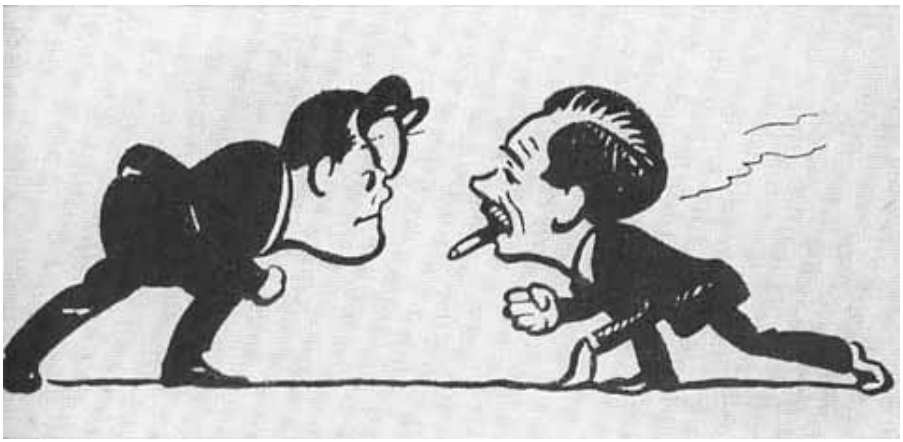
18. Джон Рид.

19. Арт Юнг.

20. Знаменитый рисунок А. Юнга «Дьявольский оркестр». Подписи: «Издатель» — «Все за демократию», «Капиталист» — «Все за честь!», «Политикан» — «Все за мир!», «Проповедник» — «Все за Иисуса!». В правом верхнем углу виден судебный штемпель.

21. Джон Рид на трибуне. Рис. америк. художн. Линда Уорда.

22. Джон Рид, подтянув брюки, устремляется в бой.



23. Левые и правые. Джон Рид и Джулиус Гербер. Шаржи Арта Юнга.

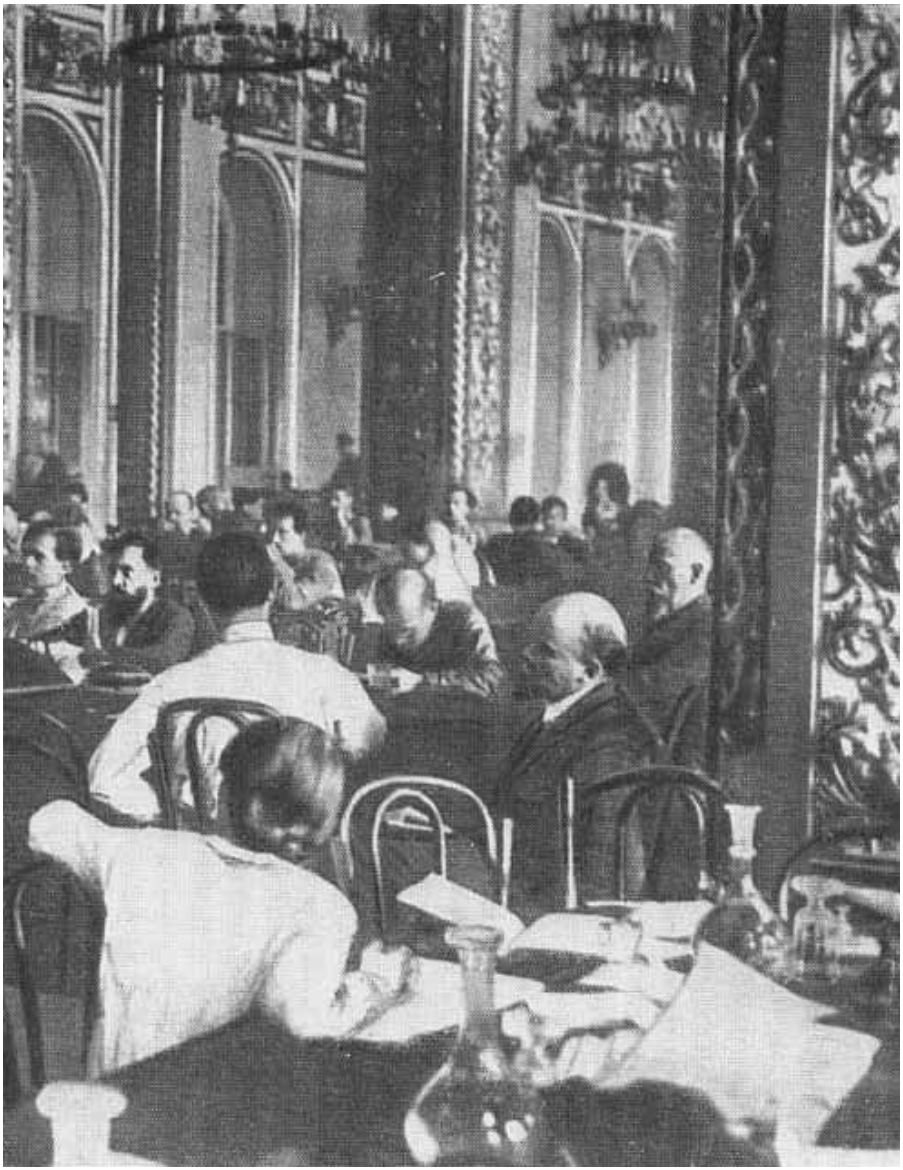
24. Чарльз Эмиль Рутенберг.

25. Вильям Фостер.

26. Джон Рид (1920).

27. Джон Рид в финской тюрьме. Узник № 42.

28. Митинг на площади Урицкого в Петрограде в связи с открытием II Конгресса Коминтерна.



29. В. И. Ленин на II Конгрессе Коминтерна.

30. Группа делегатов II Конгресса Коминтерна. *В первом ряду (второй слева)* — В. Галлахер. *Во втором ряду (второй справа)* — Д. Рид.

notes

Примечания

1

Собственно говоря, Джек вовсе не сокращенное от Джона, а самостоятельное имя, соответствует русскому Якову (Джон — Ивану). Но родные и друзья называли Джона Рида Джеком, так он подписывал и свои письма к близким.

2

Всего на протяжении своей, к сожалению, недолгой журналистской карьеры Джон Рид напечатал 10 книг, 3 пьесы, 59 стихотворений, 41 рассказ, 192 очерка и корреспонденции. Цифры эти, разумеется, не претендуют на абсолютную точность. Неподписанные журналистские выступления Рида вообще вряд ли удастся когда-либо полностью установить.

3

Рид почти не ошибся в своем пророчестве. Липпманн, правда, не стал президентом США, но этот крупнейший современный буржуазный журналист обладает на Западе гораздо большим влиянием, чем многие даже самые высокопоставленные политические деятели.

4

Впоследствии Макс Истмен отошел от радикальных взглядов, которые разделял в дни своей молодости.

5

От произношения в просторечии заглавных букв организации IWW (ай-даблью-даблью).

6

Так в Мексике называют жителей США. Это недружелюбное прозвище возникло еще в прошлом веке из-за цвета мундиров американских солдат: «green» — по-английски «зеленый».

7

Таракан — народное прозвище Каррансы.

8

«За большие заслуги в нашем деле» *(испан.)*.

Согласно этому закону арестованный имел право требовать судебного рассмотрения законности ареста в течение суток.

10

События в Ладлоу послужили Э. Синклеру материалом для его знаменитого романа «Король-уголь».

11

Увеселительные районы Нью-Йорка.

«Сделано в Германии» *(англ.)*.

«Сделано в Англии» *(англ.)*.

14

Через несколько лет один журналист с помощью миниатюрного аппарата вмонтированного в пуговицу пиджака, сфотографировал казнь на электрическом стуле. Этот сенсационный снимок, разоблачающий «гуманность» американского способа умерщвления осужденных, обошел всю мировую печать. С тех пор журналистам запретили присутствовать при казнях.

15

Том Муни провел в тюрьме двадцать два года. Он не пал духом и не отказался от своих социалистических взглядов. Он был освобожден из заключения лишь при Ф. Рузвельте.

Характерно, что американские власти скрывали эту секретную телеграмму от общественности вплоть до 1936 года.

17

В журнале «Нью рипаблик» До этого времени никто — почти двадцать лет! — не знал о ее существовании.

18

Всероссийский исполнительный комитет профессионального союза железнодорожников, находившийся в руках эсеров и меньшевиков.

19

С именем этого разведчика связано дело о так называемых «документах Сиссона». Будучи в России, Сиссон собрал целую коллекцию липовых бумажек, составленных за небольшую плату бывшими офицерами, якобы подтверждающих, что большевики — шпионы кайзера Вильгельма. Фальшивки были настолько очевидными и грубыми, что другие иностранные разведчика отказались от их приобретения. На них польстился только Сиссон…

20

США были последней из великих держав, признавших СССР. Это произошло лишь в 1933 году, когда президентом страны стал Франклин Д. Рузвельт.

21

Вскоре за эту речь суд приговорил Дебса к десяти годам тюрьмы.

22

Национальный праздник в США. Установлен в честь принятия в 1776 году Декларации независимости. Отмечается 4 июля.

23

Билл Хейвуд был приговорен в совокупности к тридцати восьми годам тюрьмы и штрафу в несколько десятков тысяч долларов. Перед своим последним отъездом в Советскую Россию Риду удалось навестить друга в тюрьме. К этому времени Хейвуд уже прочитал «Десять дней, которые потрясли мир».

— Знаешь, Джек, — сказал он — я бы назвал книгу иначе Я назвал бы ее «Протоколы русской революции» Революции! Понимаешь?

Через полтора года Хейвуду удалось вырваться из заключения и приехать в Советскую Россию. Он принимал активное участие в социалистическом строительстве, был награжден орденом как герой революционных боев. 8 марта 1928 года он умер после тяжелой болезни. Половина праха Большого Билла похоронена на Волдгеймском кладбище Чикаго в братской могиле рабочих мучеников, повешенных безвинно в 1887 году по «делу 1 Мая». Урна с другой половиной праха покоится в Кремлевской стене.

24

Дальнейшая жизнь Фрейны сложилась трагически. Он отошел в силу ряда обстоятельств от партии и даже сменил имя, исчезнув, таким образом, с политической арены. Умер он в пятидесятых годах в Нью Йорке.

25

Чарльз Эмиль Рутенберг стал виднейшим деятелем Компартии США. В 1921 году его заочно (он находился тогда в тюрьме) избирают секретарем ЦК Объединенной коммунистической партии, а затем секретарем Рабочей партии (так партия называлась до 1929 года, когда она вновь приняла наименование Коммунистической). В 1926 году Рутенберг был арестован и через год умер в тюрьме. Согласно его желанию прах перевезли в Москву, где и похоронили в Кремлевской стене.

26

«Руководители» — социал-предатели Виктор Бергер и Морис Хилквит — умудрились за несколько недель «исключить» из партии семьдесят тысяч человек!

27

Есть основание полагать, что это название выбрано не случайно. Известно, что одним из любимых писателей Д. Рида был И. С. Тургенев, изучением творчества которого он занимался обстоятельно и глубоко. В 1919 году Д. Рид написал предисловие к американскому изданию романа «Дым».

28

В США книга Д. Рида с предисловием В. И Ленина смогла выйти лишь в 1926 году.